

# Иисус достоин аплодисментов

СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

Коваленко Денис

18+

# Денис Леонидович Коваленко

## Иисус достоин аплодисментов

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=70267189](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70267189)

SelfPub; 2024

### Аннотация

Что интересует тех, кому нет еще и двадцати? Тех, кто учится в институте и уверен, что не стоит прогибаться под изменчивый мир? Конечно, любовь. Но только без предрассудков. Конечно, политика. Но не по лжи и с рукопожатными людьми, искренне радеющими за демократию. И, конечно, Бог. Но так, что бы всё было дозволено и под аплодисменты. Герои романа живут сегодняшним днем в сегодняшней России. "Свобода... мать их. Сейчас, подожди, еще проституток, наркотики легализуем, однополые браки, замуж с десяти лет, чтоб и педофилов в правах не ущемить, многоженство разрешим, ношение огнестрельного оружия... Чего у нас еще не разрешено? Кухарки уже правят государством... Все нормально. Реформы продолжаются. То ли еще будет? И, главное, мы до этого доживем!".

# Денис Коваленко

## Иисус достоин аплодисментов

Посмотри на этот камешек, – он сотню лет пролежал в воде этого фонтана... но внутри он сух – за сотню лет вода так и не смогла пропитать его влагой, ни на каплю. Так и мы, люди, – тысячу лет живем окруженные Богом и Его Любовью... но в душе нашей нет ни Бога, ни Его любви.

Папа Иоанн Павел I

### **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

#### **1**

Все ждали весны. Но, видимо, весны не будет, никогда уже не будет. Конец марта, а на улицах плотный, тяжелый снег... и небо белое, низкое, без солнца; где-то там оно проглядывало, затертое этим беспросветно-шершавым небом... А были последние числа марта, и все, в глухом раздражении, ждали весны. О ней говорили, вспоминали, делали прогнозы; утешали, что скоро, очень скоро она придет, настоящая, не абстрактно-астрономическая, а самая настоящая – с ручьями, пением птиц, набухшими почками на деревьях, освободившихся от этого проклятого, сводящего уже с ума, снега... Но

взгляд за окно, и становилось ясно – весны не будет, никогда не будет...

Часы показывали летнее время; стрелки переведены на час вперед... и кто кого обманул?.. На час вперед...

В который раз Федор смотрел за окно, тяжело опершись руками о подоконник... долго, пристально... Снег... Все тот же вечный непреклонный снег.

Еще раз взглянув на часы, он, не раздумывая (а! будь что будет), скоро поднялся по ступеням; высокий, худой, включенный, в своем вечном сером пальто, которое он, казалось, никогда не снимал: и зимой и весной, и летом, он носил только длинные или пальто или плащ, словно скрывая какой-то телесный изъян, хотя обладал хорошо сложенной, даже легкоатлетической, фигурой. Уверенно он вдавил кнопку дверного звонка.

Дверь отворилась.

– Здорово, Дима, – сунув для рукопожатия руку, Федор вошел в квартиру.

– Здравствуй, – прозвучало неприветливо, но другого Федор и не ждал. Все же, тот, кто открыл дверь, пожал его замерзшую ладонь. Стянув казаки и, сутулясь от холода, потирая ладони, Федор прошел на кухню.

– Чайку сбациаешь? – попросил он, усевшись за стол, ладонями ласково трогая горячую батарею. – Хорошо, что мы не во Владивостоке живем, там вообще сейчас жопа, – он улыбнулся лишь губами: он всегда старался улыбаться, не рас-

кривая рта, стесняясь щербатых поломанных зубов. – Дима, ты прости меня за вчерашнее, я, это... ну ты понимаешь.

– Ты дурак, ты Гену обидел. А лично для себя я давно понял, что на тебя обижаться... На тебя разве можно обижаться, – невысокий, круглолицый, с аккуратным мальчишеским пробором, который так и тянуло взъерошить; свитер, испод которого был выставлен белый воротничок рубашки, выглаженные брюки, казалось, этот молодой человек был само воплощение благоразумия и сдержанности, впрочем, так оно и было. Дима встал возле окна и очень старался быть если не равнодушным, то рассудительным, даже руки скрестил на груди и приосанился.

– Вот и я о том же – на меня нельзя обижаться, ни в коем случае нельзя, я все равно, что юродивый...

– Хватит придуриваться, – Дима поставил чашку дымящегося, крепкого чая, – это ты будешь девочкам рассказывать про то, какой ты юродивый; просто будь готов, что в следующий раз я поступлю так же, как и вчера.

– Всегда готов! – вскинув в пионерском приветствии руку, отрапортовал Федор.

Отхлебнув чаю, он закурил.

– Кстати, – усмехнулся он тоскливо, – Прости меня; я ведь чего пришел... Прощения просить – это конечно... само собой. Иду к тебе и думаю, наверняка у тебя водка или пиво после вчерашнего осталось... Нальешь?.. а то так... неуютно... беспросветная зима, – и что-то бездомно-собачье по-

явилось в его светло-карих глазах.

– Водка есть, – Дима открыл холодильник, достал бутылку водки, где еще оставалась добрая половина, и поставил ее на стол.

– Спасибо... а рюмку? – вовсе уже не тоскливо, а даже игриво спросил Федор.

– Вон, чашку возьмешь, – остановившись в дверях, все еще не веря, Дима внимательно взгляделся в его уже чистые оживленные глаза. – Неужели ты так ничего и не помнишь?

– А что? – насторожился Федор, наливая в чайную чашку водку.

– Да уж, Сингапур, тебя только психушка исправит, – Дима вышел в комнату, пора было собираться в институт. Федор остался на кухне. К слову, Федором его звали крайне редко, чаще – Сингапур. Впрочем, ничего азиатского в его внешности и близко не было. Черные всклокоченные волосы, длинный с горбинкой нос, вытянутое лицо, он внешне скорее походил на итальянца или даже грека, было в нем что-то неуловимо средиземноморское, впрочем и моря он никогда не видел, и фамилия у него была Дронов... Но, вот уже третий год, он для всех был не иначе, как Сингапур. С первого дня вступительных экзаменов, когда он заявился в институт в строгом двубортном костюме, вышедшем из моды еще в начале девяностых, и, в совершенно идиотской, поношенной бейсболке, с надписью во весь фасад Сингапур. Для чего он ее напялил, одному ему известно. Но кого точ-

но все заметили, так это молодого человека в нелепом двубортном костюме и в бейсболке «Сингапур», спросившего у замдекана, высокой полной девицы, тридцати лет и с трудновыговариваемой латышской фамилией, когда та, рассказав все, что положено о правилах поступления, задала вполне риторический вопрос: «Вопросы есть?» Сингапур неуверенно поднял руку, поднялся и спросил: «Который час?» Шутка не прошла. «Вы намекаете, что я вас утомила?» – обидевшись, раздраженно спросила замдекана. – Конкретно вы, можете быть свободны». «А они?» – совсем не уверенно Сингапур оглядел аудиторию, на удивление чистым, даже невинным взглядом. – Разве они не свободны? За что же тогда мы боролись?» «Вы идиот?» – посмотрела на него замдекана. «Нет, такой же враг народа, как и вы». (На внушительной груди замдекана красовался значок с изображением медведя). «Так, молодой человек, выйдете вон», – указала она на дверь.

Никто и не сомневался, что этот «идиот» не поступит. Только потом, на третьем курсе, открылось, что при поступлении, его родители дали взятку декану... Впрочем, и родители благоразумного Димы, который, к слову, и школу закончил с золотой медалью, и художественную школу с отличием, дали взятку декану; да и все шестьдесят человек, которые поступили на художественно-графический факультет, все до одного дали взятку или декану, или замдекана, или завкафедры, или, что приравнивалось к взятке, занимались

репетиторством с кем-нибудь из преподавателей этого факультета. Как раз последние – те, кто брали себе репетитора, больше всех и кичились, что они поступили своим умом, как правило, так говорили девицы, и при случае, Сингапур поправлял их: «Говори уж прямо – своей мандой». Неудивительно, что врагов у Сингапура набралось предостаточно.

Каждую неделю, когда родители Димы уезжали на выходные в деревню, Дима устраивал у себя небольшую пати, а проще вечеринку, с музыкой, танцами и пустыми разговорами за жизнь. Бывал и Сингапур, но уже после двух-трех его появлений стало ясно, что он здесь лишний. Впрочем, он оказался лишним не только здесь... Мало кто мог вытерпеть его общества. Сказать, что он был глуп и не интересен... Напротив, его разговор увлекал и было забавно, когда под его злой и ядовитый язык попадал какой-нибудь воображала... Но чего не было у Сингапура, так это чувства такта; в отличие от необъяснимой ненависти ко всему, что его не устраивало. Сингапур умел рассказывать, увлекательно рассказывать, и тем увлекательнее, что рассказывал он, самые, что ни на есть, тайны. Казалось, что ничто его не смущало, и тем опасны были его личные откровения, что они затягивали и, невольно, заставляли раскрыться и слушателя. Словом, с Сингапуром сболтнуть что-либо личное не составляло никакого труда. Но и Бог бы с ним, с этим личным, гаже всего было то, что из этого личного он выжимал самую мерзость,



и при случае мог запросто этой самой мерзостью и задавить того, кто по неосторожности открылся ему и, впоследствии, с ним разругался. И здесь Сингапур был безжалостен. Любому поступку он находил объяснение и всегда объяснение низкое и с гнильцой. Выходило, что хороших людей для него не было вовсе, и первым подлецом и подонком был именно он сам. В своих личных откровениях Сингапур не стеснялся ничего, и те, кто по наивности, пытался ранить его его же оружием, бессильно столбенели. Рассказывая, какой он подлец и негодяй, он лихо находил себе оправдание в том, что весь мир таков – весь мир людей. А раз так, то... все оно Божья роса, хоть слюной подавитесь. В его компании с чего бы ни начинался разговор, сводился он всегда к одному – к психологизму, доказывавшему, что иначе, как сволочами мы, люди, быть не можем. И убедителен он был в своих рассуждениях, до ярости убедителен... до драки убедителен. Дракой чуть и не закончилось его последнее посещение, о котором он сейчас, так искренне жаловался и признавался в своем характере, и из которого, если верить, запомнил – что Дима выгнал его вон. К слову, Дима был добрым малым, и доброта его, как сам он же признавался, «шла от разума». Как бы ни был человек неприятен, как бы он ни раздражал, но ведь не просто так, не с пустого места... Не может же он быть таким плохим сам по себе, что-то ведь есть. И вот это что-то и занимало Диму, это что-то и заставляло его быть добрым, точнее – терпимым. Дима считал себя психологом,

и, пожалуй, это была его страсть – желание понять человека. Тем более что сам он, по его же выражению, жизни не знал. Дима никогда не дрался, с девушками был сдержан; он и курил, чтобы понять эту другую жизнь, и привязанности к табаку не имел, равно, как и к спиртному. Но разве можно не пить в двадцать лет? Разве можно не быть безумным? Не любить? Не страдать? Отчасти и поэтому он принимал Сингапура. И всякий раз – в последний раз. И удивительно, как бы грубо Сингапура ни гнали, как бы обидно ни посылали... Сингапур, всегда возвращался, и, возвращаясь, всегда признавал свою вину. Это было непостижимо, этого никто не мог ни понять, ни объяснить.

Сингапур был уже порядком пьян. Его никто не ждал и никто не хотел видеть, помня его этот характер. Но все были как раз в том пьяно-благодушном настроении, когда уже и водки было не жалко, и поговорить за жизнь потягивало.

Началось все просто и незатейливо: что-то вспомнили, что-то обсудили, Сингапур высказал свое особое мнение. С ним не согласились. Даже укорили. Даже пристыдили.

– Натуру человеческую не переделать, я, человек, и ничего свинское мне не чуждо, – отвечал он, и, улыбнувшись, заметил: – Тошно порой бывает, как вспомнишь, что человек я; был бы тварью бессловесной, тараканом – и то приятнее, но – не могу, потому что знаю – какая-нибудь сволочь обязательно тапком прихлопнет... Да и бессловесные они твари – тараканы; а я говорить люблю, я жить люблю, я себя

люблю. А в виде таракана я себя вряд ли полюблю, потому что привык быть человеком – симпатичным, длинноногим и девушкам нравиться. Но обидно, что любить я не умею, а если и умею, то не долго. И противно, до одури противно – добиться женщины, понравиться ей, очаровать ее пустой болтовней... и, переспав, возненавидеть, не зная, как от нее избавиться. Красиво думать о вечном, ощущая рядом милую женщину. Приятно думать о будущем, зная, что женщины милой уже нет с тобой, – не без поэзии произнес он, странно посмотрев на Гену Хмарова, невысокого коренастого парня, учившегося на курс старше. В этот момент Гена отвернулся и, слава Богу, не заметил странного взгляда Сингапура. – И приходится хамить, – уже без романтизма продолжал Сингапур. – Радикальный способ избавления: добиться обратного – чтобы она уже возненавидела – самый надежный способ избавления от женской любви. И вот натура бабская подлая: когда ты с ней, ничего ей для тебя не жалко, а как разошлись, разругались – всё, она тебе последний рубль припомнит, который ты у нее одолжил на третий день знакомства на пачку дешевых сигарет. Женщины обидчивы и мстительны; иногда я их просто боюсь. Но тем паче отыграюсь на следующей, буду ей душу теревить, за болячки ее дергать. Раз женщина с тобой близка, обязательно поплачется, а я этим и дразнить ее буду, и жизни учить буду.

– А ты знаешь жизнь? – спросил Дима, внимательно разглядывая раскрасневшегося уже раскураженного Сингапура.

Не стоило задавать этого вопроса, тем более что всем было давно не интересно: к самолюбивой болтовне Сингапура привыкли, она лишь раздражала. Но Дима хотел понять эту жизнь этого человека. «Дима, чего ты ждешь от этого пустобреха», – не раз спрашивали его. «Не знаю, – отвечал Дима, – понять хочу». «Чего понять»? – удивлялись. «Не знаю», – отвечал Дима.

– Знаю! – воскликнул Сингапур. – Да, знаю, и нет здесь ничего смешного, и плевал я на Сократа и на его высказывание... Слюны не хватит? Хватит. А не хватит, я желчью плевать стану! Я знаю жизнь. Я знаю, что мне двадцать; я знаю, что что бы я ни сделал – всё к черту, я знаю – что завтра совершу точно такую же ошибку, которую совершил вчера; и вранье, что дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих. Что человек вообще учиться на ошибках – вранье. Не верите? а вот посмотрите: Я нажрался как свинья, пошел гулять, геройствовать, итог – нарвался на неприятности. Я знаю, что пить нельзя, а если и лъзя, то дома, и нечего шляться по подворотням в поисках приключений. Первое, – он поднял руку и загнул мизинец, – зная, что пить нельзя, напиваюсь; почему? Ответ: удовольствие, непобедимое желание удовольствия; и не важно от горя или от радости напиваюсь, удовольствие будет и от горя и от радости, главное, чтобы было выпить, стремление еще раз ощутить то забыть, ту отрешенность, ту мнимую философию жизни: апре ну ле делюж (после нас хоть потоп), философию, которую дает

водка. Второе, – он загнул безымянный, – для чего искать приключений? Ответ: второе исходит из первого. Я перестаю быть самим собой, я уже не я, я свое плохое отражение – голосуй сердцем! Соответственно, разум мой пьян и безмятежно дрыхнет. А сердце у меня горячее, молодое, оно ищет бури, ему всего хочется, особенно сладенького, особенно запретного!.. И пьянство здесь еще какой пример, – возразил он кому-то, – хотя... – он на секунду задумался. – Всё, что мы творим, мы творим ради удовольствия – всё: спим, едим, пьем, производим потомство, мы и работаем ради удовольствия: работа ненавистна, но за нее платят, а раз в кармане звенит монета, то... Но здесь и так все ясно; а что касается молотком по пальцу... не спорю – будешь аккуратнее. А случайность? А она, в наше-то время, давно стала закономерностью. Ко всему прочему мы нетерпеливы, мы, русские, хотим всё, много, сейчас и сразу; и даже не знаем, чего мы больше хотим – всего или много? Так о каких ошибках может идти речь, о каких дураках и о каких таких умных? Авось – вот наш девиз.

– Думаешь, и сейчас пронесет? – спросил вдруг Хмаров; во всё это время, он тихо и особенно напивался, и зверел.

– Несомненно, пронесет, – приняв вызов, даже слишком азартно, Сингапур впялился немигающим взглядом в красное, скуластое Генино лицо.

– Пошли, поговорим, – Хмаров с трудом поднялся из-за стола, кухня тесная, Хмаров сидел в углу, у окна.

– Так, пацаны, хорош! – поднялись и остальные, встав между Хмаровым и Сингапуром. – Сингапур, Федор, иди домой, – говорили ему, подталкивая к выходу. И уже у выхода он не сдержался:

– Что, все за Кристиночку переживаешь?

– Бля-я-я!!! – взревел Гена, кинувшись сквозь обступивших его парней.

.....  
И ничего этого Сингапур не помнил. Он запомнил лишь то, что Дима грубо и крайне резко выставил его вон. Он запомнил только это.

Полночи Гену умиряли, порывавшегося за Сингапуром... Полночи утешали, раз двадцать подряд ставя тоскливую песню «Диктофоны», группы «Танцы минус», под которую Хмаров не стесняясь, рыдал, вцепившись руками в волосы. Опомившись же, стыдясь, отворачиваясь, наскоро одевшись, ушел, а за ним и все, боясь, как бы он с собой чего не сделал после таких откровенных слез. До самого утра Дима не мог отделаться от этой занудной песни, он и проснулся, напевая: И за твои ресницы хлопать, и за твои ладони брать, за стеклами квадратных окон, за твои куклы умирать, – и напевая, неизбежно вспоминал Гену Хмарова, в который раз жалея, что впустил Федора в квартиру. Но так повелось, зарекаясь не общаться с этим человеком, Дима общался с ним. Было что-то в этом Сингапуре... что-то... какая-то непонятная, всепоглощающая искренность, подкупающая и... оттал-

квивающая. И... женщины любили его, и не просто так, а красивые женщины, – вот что удивляло, и любили именно за то, за что парни, его на дух не переносили – его яростная откровенная болтовня. Не было в нем ни скромности, ни стеснительности, ни того привычного мужского трепета, с которого начинается знакомство и ухаживания. Но не было и мужской грубости... Впрочем, и грубость была, и скромность, и стеснительность, и тот самый мужской трепет, все в нем было... Но как-то не так, как у других... Он точно гипнотизировал женщину, всегда находя именно то нужное слово, которое именно эта женщина именно сейчас и ждала. Он брал женщину сразу, с наскока, завораживал ее своей непосредственностью, неутомимой энергией... или же величественным сплином, или же беспощадной скромностью паймальчика или же... Да все равно – все зависело от предмета обожания. Причем, что говорить, для него было не существенно, порой он нес такую ахинею... «Женщинам не интересно, что им рассказывают, им приятно само внимание, – делился опытом Сингапур, – И первое – заглянуть ей в глаза – сразу станет ясно, будет она с тобой говорить или пошлет куда подальше. Глаза – зеркало желаний, – они все подскажут», – всегда интимно заключал он.

Гена Хмаров был человек суровый и, по-мальчишески, стеснительный; словом, он мог предложить Кристине, только цветы на восьмое марта и билет в кино на вечерний сеанс и всегда на фильм, который был интересен ему, ну еще вечер

в каком-нибудь кафе-караоке, где он считал необходимым, лично, спеть песню для своей любимой. Как оказалось, этого было недостаточно. Сингапур же подарил Кристине весь мир, полный долгих и занимательных историй о смысле жизни, душе и, главное, о самой Кристине. И в этом мире ни к чему были букеты роз и песни под гитару, даже признания в любви – все это было лишним, и даже банальным, и даже пошлым.

И Кристина вдруг заболела. Была обычная сырая зима; обычный грипп; затем, почему-то, осложнение... Затем менингит; энцефалит... и полное атрофирование мышц. Вот уже два года Кристина была прикована к креслу.

Сингапур лишь раз, может, два навестил ее в больнице... Увидя ее лежащую на больничной койке, способную двигать только глазами... Это была уже не та красавица Кристина... Худое скрюченное тело... и если бы не глаза, кричащие о жизни, можно было подумать, что разговариваешь с поломанной куклой. Этого никто не знал, этого не хотели знать. Знали, что заболела, что лежала в больнице, но ведь жива осталась. Слышали, что вроде бы, парализована... Была Кристина, и не было Кристины. Сначала спрашивали о ней, справлялись о здоровье; первый месяц даже живо обсуждали, выводя мораль: что вот к чему приводит халатность по отношению к своему здоровью, многие под впечатлением чуть ли не до мая в шапках и шарфах ходили; первый месяц всем факультетом собирались ее навестить, очень



жалели ее, кто-то в порыве и навестил с цветами и апельсинами... Потом все поутихло... к тому же и зимняя сессия... Словом, о Кристине благополучно позабыли, своих проблем хватало. Единственный, кто остался с ней – это Гена, которого она, в свое время, довольно неласково отшила. Впрочем, Гена до сегодняшней ночи особо не распространялся о своей любви и, тем более, заботе. Зато много рассказал он, когда рыдал, сидя на полу в Диминой комнате, слушая тоскливые «Диктофоны». Если бы всё это знали: больница, паралич, утка, дерьмо... Сингапура бы размазали по подъезду. А так... ну и ляпнул Сингапур, с него разве станется, он и не такое мог ляпнуть. Все и не представляли, что Кристина перенесла две клинические смерти и операцию на головном мозге, и, к удивлению врачей, не только выжила, но осталась нормальной здравомыслящей девушкой. И единственным лекарством, способным поставить ее на ноги теперь была любовь, забота, ежедневные тренировки и... время. Почему она осталась жива и, что самое фантастическое, в полном рассудке, никто объяснить не мог. Подобно кошке, жизнь вцепилась в жертву, по праву принадлежащую смерти, и никак не хотела оставлять своих позиций, точно пытаюсь доказать свою власть и силу. Что это – судьба? знамение свыше? Ангел-хранитель? А может быть, действительно, все просто: никакой мистики, никакого чуда – сильный организм, железная воля... К чему копать в неизвестном? – и невольно, Дима думал об этом, наблюдая похмеляющегося Сингапура.

– Ты бы лучше извинился сегодня перед Геной, – заметил он.

– За что? за вчерашнее, что ли? – точно припоминая, переспросил Сингапур. – Не я это начал, – отмахнулся он, и вдруг заявил агрессивно: – Я, что, виноват, что она простыла и заболела? К тому же это и случилось – мы месяц как расстались, я с ней и в институте не здоровался. Ты это знаешь. Одеваться надо было теплее, и ничего бы не было.

– Никто тебя и не винит, – возразил Дима, – Речь не об этом. Ты Гену обидел. Он любит ее. Ты бы слышал, что он нам рассказывал. Тебя бы точно прибили, подвернись ты в эту минуту.

– На расправу мы все скоры, тем более на благородную, – не без ехидства заметил Сингапур, – Лучше бы вы ее хоть раз навестили. А перед Геной извинюсь, – вдруг согласился он, – авось не убудет, – он произнес это совсем как несправедливо обиженный ребенок, даже не произнес, а буркнул.

– Ладно, пошли в институт, – сказал Дима, сам испытав небольшую неловкость от этого разговора.

## 2

Холодина стояла жуткая. С четверть часа парни молча ждали автобус. В своем пальто, без шапки, Сингапур порядком замерз; то и дело он прикладывался к бутылке, но видно это мало ему помогало.

– Может ну ее к черту, этот институт; суббота, пошли обратно к тебе или до меня дойдем, водки еще возьмем, – то и

дело шмыгая носом, предложил он.

– Нет, – ответил Дима и добавил. – Ты ко мне сегодня не заходи. Гена будет. И вообще, когда у меня такая вечеринка... тебе там делать нечего.

– Мне все равно, – равнодушно ответил Сингапур. Лицо его осунулось, стало каким-то отрешенным и, неприкрыто грустным, даже холод теперь не волновал его, расправившись, он закурил и задумчиво смотрел куда-то в сторону. Подошел троллейбус.

– Поехали, – Дима дернул его за рукав.

– А? да-да, – Сингапур кивнул и первым полез в переполненный троллейбус.

Устроившись в середине салона, парни замерли, задавленные со всех сторон такими же замерзшими и раздраженными пассажирами: Дима – держась за поручень, Сингапур – уперевшись обеими руками в спинку сидения, на котором, сидела старушка. Склонившись над ней всем телом, Сингапур с трудом, казалось, держался на ногах. Старушка лишь кротко прижалась плотнее к стеклу.

– Какая милая старушка, – легонько Сингапур ткнул Диму локтем.

– Милая, – согласился тот, и не в силах больше сдерживать давивших пассажиров, оторвал от поручней руку и уперся ладонью в стекло, другой рукой, то и дело, управляя дублировку, задиравшуюся всякий раз, когда кто-нибудь пытался протиснуться по салону.

Троллейбус ехал молча, говорить в таком холодном, спертотом от невыносимой толчеи воздухе, желающих не было, единственно, кто-нибудь вяло огрызался. У окна, впереди салона, сидела молоденькая мама с пятилетним мальчиком на коленях; мальчик, не отрываясь, смотрел в круглое светлое пятно на заиндевевшем стекле. Смотрел долго, молча, и не по-детски угрюмо; вдруг сказал громко в каком-то порыве:

– Мама, мне надоело. Давай украдем много денег и купим «Мерседес».

– Вот это парень! – враз оживился салон.

– Вот это правильно! – засмеялись какие-то молодые люди.

– Чему дитё учите! – раздался укоряющий стариковский возглас. – Бесстыдники.

Сразу потеплело. Пассажиры оживились, мысль «украсть много денег и купить «Мерседес», многим была симпатична. Единственно, некоторые старики возмущались, но это лишь еще больше веселило салон. К тому же сразу кто-то ругнул правительство и уже старики, недавно возмущавшиеся, теперь от души поносили и правительство и премьера и до кучи, местную администрацию, обзывая губернатора не иначе как соловьем птичкой певчей. Словом, до института парни доехали в самом, что ни на есть приподнятом настроении.

В институте все обошлось. Хмарова встретили сразу, только парни вошли в холл. Дима пожал ему руку, протянул

руку и Сингапур.

– Я с такими отморозками не здороваюсь, – сдержанный ответ, Сингапур равнодушно пожал плечами и прошел в институт.

В субботу были общие лекции. Первой была история искусств. Читал ее Рождественский Аркадий Всеволодович, молодой преподаватель двадцати девяти лет. Всегда опрятный, в костюме, он неторопливо прохаживался мимо доски, негромко, вовсе не стараясь, что бы его услышали, читая свои лекции; иногда он запрокидывал голову, поправляя длинные прямые волосы, следом, непременно указательным пальцем, поправлял очки, и снова потупясь, мерно выхаживал по аудитории, рассказывая что-то исключительно для первых двух рядов. Уже с третьего ряда, что-либо разобрать было проблематично.

Рождественский не отмечал посещаемость, на экзаменах доек не ставил, особенно юношам, но всегда, особенно у юношей, экзамен принимал долго, превращая его в очередную лекцию. Впрочем, все знали, что он гомосексуалист. Но человек он был милый и общительный. В поведении его не было ничего такого анекдотически манерного; обычный, преподаватель истории искусств, без всяких этих изящных штук. Никто бы и не узнал ничего, если бы на первом курсе, во время нескончаемых экзаменационных и послеэкзаменационных пооек, он, так ненавязчиво, не предлагал бы каждому из курса свою дружбу. Предлагал он ее все-

гда изысканно-туманно, с какими-то образными намеками, и, если что, изящно сводил все к обычной лекции по античной истории. Все прошли эту проверку, все, кроме Сингапура. «Неужели я такой несимпатичный?» – как-то, во время очередной пьянки, при всех, весело заметил Сингапур и подмигнул игриво. Рождественский крайне смутился, он ни как не ожидал такой прямоты и того, что... студенты ни сколько не скрывали его тайные приставания, а пересказывали всё друг другу, да еще и глумились за глаза. Сингапур сдал всех; впрочем, никого это не расстроило, парни искренне позабавились, когда наблюдали, как он, как раз анекдотично манерно, вдруг прильнул к Рождественскому и задушевно стал склонять его к определенной интимности. Рождественский, с безобразно застывшей улыбкой, беспомощно выслушивая задушевные пошлости Сингапура, остолбенело сидел за столом,. Вдруг резко поднявшись, он вышел в коридор. Сингапур, подмигнув всем, кто был в аудитории, следом. Совершенно бессмысленно было обижать Рождественского, и только за Сингапуром закрылась дверь, все разом ощутили себя даже мерзавцами, что так позволили... да еще и сами охотно хихикали пошлостям Сингапура. Но никто не рискнул выйти следом; пожав плечами, помявшись, парни продолжили пить, стараясь обратить всё в шутку, будто и не было ничего... и Рождественского будто не было.

Сингапур вернулся.

– А где Рождественский? – спросил кто-то.

– Ушел, – ответил Сингапур.

– Зря ты, Федя, – сказал кто-то. – Хорошего человека обидел.

– Хоть и пидора, – вставил кто-то. Все засмеялись и вскоре забыли, увлекшись своими разговорами. Сингапур лишь, странно-озадаченный, сидел возле окна и курил.

– А я ведь его до слез довел, – серьезно сказал он, когда спросили, чего он такой смурной. – Стоит возле окна, и плачет, – глядя в сторону, продолжал он. – Я-то так, ради хохмы... а он – плачет. Посмотрел на меня, лицо красное и сказал тихо: «Федор, зачем вы так, ну что я вам сделал». И, правда, зачем я так? Попытался успокоить его. Совсем глупо вышло: говорю: Что вы, в самом деле, как девочка, ну и педераст вы, ну и что? У меня вообще агорафобия, я открытых пространств боюсь, прошлым летом на дачу с матерью собрался – поле не смог перейти, как увидел всю эту громадину – все это небо, и ни деревца и, и... утешил, блин», – раздраженно заключил он и, затушив сигарету, ни с кем не прощаясь, ушел.

На следующей сессии Сингапуру пришлось туго. В отличие от остальных, он раз пять пересдавал эту, уже поперек горла вставшую ему историю искусств. Рождественский был непреклонен. Сингапуру пришлось выучить всё от и до.

– Вот пидорюга, – высказался он, выйдя, наконец, из аудитории с тройкой в зачетке, – буквально – затрахал.

\*\*\*

Как обычно парни сели на последние ряды и, краем глаза, изредка наблюдая за мирно прохаживающимся вдоль доски Рождественским, трепались о своем. Пьяненький, повеселевший Сингапур дурачился, прицельно забрасывая бумажными катышками сидящих за нижними первыми партами девчонок. Бумажки беззвучно попадали в цель; если в одежду, то отскакивали и падали на пол, если в прическу – застревали в волосах, чему от души веселился Сингапур. Впрочем, дурной пример заразителен, и уже человек пять, подобно Сингапуру, в тихой радости, забрасывали ни о чем не подозревавших, внимательно конспектирующих лекцию, девчонок. Рядом с Сингапуром сидел Данила Долгов. Всегда нарочито ироничный, но в действительности открытый и даже наивный. Он был коренаст, широкоплеч, круглолиц, и, в виде какого-то особого вызова обществу, носил, вовсе не идущие ему, длинные до плеч волосы; никогда не убирая их в хвост, он всякий раз ладонью забирал их назад, волосы непослушно ниспадали обратно. Ко всему прочему, Данила всегда носил только черное; и в своем черном свитере, черных джинсах, с длинными рыжими до плеч волосами, больше походил на средневекового варвара, чем на студента-художника; а на улице повязывая черную бандану – тем более, но такое сравнение ему только льстило. Долгов был, наверное, единственный со всего факультета, кто бы мог назвать себя другом Сингапура. Ему частенько говорили: «Данил, ведь он же сволочь, как ты общаешься с ним?» И вся-



кий раз Данил соглашался: «Конечно, сволочь, но какая сволочь!» – с особой иронией непременно прибавлял он. Сидя по левую руку от Сингапура, Данил, облокотившись о парту, всем телом, подавшись вперед, совсем как спортивный комментатор, чуть слышно, но очень эмоционально комментировал броски, всякий раз, в азарте выбрасывая руку – куда падал шарик и, всякий раз, нетерпеливо забирая назад волосы, некстати спадавшие на лицо и мешавшие обзору. Так прошла лекция. Со звонком, довольные, парни вышли из аудитории, посмеиваясь на возмущавшихся девчонок, отряхивавших со своих голов щедро набросанные бумажки.

На перемене Сингапур вместе с Данилой вышли на крыльцо института покурить. Шагах в десяти, возле высокого тополя, в компании какой-то странного вида девицы стоял Андрей Паневин, а проще – Сма. Невысокого росточка, щупленький, с нелепыми мальчишескими усиками... Паневин был не просто подтянут, он выворачивал плечи назад, а локти выставлял вперед, что свойственно тяжелоатлетам, у которых мышечная масса не позволяла рукам свисать свободно. Мышечная масса позволяла Паневину пролезть в водосточную трубу; но и ноги, при ходьбе, он выкидывал в стороны так, как только что сошедшие на берег моряки из мультипликационных фильмов. Во всем виде его, особенно в лице, была какая-то ничем не смываемая значимость собственного достоинства. Все издевки в свой адрес он, казалось, просто не замечал. Если же над ним смеялись, он смеялся тоже –

смеялся, как смеются над посторонним человеком. Это был, наверное, самый беззлобный, тихий и незаметный человек на всем курсе. Тихий, незаметный, он пристраивался к компании и, как ни в чем не бывало, следовал, как тень, до того самого места, где парни собирались распить бутылочку-другую вина. Тихо, незаметно, он усаживался поближе к разливающему, и тихо, незаметно напивался; захмелев же, развлекал всех своей беспросветной глупостью. Поначалу это забавляло: и то, что он незаметно пристраивался к компании, а проще, садился «на хвоста», пил, закусывал, угощался сигаретами, всякий раз, несмело доставая сигарету из чьей-нибудь пачки, лежавшей на столе, когда все знали, что свои у него есть, только он их прятал поглубже в карман. Забавляло и его косноязычие, его бесконечные «ну, в общем» и «это самое» – единственное, что, наверное, можно было понять из его речи, и то, напиваясь, он и это «это самое» произносил как «сма». Его и прозвали Сма. Когда же дело доходило до сальностей и до анекдотов, Сма, непременно, рассказывал один и тот же анекдот, такой бородатый, что удивляло, где он мог его слышать. Анекдот был про какого-то кота пугавшего всех и каждого своим вкрадчивым Мур-р, которого в конце концов испугал козел, ответивший на его Мур-р, суровым КГБе-е. Рассказав его впервые, сам Сма искренне смеялся, (он и смеялся как-то странно – покашливая и очень тихо). Впоследствии, на каждой пьянке парни слышали от него только этот анекдот, и, всякий раз, Сма тихо покашли-

вал, только выговорив это сурово-блеющее «КГБе-е». В конце концов, всем осточертела и его бережливость и его «КГБе-е». Жалкая сцена: намечается попойка, все собираются, скидываются, вот уже вышли из института, часть рванула за водкой, часть, потихонечку, на квартиру, готовить закуску... И Сма, невозмутимый, высоко подняв голову, шагает следом, ни-и-кто его не замечает. Наконец, найдется крайний, скажет, как последней бляди, даже не скажет, а выдавит: «Андрей, иди отсюда, иди», а он: «Ну, сма, ну че вы...» Отмахнется от него компания, пойдет своей дорогой, а он, с убийственной невозмутимостью следом – руки в карманах, ноги в стороны. Иногда, проходя мимо остановки, его просто впихивали в подошедший автобус, как собачке приговаривая: «Домой, Андрей, домой», – ждали, когда двери закроются за ним и, лишь тогда, уже спокойно, продолжали свой путь.

– Здорово, Сма, – Сингапур панибратски хлопнул его по спине.

– Привет, – ответил Паневин.

– Здравствуйте и вы, милая барышня, – отвесив театральный поклон, приветствовал Сингапур.

– Здравствуйте, – торопливо и крайне испугано, ответила она, даже пугливо отстранилась, когда Сингапур отвесил ей свой поклон. Невысокая, исподлобья снизу вверх смотрела она на Сингапура. На ней была розового цвета старая болоньевая куртка, из-под которой до самых пят свисала черная

шерстяная замызганная юбка. На голове розовая выцветшая вязаная шапочка, из-под которой выбивались, точь в точь, как и юбка – черные жидкие невымытые волосы, ниспадавшие до плеч. Даже лицо казалось каким-то серым и замызганным; впрочем, черты были правильные и даже красивые, если бы не эта отталкивающая неопрятность. Но больше притягивали ее глаза, блекло-черные, суетливо-пугливые, куда она смотрела – черт ее разберет – куда-то туда-сюда, они... казалось, были совсем без зрачков. Нет, – Сингапур невольно поежился, – зрачки были, конечно же, были. Не могут же быть глаза без зрачков!

– И как вас зовут чудное создание? – наконец справившись со своим внезапным замешательством, спросил он, приятно улыбнувшись.

– Галя, – ответила она, напряженно наблюдая за Сингапуром, точно вот сейчас сорвется и удерет, куда глаза ее глядят – туда-сюда.

– Вас почему-то так и просится обидеть, – помолчав, вдруг заметил Сингапур, странно еще раз заглянув Гале в глаза. – Вид у вас подходящий, – точно в оправдание, добавил он и вернулся к крыльцу.

– Крайне любопытная особа, – заметил он Данилу.

– На бомжиху похожа, – был ответ.

– Вполне может быть, – согласился Сингапур. – Ну ладно, чего-то меня не тянет слушать дальше эти умные лекции... У тебя деньги есть? – прямо спросил он.

– Денег нет.

– Будем искать.

Пошустрив по факультету Сингапур, кое-как наскреб на бутылку водки. Умел он находить деньги на водку.

Уже выйдя из магазина, парни наткнулись на Паневина.

– О, а ты чего не на лекции? – удивился Сингапур.

– Так сма, эта сма...

– Понятно, – остановил его Сингапур. – Ну, пошли. – Он кивнул Паневину, и тот охотно зашагал за ними. Все втроем вошли в ближайший подъезд.

– У тебя, таки, нюх, – говорил Сингапур, выставляя на подоконник бутылку водки, пластиковый стакан и мороженое – все, на что хватило собранных денег. – Но учти, – он налил водки и протянул стакан Данилу, – ты расскажешь, что это за безумное создание в розовой куртке, и какого лешего ты с бомжихами вяжешься.

– Она, это самое, святая, – неожиданно серьезно и на редкость разборчиво ответил Паневин, заглядывая на Данила, уже взявшего в другую руку мороженое.

– О как! – присвистнул Сингапур. – Ну давай, – кивнул он Данилу, тот выпил, закусил, заметил поморщившись: «Дрянь водка»; поставил стакан и мороженое на подоконник. Сингапур налил водки, не предложив Паневину, выпил сам, согласился, что водка дрянь, закурил. Закурил и Данил.

– Ну, мы тебя слушаем, – выпустив струйку дыма, произнес Сингапур.

– А... Эт сма, пацаны, а...

– А тебе, когда расскажешь, – ласковый ответ. – Не волнуйся, на твой век хватит.

– Ну вще... сма... – разволновался Паневин.

– Черт с тобой, – Сингапур налил ему. Паневин выпил.

– Мороженое не дам, – брезгливо Сингапур отставил мороженое от протянутой руки Паневина, – ты с бомжихами всякими вяжешься.

– Она не бомжиха, она, сма, стая, – взволновано пробурчал Паневин, неохотно достав из кармана свою пачку «Дуката», Сингапур с Даниилом курили «Laky Strake».

– Святая – в смысле... – Сингапур покрутил пальцем у виска.

– Не, сма, ее, сма, один, сма, плюбил, сма, и яйца отрезал себе, сма.

Не выдержав, и Сингапур и Данил засмеялись.

– Слушай ты – сма, – сквозь смех говорил Данил, – ты, сма, нормально, сма, говорить можешь, сма, педагог, сма?

– Еще раз «сма» скажешь, водки не дам, – сказал Сингапур.

– Ну эт сма, я...

– Все – ты попал.

Данил тут же обнял Сингапура и тихо и задушевно запел:

– Круто ты попал на тиви, ты звезда – давай народ порази.

– Удиви, – возразил Сингапур. – По рифме подходит «уди-ви».

– Не спорь, – отмахнулся Данил, – я лучше знаю, у меня сестра эту хрень слушает. Они поют: «порази».

– Потому что они урю-юки, – на распев заметил Сингапур. – Да Сма?.. Ну ладно, – согласился он, – налью тебе, но давай без этих своих... Понял? – он строго взглянул на Паневина.

– Понял, – кивнул Паневин, взял стакан и выпил. Выпив, он, напряженно, стараясь говорить понятно, стал рассказывать, что знал, об этой знаменательной, на его взгляд, истории – истории о Кирилле Минковиче, который от большой любви к Гале кастрировал себя садовыми ножницами. Если бы ни Данил, ни Сингапур, уже не слышали эту байку, о которой в свое время шел слух в определенной неформальной тусовке, то ни черта они бы не разобрали, разгребая все эти «сма» и «вще», без которых Паневин никак не мог рассказывать, как он, по совести сказать, ни старался. К тому же, захмелев, он и вовсе потерял возможность изъясняться нормально, речь его перестала быть похожей на человеческую, а скорее на какие-то животные звуки, временами сцеплявшиеся все теми же «сма» и «вще». А история была насколько любопытная, настолько же и мутная. Сказать, что Кирилл Минкович был странный человек, значило ничего не сказать. Он был сумасшедший. Это знали все. У него даже справка была. Но опять же... эта история... В такое хочешь не хочешь, а поверишь, уж очень сальная историйка. В нее, по-правде, и верили. А что – вполне вероятно, чего еще можно ожидать

от человека, свихнувшегося на религии. Такие не то что яйца, такие вены вскрывают, из окон выбрасываются. Но... вены и из окон, это обычные истории, можно сказать, типовые; здесь же старообрядчеством попахивало, что называется – полный скопец.

В свое время Минкович был известным человеком, он был рок-музыкантом, выступал на общих концертах местного значения; был у него и сольник в одном из, опять же, местных рок-клубов, точнее сказать – рок-клубе, так как на весь город он был один, да и тот скурвился, не просуществовав и года, превратившись в обычный кабак. Рассказывали, что и тогда уже Минкович забавлял всех, приглашая на выступления свою маму. Она приходила, важно усаживалась где-нибудь в сторонке и внимательно слушала своего Кирюшу, большого, кучерявого, всегда в кожаной куртке-косухе, негромко поющего под электрогитару странно-замудренные песни в духе Бориса Гребенщикова, даже тембром голоса Кирилл старался подражать своему кумиру. После выступления, мама, женщина невысокая, полная, невзирая на погоду, в больших темных очках, подходила к сыну, окруженному нетрезвыми патлатыми пареньками, достававшими ему еле до плеча, и девицами с выбритыми висками и с колечками в самых неожиданных местах, и серьезно высказывала свое мнение. Выглядело все это комично, учитывая, что Кирюша преданно выслушивал ее и обещал поправить ту или иную песню, на которую ему замечала мама. Высказавшись,



она оставляла его, предупредив, чтобы особенно не пил, и если – то только красное вино, затем и давала ему деньги, прощалась и просила позвонить, если он задержится или не приедет ночевать вовсе, но при этом, всегда добавляла, что будет ждать его не позже одиннадцати. Так что, какой бы ни был сейшн, Минкович послушно, только стрелки подходили к половине одиннадцатого, уходил домой. Его не могли удержать даже девчонки, хотя ему и было тогда уже за двадцать. Такая послушность лишь разжигала компанию. Пару раз Минковича спаивали, запирали с легкомысленными девицами в спальне... Кончалось все тем, что он, обладавший отменной силой, выбивал дверь и, обиженный на весь свет, уходил. А голых женщин он и вовсе чурался, заливаясь неожиданной краской стыдливости. Когда спрашивали серьезно, без ехидства, он отвечал: «Мама волнуется, ей нельзя волноваться», – и больше ни слова. Гостей Минкович не жаловал, причина была все та же – мама, она не любила гостей. В остальном же Минкович вел обычную неформальную жизнь: учился в политехническом институте, читал умные книги, репетировал со своей группой в гараже, принадлежавшем отцу одного из парней этой группы, пил вино, в одиннадцать вечера возвращался домой; к слову, весь день у него был расписан по часам, по нему даже время сверяли... Как в один прекрасный день, он не явился ни в институт, ни на репетицию. Если его искали, заходили домой, дверь всегда открывала мама (жили они вдвоем) и отвечала, что

Кирюша болен. Чем болен, не говорила. Ну, болен и болен, с кем не бывает. Но прошел месяц, другой, а Минкович не объявлялся. Прошли полгода. Из института его отчислили, группа распалась... И поползли слухи, что Минкович рехнулся и оскопил себя садовыми ножницами... Когда? Зачем? Никто тогда вразумительно сказать не мог. Рехнулся, и отрезал, и всё. Ситуация немного прояснилась, когда Минковича положили в психиатрическую лечебницу, где побывало не мало народу из неформальной тусовки. Его там видели, с ним разговаривали, выяснилось, что действительно – отрезал, но не садовыми, а обычными кухонными. И отрезал от любви к одной особе. А сделал это потому, что решил, что эта особа святая Дева Мария, а он ее страстно возжелал, а так как она святая, да еще и Дева Мария, то возжелать ее никак нельзя, вот он и решил этот вопрос радикально. Опять же, правда это или байка, судить трудно, потому как первыми ее рассказывали те, кто лежал с Минковичем в лечебнице, соответственно, народ понятного положения, особого доверия не вызывающий, так как сами рассказчики – люди не вполне нормальные; словом, рассказы эти ясности не внесли, а лишь сильнее всё запутали и нагнали тумана и даже мистики. А потом прошло время, годы, и забыли и о Минковиче, да и вообще о всём этом рок-н-рольном романтизме. Так, если только некоторые, вроде Сингапура, считавшие себя панками или хиппанами. Но всё это уже было лично и индивидуально, без определенных тусовок, о которых теперь ходи-

ли лишь байки, наряженные временем в романтический ореол вседозволенности, свободной любви, какого-то протеста и прочей рок-н-рольной мишуры, как в свое время ушли в небытие драки район на район и благородные хулиганы, которые дрались честно, лежачего не били, и никогда не трогали парня с чужого района, если он был с девушкой.

– А этот Минкович еще живой? – казалось, сам у себя спросил Сингапур.

– Живой, сма, – кивнул Паневин, что-то еще добавив невразумительное.

– Прикольно, – Сингапур произнес это задумчиво, словно окунувшись в это далекое неизвестное ему время. – Так значит, эта твоя Галя и есть та самая Дева? – оживленно обернулся он к Паневину.

– Угу, – кивнул тот.

– И где же ты откопал это доисторическое существо?

– Она сама, сма, подошла, сказала, искала меня. Избранный я.

– О, как! – усмехнулся Сингапур.

– И я это... вот, – Паневин покосился на бутылку.

– С тебя достаточно, избранный. – Сингапур отставил от него бутылку. – Она, правда, святая? – с интересом заглянул он в глаза Паневину.

– Угу, – приковано уставясь взглядом в бутылку, кивнул Паневин.

– Она сама тебе об этом сказала?

– Угу.

– Замечательно. Феноменально просто. Просто усратья можно. И ты в это веришь?

– Угу.

– Нет, Данил, ну ты погляди. Хотя... – он мечтательно склонил голову, – чертовски люблю общаться с подобным народом. Вся эта вера, поиски истины, крайне занимательны.

– Тебе муновцев мало? – напомнил Данил.

– Ты знаешь, мало, – ответил Сингапур.

– Ну-ну. Только без меня... Ну наливай, что ли, – и Данил протянул ему стакан.

– А с муновцами прикольно получилось, – наливая водку, с ностальгией произнес Сингапур.

– Да куда уж там, – ответил Данил без ностальгии, – дай Бог, что обошлось. Спасибо отцу, помог. За родителей, – сказав тост, он выпил.

### 3

История получилась действительно скверная; отцу Данила пришлось воспользоваться некоторыми своими связями, что бы замаять ее. В институте же еще раз убедились в способностях Сингапура влезать в самые паскудные истории и втаскивать за собой всех, кто под руку подворачивался. Впрочем, и сам Данил не был пай-мальчиком, а с Сингапуром и подавно; эти двое, точно нашли друг друга, и если уж напи-

вались, то день без приключений, можно сказать, был прожит для них зря.

В те две недели июня, когда первый курс сдавал свои первые переходные экзамены, родители Данила уехали на юг, оставив квартиру на сына. За это время там перебивала добрая половина художественно-графического факультета, даже Рождественский пару раз захаживал. И все обходилось: пили, веселились, раздражали соседей, но в меру – всё, как и должно быть.

В тот вечер договорились собраться у Долгова часов в одиннадцать вечера, но, еще не дойдя и до дома, компания увидела их: напряженно оглядываясь, стараясь не заходить в свет фонарей, они торопливо шли. Увидев своих, кивнули в темноту какого-то двора и скрылись в нем. Рубашка и брюки Сингапура были испачканы кровью. «Чего это вы?» – был первый вопрос. «Ничего, за веру пострадали. Пошли отсюда», – добавил Долгов, по дороге наперебой с Сингапуром, рассказывая все случившееся; к слову, в этот раз Сингапур не был словоохотлив, его больше интересовала запачканные брюки и рубашка.

\*\*\*

Началось все обычно. Парни купили вина и зашли во двор, когда их остановила девушка.

– Здравствуй, Данил, – стараясь быть улыбчивой, заговорила она, кротко покосившись на Сингапура, уже, к слову, поддавшего и, слишком откровенно разглядывавшего ее,

буквально, с головы до ног. Впрочем, в определенном смысле, разглядывать там было и нечего: одета простенько, да и лицо ее, бледное, все было покрыто красными воспаленными прыщиками, но Сингапур, как нарочно, именно лицо и разглядывал всего пристальней.

– Данил, ваш друг на меня так смотрит. – Смутившись, покраснев, от чего лицо ее стало совсем бугристым, заметила девушка, все еще стараясь быть улыбочивой.

– Ничего, он на всех так смотрит, – извинившись, ответил Данил: – Вы, Лиза, нас простите, мы спешим...

– Вовсе нет! – воскликнул Сингапур. – Кстати, меня зовут Сингапур. Вы Даню не слушайте, для такой барышни, лично у меня, всегда найдется минутка.

Данил странно покосился на него.

– Да? – оживилась девушка, – Как это приятно; тогда я хотела бы пригласить вас... Сингапур, это ваша фамилия?

– Вроде того.

– Интересная фамилия... Я бы хотела пригласить вас на лекцию...

– Как это интересно! – был ответ. – Ну и что это у вас там за лекция такая?

– Мы рассказываем о нравственности, о семье, о Боге...

– Так вы сектанты?! – веселый восклик. – Замечательно, – еще веселея.

Данил напряженно усмехнувшись, молча наблюдал.

– Ну и кому же поклоняется такая милая и, судя по вашей

внешности, наверняка, не побоюсь этого слова, нравственная барышня? – Сингапур сказал все это мягко, даже ласково, как говорят ребёночку.

– Почему вы решили, что я сектантка?

– А разве нет? – удивился он; и вдруг совсем серьезно: – Хорошо, – на секунду задумался, – уверен, вы настроены сейчас на теологический диспут, я вижу по выражению вашего лица, что непременно настроены на диспут, и сейчас, несомненно, желаете убедить меня, что вы не членка секты; я ведь прав?

– Я верю в Бога, – как несломляемый аргумент, чуть слышно произнесла она. – А вы, вы верите в Бога?

– К сожалению, я агрессивный атеист, – и в правду с сожалением отвечал Сингапур.

– Ну что вы, вы ничуть не похожи на агрессивного человека.

– Еще как, – усмехнулся Данил.

– Ну, вот видите, – оживилась девушка, – вся ваша беда в том, что вы не верите в Бога. Все ваши беды, всё от этого, – горячо говорила она Сингапуру; вдруг спросила прямо: – Вы нравственный человек?

– Нет, – даже застенчиво отвечал Сингапур.

– Вот видите! и не только эта беда ваша, сейчас весь мир страдает этим, сейчас...

– А вы... Вы нравственны? – спросил он в полушепоте.

– Я стараюсь быть такой, и в этом мне помогает вера, вера

в Бога, – вторя ему, прошептала она.

– Как это интересно.

– Вам, правда, это интересно? Тогда я с удовольствием приглашаю вас...

– В нашу секту, – подсказал Сингапур.

– Почему вы называете нас сектой? Я сама, я сама хотела бы помочь вам, вы же видите, в каком мире мы живем: насилие, потеря нравственности, семейных ценностей, люди ненавидят друг друга, мужья изменяют женам, насилуют женщин, кругом обман, люди перестали любить друг друга, перестали верить в Бога, а если и верят, то всё внешне. Они решили, что если надели на себя крестик, сходили раз в год в церковь, поставили свечку, то на этом и всё, на этом их вера и заканчивается...

– Стоп, стоп, стоп, – остановил ее Сингапур, – а вы что, в церковь не ходите и креста не носите?.. Вы нехристь? – наивно с неподдельным любопытством поинтересовался он.

– Нет... я...

– Не нехристь?

– Подождите, вы меня путаете...

– Так вы нехристь или не нехристь? – с прежней любознательностью продолжал он, заглядывая ей прямо в лицо.

– Я не нехристь, я... Вы неправильно всё это повернули, я говорила вам о другом, я к сатанизму не имею никакого отношения, я...

– Так вы, значит, признаете веру Христову и носите на



себе крест, на котором был распят Спаситель, следовательно вы...

– Я верю в Бога! – в порыве, но чуть слышно воскликнула она. – Я верю в Бога, но всё это внешне, все эти...

– Бог – внешне?!

– Нет не Бог, а все эти символы...

– Христа, что распяли так, чисто символически? – склоняясь над ней, говорил Сингапур, он точно подавлял ее, пристально и не мигая, заглядывал ей в глаза.

– Нет, я не о том, я не о том, – шептала она.

– Ладно, – отстранился Сингапур. – Ладно, успокойтесь, все нормально, – говорил он спокойно.

– Я не о том, я не об этом...

– Так не о том или не об этом? – уже снисходительно улыбаясь, спросил он.

– Вы придираетесь к моим словам, вы очень тяжелый человек, вы...

– Я всего лишь навсегда атеист.

– Вот видите, вы... Вы должны поверить в Бога.

– Без креста?

– Что? – теперь испугано смотрела она на внимательно изучающего ее Сингапура, ему сейчас только монокля не хватало.

– Поверить в Христа без креста? – медленно и размеренно повторил он.

– Да! – отчаянно, боясь вновь попасться, словно зажму-

рять и заткнув уши, как зубрешку зачестила она. – Это символы, не имеющие к вере никакого отношения, это символы, придуманные попами, что бы обманывать людей, истинная вера в другом, она подразумевает семью, нравственность...

– Далась вам эта нравственность, впрочем, мне нравиться, как вы сейчас говорили: «придуманые попами», «обманывать людей», – как много у нас общего, вы случаем не атеистка? По-вашему, религия – опиум для народа?

– Да-да, та религия, которая насаждается церковью, она – опиум, она одурманивает, заставляет забыть о нравственности, поклоняется символам, ставить свечки...

– Вы мне нравитесь, – засмеялся Сингапур, – если бы вы только слышали, что вы несете...

– Я говорю правду.

– Не сомневаюсь. Ну ладно, этак я могу вас вечно путать; девушка вы глупенькая, наивная и от того милая. Вернемся к главному. Что у вас там за лекции и за вера такая особенная – без креста?

– Наши лекции, – она глубоко вздохнула, сосредоточилась, – Наши лекции рассказывают о Боге, о семье, о нравственности (Сингапур усмехнулся). Вот видите, – оживилась она, – все ваши беды от этого – от потери нравственности.

– И от того, что я не верю в вашего Бога – ведь так?

– Бог один...

– И имя ему?..

– Ну что вы, он не Яхве и не Аллах...

– И, наверное, не Христос.

– Христа распяли, но людям явился новый мессия...

– Ну, наконец-то!! – с необычайным облегчением даже, вскричал Сингапур. – И имя ему? – он смотрел в эту минуту и говорил точь-в-точь, как уже утомившийся преподаватель, услышавший хоть что-то похожее на правильный ответ.

– Вы зря так иронизируете.

– Какая тут к лешему, ирония. Имя.

– Вы поймите, вы же видите, в каком мире мы живем, нравственность...

– Да твою... в богомать!! – выдал он вдруг. И неожиданно, как прежде, мягко, о-очень сдержанно: – Извините меня, милая девушка, просто это слово вызывает во мне откровенные приступы агрессии; постарайтесь его больше не использовать, и давайте отвечать ближе к названной теме.

– Вы знаете... я, наверное, пойду, я, наверное, вас задерживаю, – она сделала шаг назад.

– Ну что вы, как можно, – расплылся Сингапур, – ну как вы могли подумать, – с необыкновенной задушевностью продолжал он. – Ну разве такое возможно, как вы только могли...

– Вы, пожалуйста, больше не ругайтесь.

– Ни-ни-ни, – замахал он руками, – ни в коем случае, вот те крест, – он яростно перекрестился.

– Вот видите – вот и вся ваша вера – лишь внешне, а это ведь... – она запнулась.

– Безнравственно, согласен, я искренне поддерживаю вас; так давайте вернемся к теме – к вашей секте.

– Мы... я не отношусь к секте...

– Не важно. Кто мессия-то?

– Это важно, мы не сектанты.

– Хорошо, согласен, – в нетерпении торопил он. – Мессия кто – кто спаситель?

Она вздохнула и, с расстановкой, даже величественно произнесла:

– Имя ему – преподобный Мун.

– Еврей? – недоверчиво спросил Сингапур.

– Он кореец, – ответила она значительно.

– Ух ты! – выдал он восхищенно. – Данил, нас спасут корейцы! С востока сия звезда засияет. А всё прикидывались – самсунг, Ким ир Сен, Хуль вим бины. Ваш, кстати, за белых или за красных? – игриво подмигнул он. – Впрочем, не важно. – И вдруг запел ни к селу, ни к городу: – Данет от дано-он, очень вкусный он. Ах нет, не то, – поправил он сам себя: – Я узбеков люблю, они зимой лучше заводятся.

– Это ближе, – согласился Данил. Снисходительно, иронично наблюдал он всю эту сцену; пока терпения у него хватало.

– Вот видите – телевизор, – с сожалением и даже с упреком произнесла девушка.

– Телевизер – какая фигня, – придурковато подражая Масяне, подразнил Сингапур и хихикнул.

– Он зомбирует вас, вы уже и говорите не иначе, как фразами из рекламных роликов, – говорила она нравоучительно, – а что будет дальше...

– Дальше предлагаю подняться к Даниле и, по-семейному, за знакомство, во славу Божию, почитать журналчик – «по пять капель».

– Я не пью, – даже отшатнулась она. – Это плохо, это...

– Понятно, что безнравственно. Но что поделатъ, мир катится в пропасть и увлекает за собой всех нас... И, кстати, а с чего это я должен, вместо того, что бы, вместе со всем миром, друженько попивая водочку, катиться в пропасть, идти на какую-то меганравственную, даже не проповедь, а всего лишь лекцию, ее, кстати, сам мессия читать будет?

– Ну что вы, преподобный Мун живет в Америке.

– Тем более. Так с чего я должен слушать вас, может вы какие-нибудь сектанты-педофилы, завлекаете к себе в секту маленьких детишек и всяких там Сингапурчиков – и в Америку на органы, по телевизору такого насмотришься, что и... Вы надеюсь не такие? – строго конфиденциально спросил он.

– Вы говорите такие вещи, что...

– Да вы не бойтесь меня, я никому об этом не скажу, можете мне доверять, я умею хранить такие тайны. Наверняка ваша секта гонима со стороны ортодоксальной церкви...

– Сингапур, – не выдержал Данил, – хорош ее парить, смотри, она аж позеленела (девушка и правда изменилась в лице). Пошли, мне всё это уже осточертло. – Он взял Син-

гапура под локоть.

– Погоди, – убрал его руку Сингапур. – Последний вопрос. Так, девушка, как вас там, Лиза? Так, Лиза, вопрос архимегасерьезный, и прошу отвечать на него четко, грамотно и без всяких этих ваших нравственных штук. Готовы? – Лиза ошалело смотрела на него, – Чем ваша религия лучше остальных? Вопрос понятен? Называем основные отличия: от православия, от католицизма и... пусть будет протестантство – все равно я в нем ни черта не смыслю. Слушаю вас. – Неумолимо смотрел он ей в глаза. – Все, Данил, она отвечает, и мы идем, – сказал он, не отводя взгляда от ее нервно перекошенного лица. – Я жду, – на полтона ниже, во внимании склонив голову, заключил он.

– Наша вера, – запинаясь, чуть слышно бормотала Лиза, – наша вера истинная, она... радеет за нравственность... за... целостность семьи.

– Ну я же вас просил, – сморщился Сингапур.

– Если вы так... настаиваете... Вы очень тяжелый человек, с вами очень трудно говорить, вы пугаете меня. Мне... если вы очень этого хотите, я приглашаю вас на лекцию.

– Далеко это?

– Они подо мной живут, – смирившись, сказал Данил.

– Вы можете пройти к нам... в офис, – совсем подавленно сказала она. – Вы можете послушать лекцию и получить ответы на все интересующие вас вопросы. Вам всё объяснят.

– Черт с вами, пошли, – бесцеремонно подхватив Лизу за

локоть, Сингапур ввел ее в подъезд. Данил, плюнув, решил больше не противиться, Сингапуру требовался гештальт... в конце концов, не бросать же его одного, Данил направился следом, готовясь к самому худшему. Какой-то меломан, резко, на всю громкость, на полпесни, врубил «Уматурман».

– Понял Антоха, что поступил плохо и то, что развела его колдунья как лоха, – на весь двор реперским речитативом читал «Уматурман». – Но сила иного в антоновском взоре и значит он будет работать в дозоре... И треснул мир напополам... – Данил захлопнул дверь подъезда; музыка оборвалась.

– По темным улицам идет ночной дозор, – уже сам, тихо напевал Данил, поднимаясь вслед за Лизой и Сингапуром по лестнице на второй этаж, где находилась квартира, названная Лизой офисом.

Дверь открыл молодой человек, довольно крепкого сложения, одетый не по-домашнему – в костюме и при галстукке; так же стараясь быть улыбочивым, он поздоровался с Данилой, как со знакомым, протянул руку Сингапуру, представился Валерой.

– Сингапур, – отвечал Сингапур, собираясь уже проследовать в офис.

– Пожалуйста, разуйтесь, – попросил его Валера. Лиза, скинув туфельки, уже зашла в большую комнату. Данил и Сингапур, разувшись, следом.

– Здесь живут люди? – осматривая большую комнату, про-

изнес Сингапур, всё таки (тем более его попросили разуться) он ожидал увидеть обычную квартиру, а здесь... Стены были оклеены какими-то невыносимо-веселенькими голубенькими обоями, по цвету годящиеся, если только для ванной. Возле стен, напротив друг друга два офисных стола, на одном компьютер, на другом стопка брошюр и постеров. За компьютерным столом сидел паренек в очках; увидев гостей, он заулыбался, поднялся, представился Ильей. Квартира была трехкомнатная, из двух других комнат, с любопытством, выглянули еще какие-то молодые юноши и девушки, все, как заученно, улыбались, и каждый подошел поздороваться. Гости предложили сесть за стол, где лежали стопки брошюр. Сев, Сингапур с любопытством осматривал стены комнаты, где, буквально, везде был портрет какого-то добродушного старика корейца. Он был на больших круглых настенных часах, он был выткан на декоративном коврике, висевшем над дверью, он был написан маслом на холсте, обрамленном в дорогой золотистый багет. Не было свободного места, с которого не наблюдал бы за тобой этот милый улыбчивый старичок в строгом синем костюме и при галстукe. На некоторых фотографиях он был под ручку с не менее милой старушкой-корейкой. Были плакаты, где старичка окружали счастливые дети; были – где счастливые зверушки: оленята, кролики, котята, были, где и счастливые детишки, и счастливые оленята с кроликами.

– Предвыборный штаб какой-то, – чуть слышно, невольно



произнес Сингапур.

– Что? – переспросил улыбчивый Валера.

– Да так... не создай себе кумира. Впрочем, – Сингапур возвысил голос, – это не существенно. Давайте сразу к делу.

– А что вас интересует, что привело вас к нам? – спросил Валера, поправляя, и так хорошо сидевший на нем, костюм.

– Желание знать истину, – ответил ему Сингапур, невольно глянув на старичка. – Впрочем, Лиза сказала, что здесь мне расскажут, что ваша вера истинная и объяснят, чем она истиннее остальных вероисповеданий.

– Ну да, – оживилась Лиза, – вы хотели послушать лекцию, – она уселась напротив Сингапура, положила возле него огромный цветной альбом, оглянулась.

– Ну давайте вашу лекцию, – смиренно вздохнул Сингапур.

– Ну вот, – с облегчением человека, оказавшегося, наконец, под защитой родных стен, заметно осмелев, произнесла Лиза и величественно открыла перед ним первую страницу, с которой улыбался все тот же благоденствующий старичок в синем костюме и под ручку всё с той же благообразной старушкой. – Это преподобный Мун и его супруга, – представила Лиза старичков.

– У него четырнадцать детей и шестьдесят два внука, – умиленно вставила какая-то девушка в сарафане, стоявшая в дверях одной из комнат.

– Вы наверняка знаете журнал «Нью-Йорк таймс», – про-

должала Лиза. – Так вот, этот журнал издается при содействии церкви «Объединения» и преподобного Муна, и...

– Так, стоп, – прервал ее Сингапур. Данил напрягся. – Мы, по-моему, не за этим сюда пришли. Вы мне собирались объяснить преимущества вашей религии перед остальными, а слушать житие преподобного... Давайте сразу к главному, – он загнул мизинец, – Во-первых: по вашему, ваша вера лучше – что вы отрицаете, как сказала Лиза, общепринятые символы – как крест, иконы, свечи и прочее, и радеете за нравственность и целостность семьи – это второе. Всё это замечательно – с нравственностью не поспоришь. Но, надеюсь, это не предел?

– Если вам действительно это интересно, – недоверчиво, но, всё еще улыбаясь, произнес Валера. – Если вы находитесь в поиске истины, то я могу вам помочь.

– Конечно, – серьезно кивнул Сингапур, добавив, – мне крайне интересно понять вашу веру.

Все еще настороженно, то и дело оправляя свой с иголки костюм, Валера спросил:

– Вы верующий человек?

– Вера слепа, – отвечал Сингапур сдержанно. – Как я могу довериться какому-то Богу, когда даже не уверен, есть ли он вообще, – нетрудно было заметить по тону, что Сингапур провокатор: уж очень хорошо Данил знал его манеру вести дискуссию; и теперь, незаметно трогая, примеряя в ладони, горлышки бутылок, стоявших на полу в пакете (готовый ис-

пользовать их как оружие), он был готов ко всему.

– Наша вера не слепа, – значительно улыбнувшись, произнес Валера.

– О как. И? – Сингапур скрестил на груди руки и со вниманием откинулся на спинку стула.

– Православие и прочие религии, – всё свободнее продолжал Валера, – призывают слепо верить в Бога, делая из человека покорного безответного недочеловека.

– Так, так, – нетерпеливо закивал Сингапур.

– Мы же учим человека быть свободным, и в первую очередь – от предрассудков. Православие пугает всех, изображая Христа мучеником – оно пугает человека крестом, крест есть символ страдания. Но человек рожден для радости. Рожден быть свободным. Он вправе выбирать свой путь. Православие же призывает человека поститься – морить себя голодом; во всем оно подчиняет человека себе. Но человек вправе выбирать свой путь и свою веру. Православие лишает его этой свободы – еще в младенчестве, совершив над ним обряд крещения, уже в детстве надевая на него крест, что бы он знал, что рожден для страдания – нести свой крест. Оно лишает человека радости и свободы. Мы освобождаем человека от этой кабалы – от чувства вины. Мы объясняем ему, что он рожден для счастья. Мы рассказываем ему о нашей вере, и он понимает, не слепо верит на слово, а понимает разумом, что наша вера – истинная.

– Вы что, можете мне разумно (может – даже логически?)

доказать вашу веру? – Валера кивнул. – Вы можете логически объяснить мне, почему я должен верить? – Валера кивнул. Странно посмотрев на него, Сингапур еще раз оглядел стены с портретами, обернулся к Лизе, уверенно смотревшей на него, даже на Данилу глянул, так, точно у всех хотел убедиться, не послышалось ли ему. – Вера может быть логической? Наличие Бога можно доказать как теорему? – спросил он так тихо, точно боясь, что не дай Бог кто услышит и праведным громом, по башке ему. Он, даже весь как-то сжался, задавая этот вопрос.

– Совершенно верно, – не моргнув ответил Валера, – я могу логически доказать вам наличие Бога.

– Вы и истину знаете?

– Знаем.

– И любовь можете объяснить – логически?

– Можем.

– Вот это полный... перфект, – еле сдержавшись, что б не выругаться, восхищенно прошептал Сингапур Данилу, напряженно наблюдавшего за всем этим диалогом. – Даня, расслабься, сейчас истину узнаем! – хлопнул он его по колену.

– Я согласен, – заявил Сингапур Валере. – Только с одним условием: раз логически, то исключительно факты. А факты, как говорил старина Воланд, самая упрямая в мире вещь. Приступим?

– Да, – кивнул Валера. – Предлагаю пройти в нашу комнату для лекций, там есть доска и там мне удобнее будет вам

приводить доказательства.

– Ты сам прочитаешь им лекцию? – уже даже ревниво напомнила о себе Лиза.

– Можешь и сама...

– Нет, у тебя это лучше получится, а я просто присутствую и сама послушаю, – довольная, с видимым уважением, как к старшему, позволила ему Лиза, невольно бросив победоносный взгляд на Сингапура.

– А так, как говорить, по-домашнему, тем более мы и обувь сняли... А то, знаете, от одного слова «лекция» меня, как-то воротит. Сразу на ум приходит сессия, экзамены, зачеты. Нельзя ли попроще?

– Проще нельзя. Вы же сами сказали – «как теорема». На доске мне доступнее будет приводить вам доказательства.

– Ну ладно, – пожал плечами Сингапур.

И они прошли в комнату, оклеенную такими же приторно-голубенькими обоями. Кроме четырех стульев, телевизора и доски на стене, больше в комнате не было ничего, даже портретов благонаправного старичка-корейца. Валера остановился у доски, все сели на стулья, всё, как и должно быть на лекции.

Держа в руках три фломастера красного, синего и черного цвета, Валера уже открыл рот, как Сингапур со знанием подсказал:

– Сначала было слово.

Валера терпеливо пропустил это.

– Бог создал человека по образу и подобию своему, – как на экзамене, с расстановкой и, даже с выражением, начал он, записывая красным фломастером на доске слово «Бог» и обводя его в овал; далее он написал «М» и «Ж». Сингапур хихикнул. Валера торопливо подписал «ужчина» и «енщина» и тоже обвел их в овал. Ниже он записал «душа» и «тело», и их в овал заключил. – У человека есть душа и тело, – комментировал он.

– А разум? – влез Сингапур.

– И разум тоже.

– А его, почему тогда в кружок не записали? – поинтересовался Сингапур. Валера растерялся, слово «разум», вероятно, не вписывалось в схему его доказательства.

– Разум... он вообще, – быстро соображал он, – разум, он... неотъемлемая часть, он подразумевает собой... Вы дальше всё поймете, – наконец, нашелся он, быстро записывая на доске слова «красота», «совершенство», «доброта», и проводя от них черточки к слову «душа»; к «телу» же он подсоединил «секс», «сон» и «еда», комментируя уже ни так вкрадчиво и размеренно: – Душа человека постоянно стремиться к красоте, доброте и совершенству, – фломастером он указывал на записанные слова, – а тело – к сексу, сну и пище. Мы не можем хотеть есть и спать постоянно. Насытившись и отдохнув, наше тело уже не требует пищи. Душа же постоянно стремится к совершенству: мы всегда хотим быть чище, добрее, наша душа стремиться к красоте, так как кра-

сота спасет мир. И преподобный Мун создал учение «Объединения», в этом учении он рассказывает людям, что нужно быть добрее и стремиться к красоте и совершенству, ибо такие люди – стремящиеся к совершенству угодны Богу и найдут спасение. Мужчины, стремящиеся к совершенству, встречают женщин, стремящихся к совершенству, и создают совершенные семьи, где рождаются дети, которые, по примеру своих родителей, также стремятся к совершенству, становясь, таким образом, угодными Богу. Когда дети, выросшие в любви и стремлении к совершенству, доходят до возраста мужчин и женщин, они так же вступают в брак с такими же, выросшими в любви и стремлении к совершенству, мужчинами и женщинами и, в свою очередь, создают совершенные угодные Богу семьи и...

– И так далее, – прервал его Сингапур. – Здесь всё понятно: в своем роде мичуринцы, этакие селекционеры. Голубая кровь, – Сингапур, и все, невольно следуя его взгляду, глянули на обои. – Истинные арийцы. Что ж, здесь все логично. Согласен. Ну что ж, давайте дальше, – подбодрил он, уже с трудом заставлявшего себя улыбаться Валеру. И Лиза, до этого с благоговением слушавшая лекцию, теперь настороженно заглядывала на Сингапура, вальяжно рассевшегося на стуле.

– Мне трудно будет вам объяснить, если вы и дальше будете себя так вести – так... – он не договорил, вздохнул, сосредоточенно посмотрел на Сингапура и, видно, крепко взяв

себя в руки, произнес: – Если вы хотите узнать истину, – он сделал значительную паузу, – то должны дослушать меня до конца и не прерывать подобными возмутительными, (наконец нашел он слово), репликами.

– А вы знаете истину? – в который раз, и уже совсем придурковато посмотрел на «лектора» Сингапур, даже прищурился и подался вперед, что бы поближе рассмотреть такого человека.

– Да, знаю, – последовал ответ.

– Это, замечу вам, любопытно, даже я бы сказал архилюбопытно. И в чем же она? Даня, глянь, если я не ошибаюсь, она в нашем пакете.

Данил демонстративно заглянул в пакет, где наготове стояли две бутылки красного крепленого вина, и утвердительно кивнул.

– По-моему вам все это не интересно, – опустил руку Валера. Он устал и видимо хотел уже распрощаться.

– Отнюдь, – возвысил голос Сингапур, – только вы забываете, что перед вами не обиженные жизнью, уволенные с работы работяги, перед которыми вполне достаточно вырядиться в костюм, улыбаться, и, с умным видом, нести им ересь о душе и теле напрочь лишенных разума, думающих, где бы чего пожрать, а удовлетворившись, стремящихся к красоте и совершенству под бубны и песнопения типа: Хари рама, Харя в раме. А потом, как псы, рыскать по городу в поискать совершенной суки, оттрахать ее в угоду Господу и наплодить



таких же угодоподобных. И всё в шоколаде. Главное, что он свободен, и вправе выбирать – креститься ему до или кастрироваться после. Главное он сам, свободный, всё понявший и осознавший, что во всем виноваты попы – к смирению его призывающие. А нате вам, выкусите, а не смирение! Теперь у него новая вера, понятая и принятая, теперь он бетмен, даже круче – альтист Данилов. Нет – дантист Корнилов. Нет – еще круче – бабтист Вавилов. Потому что в себя главное поверить, и первое – костюм! и галстук! и улыбаться! – главное улыбаться. И прямиком в бизнес-класс, где научат, как правильно гербалайф всяким, таким же, впаривать. И вот он уже с новой верой, в новом синем костюме, белой рубахе и при зеленом галстуке в горошек, ходит по городу, лыбиться, как гуимплен, и втюхивает всем и каждому коробки с утюгами и фенами или открытки с мессией с кроликами и оленятами, или фломастера в помощь детям Германии. Я к чему всё это. Вы хоть когда с людьми общаетесь, различайте – ху из ху. Перед вами сидят два раздолбая студента, во все не обиженные жизнью и знающие, что голубую рубашку, желтый галстук и костюм жуткого мышинового цвета, с белыми носками к черным мокасинам с Черкизовского рынка, может напялить или колхозник на свадьбу племянника, или менеджер низшего звена, который уверен, что в таком клоунском наряде, он будет выглядеть если не солиднее, то умнее. Вы обмолвились, что логически можете мне объяснить веру и даже любовь, что само по себе полная бредятина. Но

раз так, то валяйте. Но знайте главное, – Сингапур сбавил обороты. Валера, ошалевший, остолбенело замер, не известно к чему готовый. – Я ни сколько не желаю оскорбить вас в вашей, уверен искренней, вере, но и вы постарайтесь понять меня. Я искренне хочу разобраться, чем ваша вера истиннее, и главное, меня сразило слово логика. Так давайте ее и придерживайтесь, а не окучивать нас тут общими словами, как нравственность и совершенство. Вы не депутат, а мы не электорат. Согласны? – он с неподдельным вниманием и, даже какой-то внезапной, покорностью устоялся на лектора. Неизвестно каких сил потребовалось Валере, что бы он сдержался. Бледный стоял он у доски во все время этого... монолога, до красноты сжимая в кистях фломастеры. Данил, крепко расставив ноги, запустив обе руки в пакет, железно обхватил горлышки обеих бутылок, готовый вскочить и выхватить их. Лиза, та просто обмякла на стуле, лишь нервно сглатывала и мертво уставилась взглядом в доску, где были аккуратно записаны и обведены в овал, слова «Бог», «душа», «совершенство»...

Валера улыбнулся... вернее, заставил себя улыбнуться, оправил серого цвета костюм, из-под которого предательски выглядывала ярко-голубая рубашка, и зеленый галстук в белый горошек, поправил галстук. Вздохнув, он осторожно смерил взглядом Сингапура, покорно сидевшего на стуле, и сказал:

– Вы очень сложный человек. Бог вам судья. Я продолжу

свою лекцию, с одним условием – вы будете слушать, и, пожалуйста, держите свои эмоции в руках.

Сингапур покорно кивнул.

Сняв крышку с красного фломастера, Валера закрыл его, снял крышку с синего фломастера, поднес фломастер к доске, опустил руку.

– Что вы хотите услышать? – наконец спросил он.

– Ваш преподобный Мун – мессия, так?

– Да.

– Вот и объясните мне логически, почему именно он мессия.

Лицо Валеры преобразилось. Уверенно поднес он красный фломастер к доске и написал слово «Бог», заключив его в овал, заговорил всё увлеченнее и увереннее, и тем увлеченнее и увереннее, что теперь Сингапур сидел смирно и смиренно слушал, лишь изредка воротя скучающее лицо к окну, за которым тихо, в тревожном вечернем свете затаились березы.

– После того, как Бог создал землю и эдемский сад, он создал человека – Адама и Еву, – рассказывая, Валера аккуратно рисовал человечков символизирующих Адама и Еву, деревья, символизирующие райские кущи, на одном дереве нарисовал кружочек, символизирующий яблоко, нарисовал змея. Подробно рассказывая историю грехопадения, он проводил стрелки от змея к Еве, от Евы к Адаму. – ... Ведь съев это яблоко, они прикрыли свои срамные места, как ребенок,

без спросу съев варенье, прикрывает то место, которым он согрешил, а именно свой рот. И Бог изгнал их из рая, изгнал потому что любил их, – как мать наказывает своего ребенка – наказывает любя...

Сингапур все чаще заглядывал за окно, уже ерзя на стуле, все еще, терпеливо слушал. Рассказывая, Валера изображал зло черным фломастером, добро – красным, все остальное, вроде Адама, Евы и прочих их отпрысков – синим. Валера рассказывал об убийстве Каином Авеля, объясняя, что все зло сконцентрировалось в Каине и в его потомках. Сингапур слушал. Слушал он и как Исаак родил Иакова, как Иаков родил Исаака. Валера аккуратно записывал имена всех потомков Адама и Евы, деля их на добрых и злых, записывая первых красным, вторых – черным. Наконец он дошел до пришествия Христа... Вот уже подобрался к нашему времени, как красный фломастер вдруг кончился. Невозмутимо, Валера стал изображать добро синим; рассказывая, как много зла скопилось за это время и как все стали ждать второго пришествия мессии, которое, по всем признакам, уже состоялось, просто люди, по своей привычке, не признают пророка в своем отечестве и...

– И главное! – не выдержал Сингапур. – Главное – причем здесь ваш Мун? Он что и есть этот самый мессия?

– Да.

– Да с чего вы это взяли?! Вы грозились логически это доказать. Факты. Пошли по пунктам, а то мне все это, кто

там кого родил, осточертело. Во-первых, – Сингапур поднял руку и загнул мизинец.

– Первое доказательство, – внушительно произнес Валера. Выдержал паузу. – Преподобный Мун непорочен.

– В смысле? А как же... – Сингапур сделал движение рукой в ту, большую комнату, где висели портреты старичка.

– Нет, вы не правильно поняли, – снисходительно заулыбался Валера, Лиза, к слову, тоже. – Непорочен – значит, у него до брака не было женщин, а в браке есть лишь одна – его супруга.

– Что, и всё??

– Нет, он создал свое учение «Объединения».

– Это про мичуринцев? – ляпнул Сингапур.

Валера побагровел.

– Ладно, оставим ученье в покое, вернемся к первому, – успокаивающе Сингапур выставил ладони, – С чего вы взяли, что он непорочен?

– Я знаю это, – твердо произнес Валера.

– Да с чего вы это знаете, вы, что со свечкой у его кровати стояли, тенью за ним ходили, с чего вы это взяли??!!

Валера сосредоточился, и привел просто убийственный аргумент:

– Если за стенкой, в той комнате, стоит стул, а вы его не видите, то это же не значит, что его нет?

– Вот и приехали, – усмехнулся Сингапур. – Вы мне что, предлагаете слепо поверить в непорочность вашего много-

детного старичка?

– Никакой слепой веры, – нервически воскликнул Валера, – это истина, преподобный непорочен.

– Да с чего?

– Я знаю!

– А я знаю, – яростно парировал Сингапур, – что этот ваш Мун – гомосексуалист со стажем педофила – я это знаю, как и то, что за стенкой не стул, а тумбочка, и что вы здесь все кретины в голубых рубашках!

И вновь какой-то меломан, живущий как раз, за этой самой стенкой, за которой должен быть или стул или тумбочка, на всю, на весь двор врубил «Уматурман».

– Девушка Прасковья из Подмосковья за-за-занавескою плачет у окна. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на...

– Убью! – прорвалось сквозь это нескончаемое «на-на-на». Схватив стул, Валера занес его над Сингапуром, как Лиза, заглушая «Прасковью», дико завизжала. Валера замер. Сингапур нырнул в сторону. Стул рухнул где, только что был Сингапур, и Сингапур слева, с разворота всадил Валере в печень.

– Стоять на месте, на месте стоять, иначе рискуешь ничё не понять, – по-реперски сурово доносилось из-за стены – «Уматурман» читал о «Ночном дозоре». Лиза визжала, вцепившись руками в свои волосы. Сингапур молотил кулаками Валеру куда попало. Данил оттаскивал его. – Но тут налетели на ведьму тени и говорят: не бывать преступленью, – с под-

лецей читал «Уматурман». – Ну что же ты, что же потупила взор? Сдавайся ведьма – Ночной дозор...

В комнату ввалились муновцы.

– И треснул мир напополам, – уже запел «Уматурман».

– Парни, всё нормально! – выставив руки с бутылками вина, кричал Данил. – Всё нормально! Мы уходим!!

– И льется кровь, идет война добра со злом, – на распев комментировал «Уматурман».

– Пацаны, всё отлично, Муну привет! – сквозь музыку кричал Сингапур, бочком, вслед за Данилой, быстро проскочив мимо ошалевших муновцев. И в носках, туфли в руках, они выскочили из квартиры, уже на площадке наскоро обувавшись и не медля, к квартире Данила.

– Их там человек десять – ты видел?! – открывая дверь, говорил Данил.

– Откуда они? – уже в квартире спрашивал Сингапур.

– Затоптали бы! – отдышливо продолжал Данил, – Там у них же проходной двор. Там народу бывает разного, и все такие, – он крутнул пальцем у виска. На кухне он нервно вскрыл бутылку вина, и из горла выглотал больше половины; отдал бутылку Сингапуру. Сингапур так же, не отрываясь, допил, что осталось. Немедленно вскрыли вторую бутылку. Сингапур наполнил стаканы вином.

– Предлагаю тост – за чудо, сказал он торжественно.

– Поддерживаю, – поднялся со своим стаканом Данил. От вина мгновенно полегчало.

– Я сразу не хотел туда идти, – успокоившись, закурив, говорил Данил. – Они же там все повернутые. Так вроде тихие-тихие, а весь двор задолбали своим Муном. Так ненавязчиво, незатейливо, подходят, разговаривают... короче разводят, как те цыгане. В принципе, то, что они не в себе, это не вопрос. Но меня удивило их терпение. Скажу тебе – твоё хамство, конечно... я ждал развязки гораздо раньше; терпение у них, конечно...

В дверь позвонили.

– Ну вот, – поднявшись, Данил подошел к двери, открыл дверь. На пороге стояло человек пять парней-муновцев.

– Данила, разговор есть, – сказал один из них, высокого роста, толстый, широкоплечий, резко отличающийся от остальных своим совсем не смиренным видом, одет был в джинсы и футболку с надписью во всю грудь «ЛДПР». – К тебе, Данила, мы претензий не имеем, пусть твой гость к нам выйдет, у нас к нему несколько вопросов.

– Парни, случилось и случилось, – как можно дружелюбнее начал Данил, – я думаю, тему эту стоит закрыть, тем более Валера первый кинулся.

– Он Муна пидором назвал! – выкрикнул стоявший здесь же Валера.

– Я у вас прошу прощения, – оглядывая суровые в сумеречном свете подъезда лица муновцев, произнес Данил. – Мы разошлись миром... Простите нас и... всё парни, счастливо.



– Данил, ты не понял, – угрожающе продолжал широкоплечий муновец в футболке «ЛДПР».

– Это ты не понял! – неожиданно зло рывкнул Данил. – Живете здесь и живите. Ваша Лиза сама к нам подошла. Что хотели, то и получили. Всё, – он захлопну дверь. Вернулся на кухню.

В дверь позвонили.

– Вот настырные, – процедил Данил, крепко сжимая кулаки. Все это время звонок не умолкал.

– Ну чего? – спросил Сингапур.

– Ничего, – сказав, Данил осмотрелся, взял со стола скалку, протянул Сингапуру, сам вышел в кладовку, затем в свою комнату, включил магнитофон, для куража поставив кассету группы «Ленинград», вернулся он, заправляя что-то за пояс джинсов. – Пошли, – кивнул Сингапуру.

– Мы рады представить вам наше шоу, – с благодушной хрипотцой под музыку самого классического джаза, запел Шнур. – Это наше шоу, – бодро раздавалось на всю квартиру. – Это наше шоу, всем сидеть. Это наше, наше, наше шоу-у.

Данил распахнул дверь.

– Всем, блядь, выйти из сумрака, – заявил вызывающе. – Чё, бляди, такие неугомонные? Кто здесь самый обиженный, пошли на улицу!

– И хуёво мы танцуем – не умеем танцевать, главное, когда танцуем, первый ряд не заблевать, – предупредительно-лас-

ково пел Шнур, ему согласно вторили труба и контрабас. Не оглядываясь на расступившихся муновцев, засунув руки в карманы джинс, под легкомысленную мелодию джаза и хриплоамстронговское «Это наше шоу». Данил вышел на улицу. За ним здоровяк элдепеэровец и Валера, остальные остались в подъезде. В дверях квартиры показался Сингапур. Поигрывая в джазовом такте скалкой и подпевая Шнур: Это наше шоу, – он неторопливо стал спускаться к стоявшим возле окна трем муновцам, совсем не боевого вида, в костюмах и при галстуках, один даже был в очочках. Муновцы отступили к своей квартире. Сингапур занял их место у окна, внимательно наблюдая за показавшимися из подъезда Данилом и двумя муновцами.

– Ну чё? – только выйдя во двор, резко обернувшись, шикнул Данил, парни даже отшагнули, уверенные, что будет атака, и встали в боевые стойки.

– Не понял? – заявил муновец-элдепеэровец.

– Чё ты не понял?!

– А вот чего! – здоровяк замахнулся внушительным кулачищем. Отпрыгнув, Данил выхватил из-за пояса молоток и – крюком – шибанул в толстое мягкое плечо...

– Бля сука-а... – заныл здоровяк, ладонью схватившись за ушибленное плечо. Второй удар врезался в лопатку, третий свистнул, не достав – муновец дал дёру.

– Мочи козлов!!! – из подъезда, со скалкой, выскочил Сингапур, вслед ему одобряюще, хором: «Мейджик пипл!

Вуду пипл!! – выкрикнула разом вся группа «Ленинград». И с кличем: «Мочи пиплов!» – Сингапур погнался за Валерой. Данил – за элдепеэровцем.

Валера оказался прытким. Уже за сто шагов, Сингапур потерял его. В горячке облазив весь двор, Сингапур вернулся к подъезду и сел на лавочку, скрытый во все сгущающемся вечернем сумраке и тени старого куста сирени росшего у самого подъезда. Через некоторое время, к подъезду, оглядываясь, сжимая в руках широкую не удобную доску от контейнера, осторожно крался Валера. Сингапур затаился. Ни кого не заметив, муновец быстро проскочил в подъезд. Немедля, следом, Сингапур.

– Ну что, мичуринец, – угрожающе поигрывая скалкой, в глухой тишине подъезда, произнес Сингапур. Музыка кончилась, и в этой тяжелой подъездной тишине, голос Сингапура зазвучал особенно сурово. – Теперь бежать некуда. Сейчас я тебе, блядь, устрою Варфоломеевскую ночь.

Доска была слишком длинной и неудобной, замахнуться не получилось, муновец лишь выставил ее вперед, как пику.

– Ты, придурок, – вкрадчиво стал объяснять Сингапур, – я сейчас стукну по этой доске и ты себе руки осушишь. Кто ж для драки такую широкую доску выбирает, а? – Он тут же, с размаху, скалкой, саданул, как и грозился, по доске.

– О-ой, – выронив доску, муновец отступил к своей двери.

– Ну что, мунен югент, окрестить тебя вот этим вот, а? – взяв скалку в обе руки, Сингапур вжал ее в шею муновца,

тот, схватившись за скалку, тихо захрипел:

– Помо... ги-ите.

Дверь резко распахнулась, Валера ввалился в коридор. Скалка вырвалась из рук Сингапура. Дверь захлопнулась.

– Скалку верните сволочи! Скалка не моя! – заторабанил в дверь Сингапур. – Вот сволочи, – сухо плюнув, он вышел на улицу и сел на лавочку. Скоро вернулся Данил.

– Нет больше твоей скалки, – сказал ему серьезно Сингапур. – Тот лектор, когда я его в подъезде прищучил, вцепился в нее, и, ты знаешь, прямо возле своей двери. Застонал, те ему дверь открыли, он вместе с твоей скалкой и того – в дверь ввалился... и захлопнулась за ним дверь. Так что скалка твоя, теперь у них, – заключил Сингапур.

– Вот уроды блаженные, это же любимая мамина скалка, она же мне все мозги проест, – Данил в досаде выругался. – И я своего не догнал. Удрал боров, – в еще большей досаде произнес он. – Ладно, скалку надо вернуть, – он вошел в подъезд. Постучав в дверь и услышав «кто?» сказал коротко: – Скалку верните.

– Вы за всё ответите! – взвизгнул девичий голосок, и мужской: – Мы вас сейчас всех завалим гады!! – но дверь не открыли.

– По ходу они там вооружаются, – предположил Сингапур. – К тому же их там целая банда. Ладно, – подумав, сказал он, – план такой... В любом случае, скалку надо вернуть. Я еще раз постучу, если мои предположения верны, они на

меня кинутся. Я, от них, на улицу. Ты, как раз, встанешь за дверь подъезда. Они – за мной; ты первого пропускаешь, и вали второго, а я, уже на улице, первого. Потом остальных. Как план?

– Нормально, – кивнул Данил. Обхватив молоток двумя руками, замахнувшись, он встал за дверь подъезда.

Поднявшись к квартире, Сингапур постучал.

– Всё, смерть вам! – прокричали из-за двери. Не медля, Сингапур отступил на пролет ниже. Дверь распахнулась, человек семь парней, кто с табуретом, кто со сковородкой, у одного был даже вантуз – бросились на Сингапура. Тот – резво на улицу. Он только выскочил из подъезда, как...

Данил не пропустил первого. С криком: «Это я!» – Сингапур выскочил и, следом, не целясь, Данил махнул на уровне чьей-то головы.

– Убил! Бля, убил!! – ухнуло разом. Первый рухнул на ступени, тут же, в горячке, Сингапур добавил ему кулаком в голову. Муновцы – как один, давя друг друга, ринулись назад, в квартиру.

– Суки! – прокричал им вслед Сингапур и резко обернулся к обмякшему на ступенях парню. Им, как специально, оказался, щупленький Илья, тот самый паренек, который сидел за компьютерным столом. Ступени быстро окрашивались кровью выходившей из разбитой головы.

– Слушай... по ходу... замочили, – дрогнув, чуть слышно выговорил Сингапур. Данил, склонившись, приложил два

пальца к шее паренька.

– Пульс прощупывается, – заключил он.

Сингапур взял парня за голову, в глаза его одуревшие заглянул, череп осмотрел.

– Фу-у, – выдохнул он. – Череп цел. Везде, – прибавил он утвердительно. – Ты ему лишь кожу стесал – вот здесь, – он тронул волосы выше лба. – Промахнулся, – наконец улыбнулся он.

– Промахнулся? – не веря в свое счастье, переспросил Данил.

– Промахнулся, – кивнул Сингапур.

– Блядь, твою мать! Промахнулся!! – задыхаясь от нахлынувшей радости, вскричал Данил. Вздрагивая от смеха, он рухнул рядом с Ильей на ступени. – Промахнулся, прикинь, – крепко обнял он Илью, даже в щеку поцеловал.

– Тише, тише, – остановил его Сингапур, – ему теперь помощь нужна, а то черт его знает, вон сколько крови. Давай поднимайся, – осторожно подхватив Илью под мышку, ласково говорил Сингапур. – Щорс ты наш.

Илья, беспомощно шаря руками по воздуху, поднялся, подхваченный с другой стороны Данилом.

– Кровищи-то сколько, – даже восхищенно говорил Сингапур, его рубашка и джинсы были щедро выпачканы кровью. – Ну и кровищи, ну и натекло! – все повторял он, пока они вели ошалевшего Илью к дверям его квартиры.

– Открывайте, – сказал Сингапур, беспрекословно посту-

чав в дверь.

– Не откроем, – отвечали за дверью. И следом девичий плач:

– Убийцы! Вы за все ответите!

– Вы чего, придурки. Живой он. Раненый только. Откройте.

– Не откроем, – все то же испуганный голос.

– Раненого заберите, – зло ответил Данил.

– Убийцы! – визжали за дверью.

– Вы уроды! – кричал в ответ Данил.

– А вы убийцы! – немедленно отвечали.

– Да заберите вы его, в конце-то концов, ваш раненый! – раздраженно и даже с обидой, крикнул Сингапур.

Дверь осторожно приоткрыли. Увидев своего, распахнули. Раненый ввалился; дверь захлопнулась.

– Ну чего, пошли домой? – кивнул Сингапуру Данил.

– Пошли.

– Ты глянь, это что, моя дверь так и была открыта? – удивился Данил.

Умывшись, они сидели на кухне, допивали вино.

– Хочешь прикол? – спросил Сингапур.

– Ну.

– Знаешь, что имя твое значит?

– Нет.

– Суд Божий.

– Серьезно? – удивился Данил. – Ну что ж, – усмехнулся он, – вот и... – он не нашелся, что сказать, лишь произнес. – прикольно... А твое? – с интересом спросил он.

– Федор – значит Дар Божий, – не без гордости ответил Сингапур.

– Тоже – супер! – кивнул Данил даже одухотворенно и тоже с гордостью.

Прошло с четверть часа, как в дверь вновь позвонили.

– Слушай, может менты? – осторожно предположил Сингапур.

– Сейчас посмотрим, – подойдя к двери, Данил посмотрел в глазок, открыл дверь. – Ну? – спросил он строго. На пороге стоял тот самый здоровяк в майке «ЛДПР».

– Данил, – отступив, выставив ладони, произнес он, – Данил, там это... мы короче... там... помощь нужна.

– Ну пошли, – дрогнувшим голосом ответил Данил. С нехорошим предчувствием, Сингапур вышел следом.

– Вот, чего делать-то? – прошептал здоровяк, когда они, все втроем, вошли в ванную.

– Да вы опизденели что ли?! – вскричал Данил. В ванной, двое муновцев, опустив голову раненого в ванну, обильно поливали его из душа. – Идиоты, – бормотал Данил, перекрыв воду и вытаскивая раненого из ванны.

– Кровь не останавливается, – объяснял здоровяк, – мы – рану промыть, а кровь не останавливается. И мы, короче, к тебе... мы же тут только тебя нормально знаем.



– Вода же теплая, – бормотал Данил, усаживая раненого на стул. – Идиоты, – повторял он. – Где... что-нибудь... Бинты там... Сингапур, дуй ко мне, там в зале, в серванте, аптечка, зеленка. Дай полотенце, – приказал он здоровяку.

Вернулся Сингапур.

– Вот, – протянул он аптечку.

Залив рану зеленкой, забинтовав голову, Данил уложил Илью на диван; муновцы, всей толпой, молча наблюдали.

– Придурки малохольные, – в сердцах сказал им Данил, – вы же чуть его не убили. Кретины. И вообще вызывайте «скорую».

– Правда... ведь «скорую» надо было. А мы чего-то не подумали, – растерянно огляделся здоровяк. И сразу, человек пять, кинулись к телефону, мешая друг другу, уронили телефон.

– Я сам! – крикнул здоровяк, бросившись к лежащему на полу телефону.

– Пошли быстрее, – подтолкнул Данила Сингапур. – Сейчас вместе со «скорой» менты приедут.

– Точно, – нервно согласился Данил, и парни быстро покинули квартиру.

– Слушай, а скалка? – вспомнил Сингапур.

– Да черт с ней, – ответил раздраженно Данил. – Пошли скорее. – На улице он попросил: – Я поживу у тебя пару дней?

– Без проблем, – кивнул Сингапур.

Все обошлось. Илья две недели пролежал в больнице с гематомой и легким сотрясением. Отец Данила подсуетился, так что и проблем с милицией не возникло. Тем более что и самим сторонникам «Объединения», такая реклама была не к лицу. Вскоре они и вовсе съехали с этой квартиры.

#### 4

– Слушай, все давно хотел спросить, – Сингапур вылил последнюю водку в пластиковый стакан, протянул Данилу. – Помнишь, когда с этим муновцем – тогда... Ну когда все только начиналось, мне этот лектор на стену указал и заявил тогда, что за стеной стул – когда он аллегория свою развел эту божественную. Я ему еще возразил, что там не стул, а тумбочка.

– Помню, как ты возразил! – передразнил его Данил, – Возразил – так возразил.

– Да Бог с ним, я не об этом. Там, на самом деле, что было?

– А я почему знаю.

– Ну, кто там живет-то, ты знаешь?

– Кто живет, знаю, – ответил Данил. – Витёк там живет. Алкаш конченный, хотя ему и тридцати нет. Он – год назад это было – свой долбаный центр врубил с утра пораньше, как обычно по пьяни – на всю – весь стояк пробил, даже у нас пол заходил. Мы тогда с отцом к нему спустились. Он в расшибец. Дверь пришлось выбить. Лежал в хлам на матрасе.

– Стул был?

– Ты чего больной? – посмотрел на него Данил. – Я тебе

говорю – алкаш. У него из мебели один этот долбаный центр музыкальный – еще совдеповский с такими метровыми колонками. В зале матрас на полу, и табурет на кухне – вот и вся мебель. Еще стол кухонный. Всё.

– И тумбочки не было? – пристально посмотрел на него Сингапур.

– И тумбочки не было, – вкрадчиво, как идиоту, повторил ему Данил.

– Вот и славно, – почему-то облегченно, произнес Сингапур.

– И чего? – выпив, не понял Данил.

– А того. Бога нет, – как глухонемому, на ухо, громко, сказал ему Сингапур. – Бога Нет, – повторил он, сделав ударение на оба слова. – Да, Сма? – хлопнул он по плечу Паневина.

– Наверна, сма, есть, – ответил тот невразумительно.

– Как это, наверна, – передразнил его Сингапур. – Он или есть или не есть.

– Не знаю, – пожал плечами Паневин.

– Знаешь, как переводится с английского, ай донт ноу? – весело подмигнул Данилу Сингапур.

– «Я не знаю», – ответил наивный Данил.

– Вот и никто не знает, – совсем весело подмигнул ему Сингапур.

– Придурок ты! – поняв, что попался, усмехнулся Данил.

– Ладно, – пошли отсюда, а то чёй-то малофато, – легонько постучал себе кулаком в грудь Сингапур. – Пора поиграть

в догонялки. Ты как?

– Я пас, – отказался Данил, – домой пойду, надо курсовую по педагогике написать, в понедельник уже сдавать, так что...

– А я вот курсовую не буду сдавать! – даже пропел Сингапур. – Я вот, вместе со Сма, к Гале в гости пойду.

– Ну... это...

– Никаких «Ну это». Пошли, – обняв Паневина, Сингапур повел его из подъезда. Данил, усмехнувшись, зашагал следом.

Странно, что такой человек, как Андрей Паневин учился в институте, да еще и в педагогическом. Но если разобраться, ничего удивительного не было, тем более что учился он на художественно-графическом факультете. А, наверное, более бестолкового факультета и придумать нельзя. Чему там обучали, понять сложно. То ли живописи, то ли черчению, то ли педагогике, то ли прикладному искусству... Но участь на этом факультете, студент хоть в чем-то, но соображал. Если он не умел рисовать, он неплохо чертил, если не умел ни рисовать, ни чертить, учил начертательную геометрию или зубрил Сухомлинского, в конце концов, лобзиком по фанере выпиливал, или мог быть просто компанейским человеком. Сма не был компанейским человеком и не умел делать, буквально, ничего. За него хлопотала его мама, преподаватель педагогики. Женщина приезжая, и на редкость своенравная.

Хотя и жила в Липецке уже лет десять, она никак не смогла не то, что полюбить его, она привыкнуть к нему не могла, и от того ненавидела лютой ненавистью. Впрочем, за последние десять-пятнадцать лет, в здешних краях поселилось немало приезжих. Приезжали с Сахалина, Воркуты, Норильска, Магадана... И что удивительно, не было еще ни одного, кто бы сказал о городе хоть что-нибудь положительное. Ругали на чем свет стоит. Но, все равно, приезжали и привозили родственников. Ругали, но жили, и обратно уезжать, видимо, не собирались. Главное недовольство всех приехавших сводилось к одному – к аборигенам. Люди здесь и хитрые, и корыстолюбивые, и бездушные, и хамы несусветные. Не было занятия, что бы Алла Константиновна Паневина не ввернула своего ядовитого слова об этом городе. Высокая, статная, в меру молодившаяся дама, она вела свой предмет, всегда стоя у доски, и, только был случай, вспоминала о Магадане, начиная всегда: «А вот у нас на Магадане...» – и дальше, во всех красках, доказывала, что там – на Магадане, люди и лучше, и честнее, и порядочнее, и прочее и прочее. Она даже пыталась исторически доказывать, что люди здесь такие исключительно по сложившемуся веками менталитету: жили в крепостном праве, и как раз крепостное право и превратило их в равнодушных ко всему обывателей, живущих с девизом «моя хата с краю». Вот у них на Магадане люди свободные, честные, порядочные, впрочем, и везде, где не было крепостного права, а жили люди независимые. – Всю

ночь, – рассказывала она, – в подъезде девушка о помощи кричала, никто даже милицию не потрудился вызвать. Даже когда я милицию вызвала, вы думаете, кто-нибудь приехал?! Нет! А вот у нас бы на Магадане...

– Да что у вас на Магадане, – к общему удовольствию, воскликнул Сингапур. – Я вам сейчас расскажу, что у вас на Магадане, – не дав ей опомниться, продолжал он все яростнее. – Сопки у вас на Магадане, снег, и на сто верст три дома. И идет у вас пьяный на Магадане, по этим живописнейшим сопкам, а на встречу трезвый, и пройди трезвый и не помоги пьяному, то пьяный замерзнет к такой-то вашей намагаданской матери; и потому только трезвый мимо не пройдет, что знает, что сам завтра пьяный попрется по этим вашим замечательным сопкам. Вот от этого у вас на Магадане люди и добрее, в кавычках, что не помоги ты, завтра тебе не помогут, и сдохнешь среди этих сопок. А так, люди везде одинаковые, и у вас на Магадане еще похлеще наших, потому что свободные и независимые – потому что ворье и каторжники беглые, и оттого – самое настоящее жлобье, которое помогает не от доброты душевной, а от примитивной корысти. И все эти сказки про суровых, но справедливых людей свободолюбивого севера оставьте для своего... сыночка, которого неизвестно какого лешего занесло в институт вместо ПТУ. И нечего наш город хаять. Иначе зачем, вообще, приехали в наш жуткий край, раз у вас на Магадане рай с цветами? А я вам отвечу, – совсем разошелся Сингапур. – В нашем жут-

ком крае даже виноград растет, не то, что яблоки, которые на Магадане, только на картинках и увидишь. Куда не обернешься – кто с Норильска, кто с Колымы, кто с Нарьян-Мара – и не выговоришь даже – едут целыми аулами, целыми стойбищами. Поносите нас, на чем свет стоит, а ведь всё равно прётесь! – уже в откровенной злобе заключил он, не мигая, уставившись в оцепеневшую Аллу Константиновну.

– У меня сын болен, у него легкие, ему климат нужен! – опомнившись, в слезах вскричала Паневина, – а вы... вы хам. Негодяй! – закрыв ладонями лицо, она выбежала из аудитории. И все, даже с наслаждением, наблюдавшие, как Сингапур рубил эту на Магадане... только Паневина выбежала вон, сразу сникли, жалко стало эту Паневину. Когда она доставала своим на Магадане очень хотелось, что бы вот так ее – с плеча! А... получается... Словом, Сингапура немедленно осудили, назвали сволочью, и девчонки, еще недавно с таким наслаждением наблюдавшие за меняющейся в лице Аллой Константиновной, теперь в искреннем жалостливом порыве побежали следом, успокоить.

Всякий раз, когда Сингапур вот так, яростно-обличительно, шел на конфликт, все невольно были уверены, что в этом непременно есть расчет, отработанный, продуманный план. Делал он это... с какой-то отчаянно-наивной жестокостью, свойственной, пожалуй, детям, творящими всё от души, ни сколько не задумываясь, что потом. В случае с Рождественским, это особенно было видно. «Конечно, я прекрасно по-

нимал, – рассказывал после Сингапур, – что обличать Рождественского бессмысленно, тем более, с такой анекдотичной придурковатостью... Но, черт возьми! – воскликнул он, – я это действительно ляпнул. Но, после такого наива, и извинения выглядели как продолжение издевательства. Прошел бы мой этот ляп мимо ушей, отшутился бы Рождественский, и всё – забыли. Но он смутился, еще как смутился – попался. Уже в ту минуту я был для него злейшим врагом. Что бы дальше я ни предпринял: извинялся бы, промолчал бы, или, как и поступил... Не смог я удержаться. И понесло меня! И не сомневался я в своей правоте! Ведь дружбу свою он предлагает первокурсникам, по сути своей, детям неискушенным. Песенки им поет про греков и прочую педерастию, а те и уши в стороны... Но ведь до той минуты, он мне был даже симпатичен – образованный, интеллигентный человек... Ну предлагал он... Но не мне же, в конце концов. В конце концов, не принуждал же он их; да и восемнадцать лет – совсем не детский возраст, сами понимают, на что идут к этому Рождественскому. И кого я должен теперь осуждать? Себя? Вот вам – выкусите!»

После истории с Паневиной, Сингапур, как обычно, стал оправдываться. Чаще оправдывался Диме или Данилу, а так, кто под руку попадет. Ему обязательно нужно было оправдание. Лишь оправдавшись, он успокаивался и, благополучно, забывал случившееся. «Я прекрасно понимаю, – оправдывался он, на сей раз, одному из однокурсников, у которого



стрельнул сигарету и стоял с ним курил на улице, – что город наш не Эдем. Зачем нам объяснять, что мы и сами знаем? Для нас все это давно обычно, давно в порядке вещей. К этому просто привыкнуть надо – просто привыкнуть, – не придумав, что сказать дальше, лишь отмахнулся.– И какого лешего, она, эта «на Магадане», выеживается, о какой-то нам порядочности говорит, когда сына своего, идиота, пристроила не куда-нибудь, а в педагогический! Ты вообще видел его записную книжку? Нет? А я заглянул раз в нее. У него записная книжка эта толще, чем роман Толстова. И ведь там всё телефоны записаны – не просто так. В алфавитном порядке, аккуратными печатными буквами, убористо, компактно. Начиная с телефона Альфа-банка и до... черт знает чего! Даже телефон горячей линии прокладок «Олвис». Он аккуратнo, в алфавитном порядке записывает все телефоны, которые только можно увидеть по телевизору. Я, с дуру, спросил у него: Зачем тебе все это, Андрюша? И он ответил, ответил со своей неубиваемой невозмутимостью: «Пригодится». Зачем они ему пригодятся?... Зачем он учится в институте? Зачем он учится на худграфе, когда он даже обычный шар нарисовать не в состоянии? Ты помнишь, когда на экзамене он получил «отлично» и все видели, за что он получил «отлично», все, мягко сказать, недоумевали. (Натюрморт, сделанный Паневиным, был на уровне школьного рисунка, и у всех поступавших, его «отлично» вызвало, как выразился Сингапур недоумение). Всё очевидно, хотя мы еще и не знали, что

Паневина – его мать... Какой из него педагог, когда он двух слов связать не может? Он же дегенерат. И какое она, эта... дама, имеет право, нас чему-либо учить – в смысле морали и прочей нравственности, когда ее сын, идиот у всех на виду, и все знают, что она его пристроила? И в чем здесь мораль?» «Здесь большинство пристроенных», – возразил однокурсник. Видно ему все это было мало интересно, впрочем, спешить было некуда, он лениво курил, лениво слушал, и равнодушно возразил. «Да, – согласился Сингапур, – это же не ин-яз, и не физмат. Это худграф – учитель рисования, учитель, чей предмет считается самым ненужным после физкультуры, предмет, который может вести даже слесарь-сантехник. – А чего там уметь! Сказал рисуйте зиму – они и рисуют... Пристраивают на худграф – в педагогический, пристраивают на юридический, даже в медицинский пристраивают, пристраивают и о морали говорят. Тебя это не пугает? – вдруг посмотрев однокурснику прямо в глаза, произнес он. – Ведь не дай Бог, кто-нибудь из этих пристроенных пойдет работать по специальности... Это что же тогда получается?.. Это получается пиздец, – ответил он чуть слышно. Однокурсник равнодушно согласился, бросил окурочек, и ушел.

\*\*\*

Сингапуру не удалось уговорить Паневина на поход к Гале в гости. Паневин показал удивительную упертость, даже, в своем роде, ревность. Не добившись ничего вразумительного, Сингапур сдался и, оставив Паневина, направился к себе

домой.

Жил он один. Вот уже год, как умерла его бабушка, завещав квартиру внуку. Не без скандала, наотрез отказавшись сдавать эту квартиру, Сингапур переехал в нее, заявив, что ни в чьей помощи он не нуждается, проживет и один, не маленький. Тем более что последнее время он практически и не жил с матерью; квартира у бабушки была двухкомнатная, во внуке бабушка души не чаяла, прощая ему все, и в каком бы то ни было споре, всегда принимала его сторону. Обосновавшись в маленькой комнате, устроив там мастерскую, Сингапур и жил на полном бабушкином обеспечении и под абсолютным ее покровительством, ни в чем не нуждаясь и не в чем себе не отказывая. Но бабушка умерла, с матерью Сингапур разругался, жить же продолжал как и раньше – ни в чем себе не стесняя и за квартиру денег не выплачивая... Впрочем, если бы не эта квартира... Сам по себе, Сингапур был крайне неприхотлив, как в одежде, так и в еде; а мог и вовсе ничего не есть – в качестве протеста, или как говорят – из вредности. В конце концов, мать сдалась и оставила сына в покое, оплачивая теперь уже его квартплату и покупая ему, по необходимости, и одежду и еду, в остальном же предоставив ему полную бесконтрольную свободу.

Обосновавшись, Сингапур постепенно, потихонечку, превратил всю квартиру в одну большую художественную мастерскую. Первое время, следуя обычным эстетическим правилам, он оставил за мастерской свою комнату, живя и при-

нимая гостей в большой – зале, где жила бабушка, периодически прибираясь там, даже иногда и влажную уборку делая. Но... за сюжетами он далеко не ходил: за окном березы, этюдник возле окна и рисовал березы; в зале, на столике бутылки, стаканы после пьяного вечера, этюдник в зал... В конце концов вся квартира от кухни до зала была заляпана краской; тем более что Сингапур не отличался особенной чистоплотностью; полы быстро затоптались, ковры были свернуты в угол. И теперь квартира представляла собой одно большое, чем-то заставленное, чем-то заваленное пространство, увешанное картинами. В зале, у стены, журнальный столик, два кресла. Напротив – диван. Возле одного кресла этюдник, табурет с палитрой и с тюбиками масляных красок, на этюднике, под этюдником – тряпки для протирки кистей, на полу банка с кистями. В конце концов, Сингапур полюбил это место, работая сидя в кресле (впрочем, если надо, этюдник ставился и на кухню и в маленькую комнату – здесь Сингапур уже не церемонился). На журнальном столике, вместе с банками и тюбиками краски, стояли чашки с чаем, заварочный чайник, пепельница, и частенько остатки обеда. Все это неминуемо срисовалось на бумагу или оргалит. Всё до последнего битого стакана – все хранилось и составлялось в своеобразный метфонд, который раз в один-два месяца беспощадно выметался мамой Сингапура, навещавшей сына с целью генеральной уборки. Сингапур не противился, к этому времени он уже скучал по чистоте.

Сингапур умел рисовать. Его нарисованные стаканы и бутылки были стеклянными, скрюченные в пепельнице окурки – бумажными, березы за окном были одеты листвой и окутаны воздухом, в нарисованные окна нарисованных домов, невольно хотелось заглянуть. Сингапур умел рисовать. И знал это. И все это знали. Только картины его никто не покупал. И не потому, что они были плохи... Их... не хотелось покупать... Причиной, был сам художник. Сингапур и не умел и не знал, как это – продавать. Одного взгляда было достаточно – он отдаст картину даром, в лучшем случае – пропьет. К тому же... какие-то куски оргалита, фанеры. Взять в подарок, это с удовольствием. А покупать... у Сингапура... просто смешно. Тем более, какие-то бутылки, стаканы, двory с панельными пятиэтажками. Если уж и покупать, то – лес, реку, лодки у берега... и закат, и церковь на холме, или... что-нибудь такое... мистическое, с горгульями и обнаженными женщинами в доспехах-стрингах и невозможными двуручными мечами. Если уж покупать, платить деньги, то за иллюзию... а за стаканы и пепельницы... Это же не ботинки Ван Гога... впрочем и ботинки Ван Гога вряд ли бы купил местный потребитель. Ботинки у него и свои были. Сингапуру, частенько советовали сменить тематику – советовали от души, по-доброму, по-человечески. Жутко его это злило. «Прудик им подавай с лебедями, и что бы обязательно на холме церковь или старая мельница. Ненавижу». – После таких советов Сингапур всегда впадал в депрессию, ненави-

дел всех и в первую очередь себя. Доставалось и картинам. «Прудик им подавай!» – в злобе он топтал свои стаканы и бутылки. Придя в себя, если было возможно – собирал поломанные куски картин, склеивал, подкрашивал и... очень бережно... прятал, подальше от глаз – от своих глаз. Может по этому, он и ненавидел пленер: лес, прудик, церковь на холме. Его жизнь была в городе и ограничивалась городом. Все эти походы на природу, в лес, подальше от цивилизации, речка, шашлыки, закат... Весь пленер первого курса, когда все нормальные студенты, целыми днями, с пивом и с этюдниками, балдели на пляже или отдыхали в лесу, Сингапур упрямо не выходил дальше территории домиков базы отдыха, где и проходила летняя практика, рисуя только домики, окна, и всё те же бутылки и цветы на столе. «Сингапур, не дури, пошли на пляж там такие виды», – звали его. «Не люблю открытые пространства», – отвечал он, рисуя приоткрытую дверь в свой домик, где у двери, как на часах, стояли две водочные бутылки. «Дронов, – предупреждали его преподаватели, – не умничай, есть заданная тема. Будешь упрямиться, пленер не зачем». Пленер ему зачли. «Если такой умный, зачем тебе институт? Будь просто художником. Неужели трудно взять и выполнить задание?» «Трудно. Не могу делать то, чего не хочу». «А ты захоти». «А вам это надо?»

Впрочем, академические работы в аудитории, Дронов выполнял, как требовалось и в срок. Но если речь шла о домашних заданиях...

Сингапур любил город. Любил рисовать город. Дворы, улочки, дома, крыши, окна, деревья... не было только людей. Его дворы и улочки были пусты, из окон смотрели только цветы в горшках, даже не смотрели, а выглядывали из-за занавесок, да и сами окна, казалось, наблюдали за кем-то, спрятавшись за березы и тополя. Его город жил; жил сам по себе; жил – наблюдая. Дома, деревья – все прятались друг за друга – и наблюдали. С интересом, тревожно, настороженно, с любопытством, даже с азартом – с каждой картины по-своему.

– Почему нет людей? – спрашивали его.

– Они лишние здесь, – отвечал он.

– Но ты же рисуешь город, а как же город без людей?

– Моему городу люди не нужны. Мой город не любит людей. Он их боится. Даже меня. И я его боюсь. – Всегда, странно, добавлял он. У него был только один автопортрет, который висел в зале на стене: на высоком прямоугольном листе оргалита, где-то внизу, сутулясь, затравленно исподлобья, смотрел Сингапур. А над ним, наблюдая тревожно, склонился, казалось, весь его город, со всеми своими окнами балконами и крышами.

Картины свои, Сингапур делал исключительно на оргалите или фанере.

– А почему не холсты? – Как-то спросили его.

– Не люблю холст, – был ответ. – Когда из холста давно сделали культ, когда все и всегда внушали, что холст это

ХОЛСТ, что это не какая-нибудь картонка, что он стоит денег, что к нему нужен правильный грунт, что настоящие художники пишут свои настоящие шедевры именно на настоящих холстах, начинаешь его бояться и даже ненавидеть – как женитьбу. Все равно, что всю жизнь спал со шлюхами, и тут, на тебе – девственница. Это к чему-то обязывает, думаешь уже не о своем удовольствии, а как бы ей чего не так сделать. Для меня холст, что для нищего алкоголика элитный коньяк, черт его знает – букетом наслаждаться или так из горла. Несколько раз пытался с холстом работать... Через полчаса порвал его и выбросил: все боялся, как бы ни так мазок положить, вдруг испорчу. Чужой он мне, как китайцу ложка. Да и твердости в нем той нет, как в оргалите – чуть сильнее кистью или мастихином надавил, он и поддался. А когда испытываешь трепет, какая уж тут работа. А привыкнуть к холсту – ну его к лешему, у меня на это нет ни терпения, ни... смысла в этом никакого нет. Я и красками работаю, какими не страшно.

Профессиональных художественных красок было крайне мало (настоящая краска стоила настоящих денег), в основном масляная краска или эмаль для строительных работ (это добро Сингапур без проблем добывал у знакомых или у родственников; кто-нибудь из знакомых делал ремонт и строительная краска оставалась всегда). В коробках сухие пигменты всё для тех же строительных красок. Всё это он добавлял в масляную краску, добываясь нужного ему цвета. По край-



ней мере, за всё это не нужно было платить.

## 5

Войдя в квартиру, раздевшись, сменив казаки на тапочки, Сингапур прошел сразу в зал, сел в кресло. Пьяно и долго посмотрев в стоящий в этюднеке чистый лист оргалита, устало отмахнулся, поднялся и, упав на диван, тут же уснул.

Разбудил его звонок в дверь. Со вторым звонком он нехотя поднялся и подошел к двери.

– Кто?

– Мышей травим. У вас есть мыши? – почему-то раздраженный женский голос.

– Чего? – спросонья не поняв, Сингапур отворил дверь, в это время дверь отворили и соседи, обе двери были железными, отворялись в одну сторону и, с лязгом, столкнувшись, соседская дверь уперлась в дверь квартиры Сингапура.

– Дверей понаставили, – даже зло заметила женщина.

– А тебя кто звал! – разозлился Сингапур, хотел дверь свою распахнуть и еще крепче высказаться – да дверь соседская мешала. Матернувшись, он дернул за ручку. Бес толку. Дверь, сцепившись с соседской, не захлопывалась. – Дверь закройте! – крикнул в проем Сингапур.

– Свою чуть приоткрой! – ответила соседка.

Сингапур чуть приоткрыл дверь. Соседка захлопнула свою, Сингапур – свою. Зашел в ванную, крепко умывшись, вышел в кухню поставил греть чайник. Вновь позвонили. Уже не спрашивая «кто», он отворил дверь, та с лязгом вре-

залась в соседскую.

– Мука нужна? Муку продаем.

И, немедленно, голос соседки:

– Пошли на хуй! – и следом, – Федор, дверь чуть приоткрой. – Сингапур чуть приоткрыл. Железный грохот, и соседская дверь захлопнулась.

– Сама пошла! – обиженный возглас, и следом испуганный вскрик: – Ой! – Сингапур с удовольствием грохнул своей дверью. Вернулся на кухню, дождался, когда чайник закипел; заварил чаю. Вновь позвонили. Решительно, Сингапур подошел к двери, резко распахнул ее, готовый с ходу обматерить любого. На пороге стоял Паневин, рядом Галя.

Здесь даже Паневин смутился, слишком резко распахнулась дверь, и слишком решителен был вид Сингапура, стоявшего в дверях, готовый что-то такое сейчас сказать...

– Блин... вы... Привет, ну проходите, – последнее он сказал совсем, как старым друзьям, и отступил, приглашая гостей войти.

Как ни старался Паневин, как он ни расправлял плечи, как ни выворачивал локти, он легко прошел в дверь.

– Аккуратнее, у меня узкий коридор, – пошутил Сингапур, и Гале: – В этой квартире не разуваются, вон тряпка – подошвы оботрите. Для особо приближенных есть тапочки, – он кивнул на пару тапок стоявших под вешалкой. Сказав «спасибо», Галя, забыв вытереть сапожки, даже снять куртку, сразу пошла, куда сказал Сингапур – в зал. Пανε-

вин, расстегнув куртку, хотел уже снять, передумал, и прошел следом.

– Садитесь, я чаю принесу, – кивнув на кресла, Сингапур ушел на кухню.

Все, кто впервые попадал в эту квартиру, невольно, даже сами того не желая, погружались, во что-то тихое... безмятежное... Картины. Впрочем, не только картины, сам воздух, здесь, казалось, растворял время... И исчезало время. Какие-то пустые безлюдные дворики... и очень много цветов. Сингапур любил рисовать цветы. И цветы у него, прячась друг за друга, наблюдали...

Самый равнодушный к живописи человек, сам того не замечая, только ступив в комнату и опустившись в кресло, медленно вяз в этом живом безлюдном городе старых хрущевок, и странных, живых натюрмортов, где цветы и бутылки чем-то, необъяснимым, напоминали людей. Еще немного... вот уже Сингапур приносил чай... и никуда не хотелось уходить. Хотелось просто сидеть в кресле, пить чай, и, бесконечно долго, переглядываться с этими странными домами, цветами и бутылками, всегда стоящими у окна и точно задумавшимися о чем-то. Совсем мало было цветов, которые бы гордо возвышались из вазы. Конечно, были и такие, которые просто вырывались из этой никчемной вазы и, просто таки, возмущались! Но большинство, задумчиво склонившись, смотрели в окно, совсем не желая выпрыгивать из этой кривой, и давно привычной вазы... они смотрели тоск-

ливо, но без зависти. Точно понимая, что и там, за окном, скорее всего, все та же тоска.

Вернувшись с чаем, Сингапур расставил чашки и чайник на столе, сам сел на диван.

– Красивые картины, – негромко сказала Галя. – Особенно цветы... Только грустно, – добавила она и замолчала, отведя взгляд к картинам.

– Хочешь, подарю? – обычно спросил Сингапур.

– Нет, – даже, как-то удивленно отказалась Галя.

– Почему?

– Они слишком манят. Это... Это от лукавого.

Теперь Сингапур сделал удивленное лицо.

– Искусство от лукавого. Особенно вот... картины, – казалось, спрятавшись в кресле, негромко и все более волнуясь, говорила Галя.

– О как, – удивился Сингапур. Паневин согласно слушал.

– Богу не угодно такое искусство.

– С чего бы?

– Смотри на красивую картину, ты забываешь о Боге.

– Что же теперь вообще не писать картин?

– Не писать, – кивнула Галя.

– А разве эти цветы не создание Бога?

– Эти нет, эти – создание твое.

– А которые в поле?

– Те, да, а эти – нет, – повторила она уже испуганно, и все сильнее спрятавшись в кресле.

– Но если я создание Бога, то почему мои цветы от лукавого?

– Всё искусство от лукавого. Бог создал тебя, а лукавый наделил способностью обманывать людей. Даже иконы от лукавого. Потому что их можно продать. Всё, что можно продать – от лукавого.

– Но ведь и меня можно продать, – произнес Сингапур.

– Тело да. Душу нет. Душа принадлежит Богу. А тело – дьяволу.

– Значит и с картинами так же, – улыбнулся Сингапур. – Часть моей души в каждой картине.

– В них нет души. В них обман. Душа одна и она в тебе. А в картинах – обман, лукавство. Отражение твоей души, как в зеркале.

– А ты, правда, святая? – вдруг спросил Сингапур.

– Да – так сказал Бог, – настороженно, точно готовая сорваться и удрать, прошептала Галя.

– И Минкович, правда, оскотил себя?

– Нет... я не знаю. Не задавай таких вопросов, – она чуть подалась, готовая вскочить.

– Не буду, – успокоил ее Сингапур. – И, что же мне теперь – сжечь свои картины?

– Да, – ответила Галя.

– Вот и договорились... И иконы сжечь?

– Да. Сжечь.

– И тело – сжечь, ведь оно принадлежит дьяволу?

– В иконах отражение души – они бездушны. А в теле душа...

– Так тело – дьявола.

– Душа от Бога.

– Так тело... Сжечь? – уже привычно тяжело, спрашивал он, взглядом оперевшись в Галю.

– Тело дьявола, но его не создал дьявол, и цветы в поле – создал не ты, и не дьявол. А картины рисовал ты. Искусство – искусственно.

– И иконы? – не унимался Сингапур.

– Да. Всё, что создано не Богом – всё от дьявола, всё от лукавого.

– Чай – остынет, – Сингапур указал на чайник и сам, подавшись вперед, взял со стола чашку с чаем. – Что ж, – отхлебнув чаю, произнес он, – будем разрушать. Начнем с картин, закончим городом, и все, друженько переселимся в пещеры и пустыни, будем ходить в звериных шкурах и питаться кузнечиками.

– Да, ты согласен? – неожиданно живо, воскликнула она, и вдруг, точно осознав, что ее обманули, в волнении закусила губу.

– Я, нет, – ответил спокойно Сингапур. – Я – не согласен, – повторил он, внимательно изучая ее изменившееся лицо; и, не отводя взгляда, спросил у Паневина. – А ты, Сма, ты согласен?

– Да сма, – немедленно ответил Паневин.

– Вот и славно. Раздевайся, – Сингапур посмотрел на него. – Раздевайся-раздевайся, сожжем на хрен твою дьявольскую куртку и ботинки, и уматывай в пустыню – жрать кузнечиков. Ну, чего ты смотришь, на меня? Раздевайся.

– Не так! – воскликнула Галя. – Это не искусство, это одежда, она не отворачивает от Бога. Отворачивает роскошь, а одежда не роскошь. Она нужна. Роскошь – сжечь. Обман – сжечь. Сжечь – все, что отворачивает от Бога.

– В этом и есть святость? – спросил он.

– В чем? – насторожилась она.

– В разрушении.

– Да. Нет! – не в этом, в другом. Святость в другом. Святость – попасть в рай. Надо любить, любить Бога. И только его – это святость. А не будешь любить – в ад. В огонь. В адский пламень. И гореть – гореть вечно. Всё, что от дьявола – всё огонь. Всё будет гореть – всё, что от дьявола.

– И зачем ты пришла? – даже устало, спросил Сингапур.

– Я помочь. Тебе помочь. Тебя спасти.

– От чего?

– От ада. От пламени.

– Сожгя мои картины? – усмехнулся он. – Хорошо же спасение от огня. Клин, клином, что ли? – он закурил.

– Не надо курить, – попросила она.

Не возражая, Сингапур затушил в пепельнице сигарету. Ему почему-то даже не хотелось протестовать. Даже спорить не хотелось. С откровенным равнодушием смотрел он на Га-

лю. Ему даже стало грустно. Сама мысль, что кто-то предложит уничтожить его картины, расстроила его. Не важно, уничтожить, потому, что плохие или уничтожить – потому, что хорошие... Он обиделся. Отвернулся, и смотрел в окно. Ему еще никто не предлагал такого, даже по самой жестокой злобе. Бездарностью обзывали, но сжечь... уничтожить. Он по-настоящему обиделся. Как-то, он рассказал, что самая страшная для него месть, это убийство его картин. «Представлял себе, – говорил он, – приходит ко мне какой-нибудь дядя, который очень хочет мне зла. Покупает у меня все мои картины, даже те, которые я еще не создал. Покупает за бешеные деньги. За невообразимые миллионы. И, купив, сваливает их все в кучу и, заставляя меня смотреть на это – сжигает их. И все, что я бы после не создал – все сжигает. И платит. Главное платит – вот самое страшное».

Он подошел к балкону, открыл дверь; вместе с морозным воздухом, бессильный пьяный возглас:

– Отдай мои деньги, я буду пить, бля!

– Это сосед, этажом ниже, – невольно прокомментировал Сингапур.

– Отдай! Буду пить! – с надрывом из последних сил, прокричал сосед. – Буду!!..

Сингапур закрыл дверь.

– А разве душу продать нельзя – хотя бы тому же дьяволу? – спросил он.

– Нельзя. Она же Бога.



– А пламень – который адский?

– Не будешь любить – будешь гореть.

– А чему гореть, если душа – Бога?

– Тело – гореть.

– В смысле? – усмехнулся Сингапур.

– Мысли. Душа, это счастье. Дьявол бессилен перед счастьем. Он мысли к себе забирает – память о теле. Вот он ад – тебе оставляют тело – память о теле, мысли... И это будет гореть – вечно.

– А душа – с Богом в счастье?

– Да, но ты не узнаешь. Тебе мысли оставят – будешь гореть, чувствовать боль, страх, не будешь о душе помнить – что она в счастье. Не будешь – потому что боль.

– Мудрёно, – произнес Сингапур. Помолчав, спросил: – А рай?

– Радость. Нет мыслей, есть только радость. – Ответила она улыбнувшись. Впервые Сингапур увидел ее улыбку, тихую, наивную. Даже странно стало, что Галя может улыбаться. Но улыбка быстро исчезла. Вновь, серьезная, она, заставляя себя не смотреть, невольно возвращалась взглядом к картинам.

– Да-а... А сидя на берегу реки, наблюдая закат, ты думаешь как прекрасен мир, который создал Бог, – вздохнув, сказал Сингапур.

– Да, – согласилась Галя.

– Что-то в этом есть, – произнес Сингапур, открыв дверь

балкона, ему хотелось курить.

– Буду пить, бля! – капризно доносилось с улицы.

– А если я не хочу твоего спасения? Если я хочу гореть – вечно. Вот Сма, вот его и спасай, – не было в его тоне иронии, не было насмешки, серьезен он был, как-то капризно серьезен, с тихой откровенной обидой смотрел он на Галю.

– Ты не ведаешь, что творишь, – ответила она.

– Как раз ведаю, ох как ведаю, – вздохнув, произнес он. – Ты мне про ад говоришь, пугаешь, что гореть мне в адском пламени... Какая же ты наивная, – он вновь вздохнул. – Как все было бы просто, если оно так. Я вообще смерти не боюсь. Думал, что это так, бравада, мои личные понты. Недавно в одной статейке вычитал, что восемнадцатилетних в армию призывают не просто так, а научно доказано; восемнадцатилетние и около того, по определению смерти не боятся – возраст такой. Вроде бы в этом возрасте мы все такие всё знающие максималисты, вся жизнь у нас впереди, мы даже и понять не можем, что вообще способны когда-нибудь умереть. А если и думаем о смерти, то как о чем-то красивом, театрально-постановочном: обкуриться и умереть под музыку Doors, или на поле брани, но обязательно перед этим замочить человек тцать, и после уж – пуля в сердце, и ты падаешь с улыбкой... крупный план, величественная музыка, лицо твоей матери, девушки, друзей – все это медленно проплывает... И ты умираешь без боли и с улыбкой. Очень важно, что с улыбкой. Смерть нужно встречать улыбаясь и

под величественную мелодию, и, чтобы весь мир знал, что ты умираешь красиво. Вот только такая смерть нас, как мы уверены, ждет. Я читал об этом. Там еще говорили про физиологию, психологию, словом, объясняли как могли... А ты мне о каком-то адском огне.

– Страшные вещи ты говоришь, страшные, – прошептала она.

– А что если умер, и все – словно тебя не было. Прах к праху и лопух на могиле. Помнишь? – Галя не ответила, она, казалось, и не слушала, как оглохшая, молча вглядывалась в Сингапура, и, казалось, что-то шептала. – Я думал об этом. Жутко, – продолжал он негромко. – Вот что страшно – прах к праху. А огонь, это даже очень ничего. Это не страшно. Я последнее время часто думаю о смерти, до того додумался, что стихотворение сочинил – ма-аленькое такое: Прости меня жизнь за мою любовь к смерти. Любовь безрассудна... а ты коротка.

Перечитав его, понял, что все это как-то несерьезно, вся эта смерть, вернее, все эти мысли о ней. Кого не послушай, все отзываются о смерти, как-то... несерьезно. Как-то поэтично. Не хотим мы ассоциировать смерть с истлевшими кишками, гноящимся, разлагающимся лицом... Смерть – это, что-то такое другое, потаенное, не объяснимое, не укладывающаяся в земные телесные рамки. Мы ее словно заговариваем: в любви ей признаёмся, жертвы ей приносим, смеёмся над ней, даже шутим. Всё узнать хотим, выведать – а

какая ты, смерть? Ведь не старуха же с косою. И зачем мы вообще родились, если суждено умереть? Опять же – умереть, это что? Райские кущи, адский огонь или лопух на могиле? И если есть жизнь вечная, то... зачем мы проживаем жизнь эту? И все, с кем бы ни говорил о смерти, все сходится в одном: если мы и вправду смертны, то и жить надо на полную катушку. Иначе, зачем я родился. Ни к чему мысли эти, о смерти, не приводят, убеждаешься лишь, что жить надо в свой кайф, чтобы не жизнь – Голливуд: сплошные животные инстинкты в виде секса, выпивки и жрачки. А духовность – потом – там, на том свете. Там, все равно, все вечно и никакого секса. Так что времени для раскаяния – дальше некуда. А если прах к праху, тем более – живи и наслаждайся. Что любопытно, – о смерти по-настоящему задумываются или старики или инвалиды, которым земные радости уже не в радость. А у меня пока всё в норме и печень без цирроза. Так что, приходи ко мне лет через двадцать, тогда я, думаю, созрею для спасения, к этому времени жизнь меня поломаёт: жена бросит, с работы уволят, цирроз обнаружится и рак предстательной железы. Вот тогда я тебя буду ждать. Только не прозевай, а то меня какие-нибудь спасатели Малибу перехватят, в виде муновцев или им подобным. Падальщики, – уже нервно закончил он, не мигая смотря на Галю. Та продолжала что-то беззвучно шептать.

– Ну ладно, – не дождавшись никакого ответа, произнес он, – чай попили и славно. Мне работать надо. Создавать

не угодные Богу лукавые цветочки-лютики. – Он отошел от балкона и остановился посреди зала, засунув руки в карманы джинсов. Поднялся Паневин, Галя продолжала сидеть в кресле.

– Ну хорошо, – неожиданно сдался Сингапур, – Решила меня спасти – спасай. Только как? Как ты собираешься меня спасать?

– Не пиши больше картины, – произнесла она.

– Хорошо – это первое, – он обычно поднял руку и загнул мизинец. – Второе.

– Отдай все и иди за мной.

– Что всё и кому? И куда идти?

– Нуждающимся. Как велел Бог. А идти – за мной.

– Хорошо. А как ты себе это представляешь? Я продаю квартиру выхожу на центральную площадь с транспарантом – «Каждому нуждающемуся – по рублю». Или как?

– Да, – согласилась она.

– А ведь ты не шутишь, – пристально вглядываясь в нее, произнес он. – Нет, не шутишь.

И кем ты себя возомнила? – вдруг вникнув в смысл сказанных ее слов, воскликнул он.

И она повторила:

– Отдай все и иди за мной.

– Хорошо, – все поняв, согласился Сингапур, – Только завтра. Договорились? Вот и славно, – не дав ей возразить, он ласково взял ее за руку, – завтра, хорошо? Я пока подго-

товлюсь к этому, морально... и... все такое. – Он повел ее к выходу.

– Богу привет, пламенный, – помахал он, уже стоящей на лестничной площадке, Гале, и закрыл дверь.

## 6

Был уже вечер. Тихо было. У кого-то, за стеной работал телевизор. Сингапур все сидел в кресле и смотрел в чистый лист оргалита. Грустно было. Иногда, он брал кисть, сухо, неспешно водил ее по листу, выводя какой-то, даже ему не понятный орнамент, перебирал кисть в пальцах, подносил к лицу, и, словно накладывая макияж, подводил щеки, скулы, лоб, и снова опускал кисть в банку. Тоскливо было. Не хотелось слушать музыку, не хотелось никуда идти. Напиться хотелось. Поднявшись, он перешел на диван, и – лицом вниз, закрыв голову руками, поджав ноги – так и лежал, уговаривая себя уснуть...

Взорвался телефон. Сингапур вздрогнул; после второго звонка взял трубку.

– Здравствуйте, а Федю можно?

– Я вас очень внимательно слушаю.

– Извините, я Федю могу услышать?

– Вы его уже слышите.

– Узнаёшь? Это Алина.

– Конечно, узнал, Алиночка, – ласково заговорил Сингапур. – Что-нибудь случилось, ты плачешь?

– Нет. А вообще, да. – Алина помолчала, – мне поговорить

с тобой надо.

– Заходи. Скоро приедешь?

– Я не одна, я с подружкой.

– Ну и что, тем лучше, веселее будет.

– Я скоро, ты дома будь.

– Конечно, до встречи, – он повесил трубку.

Алина очень кстати позвонила. Мысли теперь с облегчением, точно освободившись от чего-то непосильного, потекли ровно, размеренно. Закурив, и дотянувшись до пепельницы, Сингапур поставил ее на пол и, ковыряясь сигаретой в пожелтевших окурках, заговорил сам с собой:

– Так. На прошлой недели муженек ее с барышнями приходил, сейчас она, – сигарета сломалась. Закурив новую, он продолжал шарить по пепельнице, рисуя пеплом незамысловатый орнамент. – Значит, он от нее гуляет, она от него плачет... Ладно, что-нибудь придумаем.

Наконец они пришли.

– Здравствуй, Алиночка. Проходите. Всё как обычно – для особо приближенных тапочки. – В поклоне, пригласил их Сингапур. Вслед за Алиной вошла ее подруга.

– Лиля, – приятно произнесла она.

– Федя, – представился он, и, без спросу, поцеловал Лиле руку.

– Вот и познакомились, – не смутившись, и, даже озорно сказала Лилия. Сингапур повторно поцеловал ей руку. И

СЛОВНО ОПОМНИВШИСЬ:

– Проходите, что вы в дверях-то.

Переобувшись, девушки прошли в зал, сели в кресла.

– Как интересно, – произнесла Лиля, оглядываясь. – Первый раз у художника.

– Я же говорила тебе, – напомнила Алина, – он хороший, и художник еще.

– Здрóрово!

– Мы взяли вино, – вспомнила Алина, – штопор нужен.

– Проблем нет. – Через минуту Сингапур уже вернулся из кухни с откупоренными двумя бутылками красного вина.

– Ну что, девчонки, по маленькой, – он наполнил вином стаканы.

– У тебя магнитофон работает? – спросила Алина, удобно сидя в кресле и очень красиво держа стакан, обхватив его снизу своей маленькой пухленькой ладошкой.

Единственное, что было у Сингапура подходящего к такому случаю – Патрисия Касс, ее он и поставил.

– Ну, за знакомство, – сказал он, высоко подняв стакан.

– Нет-нет-нет. За хозяина первый тост за хозяина. За художника, – польстила Лиля.

– Ну, рассказывай, – произнес Сингапур, когда уже все дежурные тосты были выпиты и все сидели в молчаливом созерцании, не зная о чем говорить дальше.

– А что рассказывать, – Алина сразу погрустнела.

– Дура она, вот кто, – оживилась Лиля, – Я ей сразу гово-



рила, не хрена с ним возиться. Он от нее, дуры гуляет, а она только и знает – в подушку плакать. – Она торопливо закурила. – Вот мой кобель гуляет, но деньги домой приносит. Да и вообще. А у нее – сразу разводиться.

– У тебя видишь как, побесится, побесится и домой. А мой же так не может. Он, если встречается, то уже серьезно. Да и эта стерва, знает, что у нас ребенок, а ведь все равно крутит им как хочет. – Она замолчала. Долго все сидели молча.

– Федя, а что ты все один живешь? – Алина нежно посмотрела на него.

– Зачем мне это? – риторически ответил он.

Сквозь стакан Алина загадочно посмотрела на него и сказала тихо. – Одинокó ведь.

И вторя ей, тихо и вкрадчиво, Сингапур с привычно-льстивой, приятной женскому слуху ложью, говорил то, что хотела слышать Алина:

– Я один, но это не значит, что я одинок. У меня есть живопись. К тому же, я не хочу связывать себя как-либо с женщиной. Привыкну, влюблюсь, а она потом возьмет и бросит меня. Нет, я люблю женщин. Но женщина для меня как друг. Я боготворю женщину. Женщину нельзя не боготворить. Мне гораздо интереснее слушать женщину, разговаривать с ней, чувствовать ее душу. Что такое плотское наслаждение – ничто по сравнению с душой. Для меня гораздо важнее почувствовать женщину, стать ее частью...

– Налей мне еще, – вдохновенно попросила Алина.

– Мне хватит, – Лиля прикрыла свой стакан ладошкой.

Алина взяла Сингапура за руку.

– Я знала, что ты хороший. С тобой хорошо. Ты не такой, как все эти кобели.

– Я же говорю – я боготворю женщину, – он высвободил руку и поднял стакан. – Девчонки, давайте не будем о грустном, давайте выпьем, напьемся вдрызг и забудем хоть на чуть-чуть обо всех этих гадостях.

– Нет, я сейчас выпью и пойду, у меня немножко есть, – и Лиля показала свой стакан. – А то уже поздно.

– Ну Лиличка, – попросила Алина, – ну посиди еще.

– Нет, Алина, мне идти нужно. – Лиля поднялась. – Хочешь, вместе пойдем.

– Не-а, – Алина помотала головой, – я здесь останусь. – Помолчала и добавила. – Лиля, может, ты останешься?

– Действительно, Лиль, оставайся, – для формы предложил и Сингапур.

– Нет, нет и еще раз нет. Правда, мне нужно идти.

Когда они остались вдвоем, голос Сингапура стал еще нежнее:

– Ну что ж, Алиночка, пойдем, добьем этого змия зеленого и напьемся вдрызг.

Она, в порыве, прижалась к нему:

– Хорошо с тобой, Федечка. И, правда, давай напьемся.

...Алина лежала под одеялом, Сингапур сидел рядом и курил, наблюдая за освещенным окном соседнего дома.

Прислонившись щекой к его спине, она заговорила, так грустно, так печально:

– Почему всё так? Мы, прежде чем, с мужем год целый ходили. А сейчас... так всё сразу. У тебя много было женщин?

– Почему ты спрашиваешь? – произнес он, не отводя взгляда от освещенного окна. Там, в окне кухни, молодая девушка, в чем мать родила, смотрела за окно, прислонившись лбом к стеклу, не потрудившись, даже свет погасить.

– Почему спрашиваю? Не знаю. Ты у меня второй.

Сингапур затушил сигарету, повернулся к Алине, поцеловал ее в лобик.

– Время еще не позднее, тебе не пора? В смысле... к ребенку или, ну там... – он запутался. Улыбнулся виновато.

– Как же? – Алина недоуменно посмотрела на него. – Ты же говорил, что тебе хорошо со мной. – Вдруг, как будто сделав для себя страшное открытие. – Ты просто воспользовался мной, да?!

– Ну что ты, – успокоил он, – я просто очень сильно устал... и... мне скоро уходить, – прибавил он нелепо, и еще: – Ведь поздно; у тебя там муж...

– Ты воспользовался мною. Ты просто мною воспользовался, – она, со слезой посмотрела на него. – Но ты же знал, что я замужем. Ты воспользовался моей слабостью.

– Бог ты мой, это уже сериал, ты так не думаешь? – раз-

драженно, и с какой-то виноватостью в голосе, сказал он, заставив себя усмехнуться.

– Нет, не думаю. Выйди, я оденусь.

Он пожал плечами, поднялся с дивана, потянулся и вышел в кухню.

Через некоторое время из зала вышла Алина.

– Тебя проводить? – прозвучало из кухни.

– Нет, – и дверь, лязгнув, захлопнулась. Наступила тишина. Неуютная тишина. Виноватая тишина. Сингапур уже хотел одеться и побежать следом, остановить Алину, даже вернуть, объяснить ей... Что объяснить? Что он удовлетворился и больше не хотел ее видеть? Что она ему не интересна? Что она просто смазливая девчонка?.. Что объяснить? Воспользовался он ею... Глупость какая... Сама, главное, пришла... И он еще и воспользовался... Здесь только дурак не воспользуется! Да и почему, собственно, воспользовался?! – он оправдывался, как мог, три сигареты подряд выкурил. Но, все равно... щемило на душе. И что ж ему, жениться теперь на этой Алине?! В чем его вина?! – Расстроенный он, все же оделся и вышел, но не за Алиной, с ней он мысленно уже распрощался навсегда, а так, прогуляться.

На улице шел снег; ветер. Холодно. Когда же наступит эта блядская весна! Дойдя до автобусной остановки, больше ничего не придумав, он, кутаясь в пальто, скоро вернулся домой. Разделся и завалился спать.

Резкий пронзительный звонок. В предрассветном сумра-

ке, Сингапур, как слепой вытянув руки, добрался до двери.

– Кто? – спросил и сам не узнал своего спросонья хриплого и по-звериному пугливого голоса. – Кто? – повторил он. И опять никто не ответил. – Вот уроды, – произнес он в злости и вернувшись в зал, сел на диван. Впрочем... а был ли звонок? Завалившись на бок, уставившись в стоящие на столике чашки и стаканы, он, как воочию, вспомнил сон. Тут же вскочил в страхе, и включил верхний свет. Теперь стало не так страшно.

– Да, она сидела в этом кресле, – вслух вспоминал он. – Она и умерла в этом кресле. Сидела, смотрела вот этот самый телевизор, и умерла, тихо, незаметно, точно уснула. Хорошо, я этого ничего не видел. Так рассказывала мать, а я где-то пьянствовал... Но это было так давно... больше года уже прошло. Меня почему-то несколько не пугает это кресло, мне в нем уютно, мне в нем работается, – шептал он, точно впервые рассматривая это, обтянутое желтой потемневшей тканью, мягкое кресло, с жутким матрасным рисунком, возможным только в те, безвкусные – по ГОСТу, советские времена. – И бабушка любила это кресло, и умерла в этом кресле. – Он поморщился от внезапной головной боли. – Умерла, – повторил он, боль усилилась. – Но сейчас же был сон – да? – неуверенно повторил он. – Сон? Она сидела в этом кресле, я на диване. Мы разговаривали. О чем мы разговаривали? – боль стала нестерпимой, сжав ладонями виски, зажмурившись, он вспоминал. – Она поднялась, попро-

щалась. Была такая счастливая, улыбалась. Я плакал, просил: «Бабушка не уходи...» Она открыла дверь и вышла на площадку подъезда, я не успел ее остановить; дверь закрылась. Я, зачем-то, рвался за ней, плакал, просил, что бы вернулась. Лупил кулаками в эту... прозрачную дверь. Да, дверь почему-то стала прозрачной. Этот вечно грязный подъезд, окно освещенное фонарем. И у окна, прислонившись к стене, сидела женщина, голову склонила, руками бережно обхватила колени, и сидела так, как Аленушка у Васнецова, так... трогательно... А я все сильнее лупил в эту дверь, рвался к своей бабушке... – зачем?... Она такая уютная сидела на полу этого грязного подъезда... Такая спокойная... смотрела на меня, наблюдала... Вдруг в страхе вскинула руку. Я обернулся – резко. Огромное черное пятно – бегущий на меня силуэт женщины, волосы распущены, руки – жадно в стороны. И все до паники черное... И звонок. – Сингапур вышел в ванную, засунул голову под холодную струю воды. Вода освежила, страх отпустил, боль ушла. Может, и не было никакого звонка, может – все сон? Да, скорее всего, – здраво решил он. Вернулся в зал. Никаких больше Алин. Хватит – все эти поиски любви, боготворение женщины. Достаточно, мне еще с мужьями-рогоносцами не хватало проблем, – убеждал он себя, сев в то самое кресло. – Если уже покойники предупреждают... Невольно он взял кисть... Уже не сомневаясь, уверенно зачерпнул белой эмали... Освещенное окно, подъезд, женский силуэт у стены, склонив голову, наблюдал. Си-

няя краска, черная, умбра, зеленая – не глядя, черпал он кистью краску и отдавал листу. Прошло чуть больше часа, как с листа на него смотрел светлый женский силуэт, освещенный лунным светом окна, в жутко-зеленом, страшном ночном подъезде, светлый в своем одиночестве, белый женский силуэт, который так и хотелось взять за руку и вывести из этого пугающего темнотой подъезда.

Откинувшись, он закурил. Теперь стало спокойно. Весь страх ушел в лист, в этот грязно-зеленый тревожный подъезд. Затушив сигарету, выключив свет, он завалился на диван и, уже без страха вспоминая о женщине в подъезде, уснул.

7

Зазвонил телефон. Протянув руку, Сингапур снял трубку.

– Здорово Сингапурище! – весело приветствовал Данил.

– Здорово, здорово, – Сингапур сел на диване. – Слушай, ты заходил ко мне сегодня?

– Нет.

– Блин, какая-то сволочь, прямо с ранья, разбудила...

Впрочем...

– Это не я, – отказался Данил.

– Ну и чего тебе с такого с ранья надо? – довольно уже, повторил Сингапур.

– С какого такого сранья? Время десять утра, урюк ты заспанный!

– Кто там засланный, мы еще посмотрим.

– Ладно, филолог. Как насчет: по пивку?

– Слышу разумную речь! Где и когда?

– Короче, меня матушка посылает за мукой, так что через полчаса подползай к гастроному, я тебя в кафетерии буду ждать. А там, муку купим, по пивку и весь день свободен.

– О кей!

– О би! – ответил Данил и повесил трубку.

Умывшись, одевшись, более не мешкая, Сингапур открыл дверь.

– Ё бля! – выдохнул он отшатнувшись.

Женщина. Она сидела возле окна, склонив голову и обхватив колени руками. Она увидела его, лицо ее изменилось, в порыве, она вскинула вперед руку. Сингапур обернулся, неминуемо ожидая увидеть за спиной черный силуэт. За спиной – освещенная солнцем кухня.

– Галя! – выдал он, поняв, кто эта женщина. – Ну и су... Ну и бля... О-о-о, – выдохнул он тяжело, даже склонился. – Ты же меня чуть рассудка не лишила, дура, – распрямившись, произнес он, все еще не придя в себя. – Воистину... в руку. – Он, наконец, отдышался, закрыл дверь, спустился к Гале, тоже порядком испуганной таким внезапным и эмоциональным выходом. – Ты чего здесь делаешь? – сверху вниз спросил он, вглядываясь в ее перепуганное лицо. – Давно сидим?

\*\*\*

Галя пришла с рассветом, пришла одна, без Паневина.



Пришла, что бы спасти Сингапура, что бы он отдал все и пошел за ней. Всю ночь не спала она, готовясь к этому серьезному подвигу – бросить все и пойти в народ. Быть странницей. Давно эта мысль волновала ее, пугало только одиночество. Не видела она защиты в Паневине, а в Сингапуре увидела. И решилась. Всю ночь не спала она, представляя, как выйдут они на главную площадь, он отдаст все, попросит у всех прощения, и вдвоем пойдут они, и все счастливые, будут плакать и провожать их... Галя плакала, представляя все это. Перед рассветом же, помолившись как умела, она вышла из дома и, полная чувств и веры, пешком через весь город, пошла к Сингапуру.

Самой отдавать ей было нечего. Жила она с отцом и малолетним сыном, которого она, как поговаривали, прижила от отца. Сплетня, конечно, жуткая; но мальчик рос каким-то болезненным и, не по детски, нервным, как будто его постоянно пугали и обижали. Да и это ни о чем не говорило... если бы не сама Галя. Она избегала своего сына и не так, как ненавидящая мать... она точно боялась его: называя адским отродьем, бесовским отпрыском... Много всяких таких эпитетов давала она ему еще в роддоме, откуда мальчика и забрал ее отец. Галя же, отказавшись от ребенка, ушла на день раньше, а, точнее, сбежала, оставив записку: «Дьявол в нем, дьяволу его и отдайте». На следующий день за мальчиком пришел отец. И, как это не покажется нелепым, забрав, записал ребенка как своего сына. Сбежавшую же дочь и не пы-

тался искать. Как и не было ее.

Она нашлась в психиатрической лечебнице, куда была доставлена из одного женского монастыря, в который пришла сразу из роддома, и где объявила себя святой, подговаривая монахинь отказаться от обмана человеческого и всего, что отворачивало бы от Бога, увлекая своей рукотворной красотой, и, конечно, от икон, созданных людьми. Всё это случилось не сразу. Первое время Галю любили и жалели, за ее суровый пост и усиленную молитву – всё, чем она занималась в течение дня, отказываясь даже от обычного труда, говоря, что пищу ей дает Бог – как птичке, которая не сеет и не жнет. Порой она отказывалась от еды на несколько дней, как и от сна, всё это время, стоя в молитве на коленях. Впрочем, молилась она не по-книжному, а... как-то по-своему. Разобрать же, что она говорила, было невозможно, как к ней ни прислушивались и как ее ни просили молиться, как положено. Целый день, на коленях, давала она поклоны кресту, начерченному ею мелом на стене и, что-то бессвязно бормотала. Как вдруг объявила, что ей явился Христос и назвал ее святою. Он простил ей грех – ее ребенка, и назвал святою. И, с этого дня, вооруженная словом Христовым, Галя стала проповедовать среди монахинь. Терпели ее недолго. Сперва просто попросили из монастыря. Она вернулась. Вызвали «скорую» и Галю увезли в психиатрическую лечебницу; откуда ее чуть позже забрал отец.

Особенно смущало всех то, что отец ее был вполне нор-

мальным, никоим образом не асоциальным человеком. Бывший военный, пенсионер, он работал вахтером на каком-то предприятии, получал пенсию, занимался огородом, выращивая помидоры и капусту, сам вел хозяйство, делая на зиму заготовки, всё сам. Жена умерла, с дочерью он был в прохладных отношениях, в сдержанно-прохладных, как настоящий военный. Так замечали соседи. Был бы какой-нибудь алкоголик или какой-нибудь... Но ведь нет. Обычный, во всех отношениях, подполковник в запасе; сдержанный, вежливый, немногословный и непьющий. Не мог такой... вот так вот... и со своей дочерью. Ну не мог. И сомнений ни у кого не было, что эта гнусная сплетня, не более того. Наверняка его сумашедшенькая дочь нагуляла где-то, где и сама не помнит, и на отца свалила. Хотя напрямую, Галя на отца ничего не сваливала. Записка вот только. И то, что отец записал внука, как сына. Но ведь это еще... Словом, все отказывались верить и... верили, но так, аккуратно – с «если бы», «может быть» и «как можно?»

Отец Гали получил квартиру и обосновался в Липецке, когда Галя пошла во второй класс. И за все время мнение о нем было исключительно положительное. Тем более что никто и ни когда не заметил, что бы этот высокий красивый мужчина привел в дом хотя бы одну женщину. Очень положительный мужчина – вот было мнение соседей. А мнение соседей, в провинциальном городе, являлось чуть ли не показательным мнением. Так как всё у всех на виду и... Сло-

вом, мнение соседей, это мнение соседей, и без комментариев.

И сама Галя росла милой, жизнерадостной девочкой, и общительной девочкой, общительной до странности, ни что не могло сломить ее поразительного оптимизма. Хотя сразу, только они переехали и Галя пришла впервые в школу... Эта открытая, наивная девочка хотела сразу со всеми подружиться, чтобы все ее полюбили. Только она вошла в класс, учительница представила ее: «Знакомьтесь, это Галя Иванищева, ваша новая одноклассница». Галя счастливая в порыве воскликнула: «Вы очень все хорошие, я вас очень всех люблю, и хочу, что бы... Хочу подарить вам всем конфеты, очень вкусные». – Не дав учительнице и возразить, пошла по рядам, следом шел ее папа, с большим пакетом конфет в руках; каждому она вываливала по горсти, сколько хватала ее рученька, простеньких карамельных конфет с фруктовой начинкой... Это был не самый послушный класс, и дети – конечно мальчишки, тут же и принялись есть эти конфеты, а фантиками швыряться. Все оставшиеся конфеты были немедленно отобраны учительницей. Неловкая получилась ситуация. Галин папа крайне смутился. Галя, молча просидела урок; на переменке, не выдержав, только прозвенел звонок, закрыла ладошками лицо и зарыдала. И никто этого не заметил. Только учительница, и то, когда уже все выбежали из класса, и Галя Иванищева осталась одна. Но к следующему уроку, она вновь улыбалась и, со счастьем на лице, под-

ходила к каждому знакомиться.

Так получилось, что во дворе, где она жила, больше никого не было из ее класса. Делая значительные крюки, Галя обязательно провожала кого-нибудь до подъезда, много рассказывала о себе, о своем папе, потом желала здоровья, счастья и, только проведив окончательно, только тогда шла домой. Провожая и рассказывая о себе, она обязательно приглашала всех на свой день рождения. Намечался он только зимой, в декабре, но Галя всякий раз, только провожала кого-нибудь кого еще не провожала, обязательно приглашала, подробно рассказывая, какие будут угощения, и как ее папа замечательно готовит.

– Обязательно приходи на мой день рождения, я очень буду тебя ждать, – просила она.

– А когда у тебя день рождения? – спросила девочка, которую Галя провожала.

– Семнадцатого декабря. А у тебя? – вежливо спросила Галя.

– А у меня... сегодня, – глядя куда-то в небо, ответила девочка. Ответила просто так, сама не зная зачем; день рождения у нее давно прошел, но вот захотелось ей так ответить. Она помахала Гале ручкой и вошла в подъезд. А вечером пришла Галя. А девочка давно забыла, что сказала Гале. Ведь ничего такого она и не сказала, ведь не приглашала же она Галю. Да и догадаться не могла, что Галя не зная номера квартиры, спросит его у соседей. Девочка вовсе не собира-

лась обманывать Галю, а сказала это просто так; мало ли что может сказать маленькая девочка. Некоторые девчонки говорят, что у них в квартире живет говорящая морская свинка или домовенок, а некоторые, что, вообще, их папа самый сильный и может поднять целый дом, только не хочет. Маленькие девочки любят что-нибудь такое сказать, и забыть. И эта девочка сказала и забыла. Уже собиралась на улицу выйти погулять, как в дверь позвонили. Она открыла дверь, а на пороге Галя. Стоит в нарядном платьице, белом-белом, стоит, счастливая, и коробку в руках держит, ленточкой перевязанную.

– С днем рождения тебя поздравляю, – сказала, и коробочку ленточкой красивой, голубой-голубой, перевязанную протягивает. А девочка покраснела... Не думала она... и не приглашала, и... вылупилась в испуге и в испуге спросила:

– Тебе чего? – А тут еще и брат ее старший выглянул, думал к нему пацаны пришли. Смотрит на Галю. Галя уже не уверенно говорит, а коробку все ниже опускает:

– С днем рождения... тебя... поздравляю.

А старший брат и спросил, усмехнувшись:

– Это какой еще день рождения?

Ручки у Гали совсем опустились, коробочка, ленточкой голубой-голубой перевязанная, выпала. Галя ладошками лицо закрыла, заплакала и убежала. И девочка, которая так Галю обманула, заплакала, и гулять не пошла. А на следующий день вернула Гале коробочку, даже не заглянула, что в коро-

бочке, и извинилась. И Галя простила ее и очень сожалела, что не было дня рождения, она ведь весь день подарок выбирала и сама платьице гладила, и коробочку брать обратно не хотела. Потом, все же, взяла. А девочка эта, после и подходить боялась к Гале, и разговаривать с ней не хотела – боялась. И другие девочки ее остерегались и не дружили с Галей, потому что Галя со всеми хотела дружить, а нельзя так – со всеми дружить... А потом что-то случилось с Галей, выросла может быть... К пятому классу ни с кем уже не общалась и никому свою дружбу не предлагала. Так и училась до девятого класса, тихая, незаметная. Всё книжки какие-то читала, музыку странную слушала; называла себя хиппи и мечтала о нирване. В девятом классе вовсе школу бросила и уехала, то ли в Питер, то ли в Москву. Возвращалась, вновь уезжала, жила в каких-то общинах, поклонялась Перуну, учила Буддизм, занималась медитацией и тантрическим сексом, и верила, что Христос женился на Марии Магдалине, уехал в Индию и стал йогом... Потом эта история с Минковичем. И никто ничего толком не мог сказать об этой девушке. Ее избегали, ее остерегались. Странная она была.

Неуверенно Галя поднесла руку к кнопке звонка; все-таки раннее утро. Но ведь он сказал – завтра. А вот оно завтра, вот оно – уже здесь. Галя нажала кнопку. В воскресной утренней тишине звонок протрещал особенно резко, даже противно резко. Но тем увереннее Галя нажала кнопку еще раз... и

еще раз.

– Кто? – испуганный спросонья голос.

Галя промолчала. Замерла, не дыша, как в детской игре «Море волнуется раз...», не в силах побороть этот внезапный страх.

– Кто? – теперь вопрос прозвучал настороженно и даже с угрозой. – Вот уроды, – и слышно было, как Сингапур отошел от двери.

Больше Галя не решилась его беспокоить. Покорно она спустилась к окну и, опустившись на корточки возле батареи, прижалась к ней; сидела тихо, точно боясь отсюда своим дыханием показать, что она здесь – ждет его. Склонив голову, обхватив колени руками, так и сидела, что-то беззвучно бормоча.

– Ну, – как можно суровее повторил Сингапур, – давно сидим, спрашиваю, товарищ почетная святая?

– Я... за тобой, – произнесла Галя, поднявшись, и неуверенно заглядывая ему в лицо. – Пора, – сказала она торжественно.

– У-у, – протянул Сингапур, все поняв. – Вы, я вижу девушка с характером. Только знаете... Я передумал. Я своему слову хозяин – захотел вот и передумал. Так что... счастливо оставаться, – сказав, он быстро, не оглядываясь, даже что-то напевая, вышел из подъезда. Галя нерешительно вскинула руку остановить его. Рука опустилась, Галя припала к сте-



не, растерянно смотря в пустоту подъезда, где был Сингапур. Хлопнула входная дверь – Сингапур вышел на улицу – стало тихо.

\*\*\*

Данил ждал Сингапура за столиком в кафетерии, смотрел Муз ТВ, пил пиво и поглядывал на часы.

– Ты прямо как девочка, – увидев Сингапура, воскликнул он. – Сорок минут прошло!

– Автобусы плохо ходили.

– Какие автобусы? Тебе пешком идти пятнадцать минут!

– Лениво, – сев за столик, сказал Сингапур, уставившись в телевизор, где жуткий негр, виляя задом, пел, в компании блондинистых красоток в бикини:

– Я шоколядный заяц

Я лясковый мярзавец

О-о-о...

– Будешь, блядь, тут расистом, – произнес Сингапур, отвернувшись от телевизора. – Погоревать не дадут, сволочи, – процитировал он.

– И кто она, эта твоя новая горе-печаль, – подмигнул Данил, – не уж-то та юродиво-святая?

– Ты провидец, что ли? – посмотрел на него Сингапур.

– А у тебя разве есть другие печали, кроме барышень?

– Кто-то грозился «по пивку»? – напомнил Сингапур.

– Ты бы еще сорок минут автобус подождал. Ладно, муку купим, а то мне будет от матушки и по пивку и по... другому

месту, – он поднялся. – А потом и по водочке можно.

– Пошли, – махнул Сингапур.

Они вошли в бакалейный отдел. Очереди не было, за прилавком стояла девушка- продавец, невысокая, лет двадцати, в синем фирменном переднике и колпаке. За кассой – еще одна, такая же молоденькая, в кокетливой набок, береточке. Увидев парней, она поправила фартук и приосанилась.

– Здравствуйте, – поздоровался Данил, – Извините, у вас мука хлебопекарная есть?

– У нас вон мука, – кивнула продавец на витрину.

– Вот эта, в десятикилограммовом мешке, она хлебопекарная или общего назначения?

– А какая разница? – недоуменно посмотрела на него продавец.

– Ну, она какая, – повторил Данил отдельно, – хлебопекарная или общего назначения?

– Да из нее из всей всё пекут, и оладьи и блины, – ничего не поняв, ответила продавец.

– Вы мне скажите, она хлебопекарная или нет? – повторил Данил.

– Да какая вам разница, из нее всё пекут – она ж мука! – не выдержала такой бестолковщины продавец.

– Да я не спрашиваю, что из нее пекут! – не выдержал и Данил. – Я спрашиваю, какая она!

– Вы, молодой человек, не хамите! – вступилась девушка-кассир. – У нас эту муку и для кафе покупают, и лаваш

из неё пекут, она вся у нас с одного хлебзавода.

– Мне не интересно, с какого она, блин, завода, – завелся Данил, – вы мне что, не можете ответить простой вещи – какого назначения мука? Вы бирку на мешке посмотрите, там написано.

– Вам надо, вы и смотрите, – обиделась девушка-кассир.

– Я бы рад, да у вас мешок на витрине, к покупателю задом стоит, – съехидничал Данил. Сингапур, развеселившись, слушал, впрочем, тоже не понимая – какая Данилу разница, какую муку брать.

– Девчонки, правда, даже интересно, он же не отстанет; скажите ему, какая у вас мука, – добродушно попросил он.

– А чего он умничает, – духарилась девушка-кассир. – Муку ему особую подавай. У нас она вся одинаковая, вся высшего сорта. И все покупают и не жалуется, никто еще назад не возвращал.

Продавец в это время сходила и принесла бирку от мешка. – На, смотрите, – протянула она бирку Данилу. Прочитав бирку, он победно ткнул пальцем в надпись:

– Смотрите, написано: мука общего назначения. И я у вас, в который раз спрашиваю – у вас есть хлебопекарная мука в десятикилограммовом мешке?

– Тебе что, хлеб из нее печь? Тоже мне, пекарь выискался, – обидевшись, пробурчала продавец.

– Волосы отрастил, а совести нет, – заметила девушка-кассир, и ответила резко. – Нет у нас никакой хлебопекарной,

у нас она вся одна, с одного хлебзавода, и другой специальной, – съязвила она, – нету.

– Пошли отсюда, – кивнул Данил.

– И какая ему разница, – в недоумении, в след ему пробурчала продавец, – делать нечего, ходят, издеваются, работать не дают. – Настроение у нее было испорчено на весь день.

– Вот... додельные, – только выйдя из магазина, возмутился Данил. – Вот какая им... разница, – вскричал он, – что я буду делать из этой муки?! Они что не могли по-человечески ответить?

– А, правда, какая разница? – примирительно спросил Сингапур.

– Объясняю для идиотов. Мы хлеб не покупаем, у меня матушка сама хлеб печет. И для этого нужна мука хлебопекарная, – по слогам произнес он. – Объясняю, – сказал он, глядя в ничего не понимающее лицо Сингапура. – Есть краска художественная, и есть – оформительская. Качество помола. Теперь понял?

– Теперь понял, – кивнул Сингапур.

– Нет, ну ты только вспомни! – разошелся Данил, – ну вот додельные же. Вот им всё надо. Ну и страна!

– Они просто, как и я, не знали, что и мука имеет свою классификацию, а показать не хотели, вот и возмущались.

– Они бы лучше бирку сразу показали, идиотки. Ладно, пошли в другой магазин.

– А в другом есть? – усомнился Сингапур.

– Она и в этом была, – раздосадовано ответил Данил, – но матушка у меня же экономка, она просила большой мешок купить килограммов на десять. Куплю в двухкилограммовых, – вздохнул он.

Купив пять пакетов муки – теперь хлебопекарной, занеся ее домой, парни, не задерживаясь вышли на улицу.

– Ну чего? Берем и того, и того, и к тебе? – спросил Данил. – А то после такого шопинга, выпить охота, и уже не только пива.

– Ко мне? – вспомнив, дрогнувшим голосом, повторил Сингапур. И ответил, с каким-то отчаянием. – Пошли ко мне! Черт с ней!

Они вошли в подъезд.

– Подожди, – Сингапур замедлил шаг, остановился, прислушался. – А, ладно! – махнул он, и нарочито твердо, стал подниматься на свой этаж.

Галя стояла возле окна. Увидев Сингапура, хотела что-то сказать. Не замечая ее, угрюмо смотря себе под ноги, он подошел к двери.

– Здравствуйте, – кивнул ей Данил.

Сингапур открыл дверь, не оборачиваясь, вошел в квартиру, забыв о Даниле, дернув дверь за собой.

– Э, ты... – Данил успел схватить за дверную ручку.

– А... извини, – ответил Сингапур, все не оборачиваясь, прямо зашел в кухню.

Дверь закрыл Данил.

– Сингапур, ты чего это? – спросил он.

– Ничего, – выставив на стол водку и пиво, ответил Сингапур. Открыл дверь холодильника, и хотя там, кроме банки консервов из морской капусты да бутылки растительного масла ничего не было, долго смотрел с видом чего бы такого выбрать. Взяв банку консервов, захлопнул дверь. Взяв консервный нож, стал в тихой, во все нарастающей ярости, кромсать банку, нож, выскользнув, полоснул, у основания большого пальца руки, держащей банку; выступила кровь.

– Бля-я, – застонал он. – Сука! – нож, следом банка, с размаху влетели в пол.

– Круто, – негромко присвистнул Данил.

– У-у... ё-ё, – стонал Сингапур, полотенцем замотав раненую руку.

– Давай водкой промоем...

– Ты чего! – Сингапур отнял бутылку. – Так заживет, – сказав, приложился к горлышку, но глоток сделал слишком суровый – тошнота подступила, кулаком зажав рот, сморщившись, процедил: – Дай пива. – Запив водку, вернул баклажку Данилу. Отдышавшись, опустился на табурет и отвернулся к окну.

– Ты чего, трахнул ее? – кивнул на дверь Данил.

– Хватит острить, – Сингапур поднялся. – Пошли в зал. Водку возьми. И рюмки. И капусту, – в сердцах махнул он.

Подняв, лишь на пару сантиметров прорезанную банку, обмыв ее, обмыв консервный нож, вскрыв банку, выложив

капусту на тарелку, взяв из хлебницы хлеб, со стола нож, вилки, две рюмки, водку – под мышку, хлеб, прижав к груди, тарелку на ладони, баклажку за горлышко между пальцами – все сразу – кое-как, Данил донес до зала, выставил, выложил на столик. Сел в кресло.

– А теперь, рассказывай, – сказал он, прямо посмотрев на Сингапура.

– Она здесь все утро уже стоит. Ждет, – в растерянности, глядя куда-то в пол, произнес Сингапур. – Она... на голову – абсолютно. Понимаешь? – он взглянул на Данила. – Абсолютно, – повторил он.

– Ситуация, – согласился Данил. – А чего ей надо-то?

– Скажу – не поверишь. Спасти меня.

– В смысле? – не понял Данил.

– В прямом, – сквозь зубы процедил Сингапур. – Хочет, что бы я продал квартиру, деньги раздал нищим, и пошел за ней, куда глаза ее глядят.

– Не кисло, – удивился Данил. – Ну и... пошли ее... умницу такую. Типа муновцев что ли?

– Похлеще. Она сама – святая... Но ведь искренняя... блин. И действительно – бескорыстная. Хуже не придумаешь – такая до абсолюта все доведет... До Голгофы.

– Скорее до психушки или приемника-распределителя, – без шуток заметил Данил.

– С утра стоит, – точно только сейчас осознав все время, – произнес Сингапур. – Это же она приходила, а еще было тем-

но... Это же... это же часов шесть не больше. А сейчас?

– Сейчас двенадцать – полдень, – уточнил Данил со всей серьезностью.

– Это же получается... шесть часов!

– Шесть часов, – кивнул Данил.

– О-ху-еть, – по слогам заключил Сингапур.

Какое-то время сидели молча, точно переваривая эту... ситуацию.

– А если она вообще не уйдет?

– Сингапур, давай ее... впустим, что ли, хоть покормим.

– Давай, покормим, – кивнул Сингапур, поднялся. – Ты, иди, впусти ее... Нет. Я ее впущу, а ты на кухню; там, в столе, макароны есть, гречка, рис есть. Свари ей что-нибудь. Хорошо? – в крайней растерянности, он посмотрел на Данила.

– Да без вопросов, – пожал плечами Данил.

Решившись, как в кабинет зубного врача, вышел Сингапур на лестничную площадку.

– Иди сюда, – поманил он Галю.

Неуверенно, вошла она в квартиру.

– Данил там сейчас сварит рису или чего там – макарон... Ты поешь, он провел ее в зал, усадил на диване, – А потом домой... хорошо? Договорились?

Лицо ее было припухшим и крайне изможденным, бессмысленно смотрела она на Сингапура.

– Хорошо? – повторил Сингапур. – Да ты... приляг, поспи, – увидев ее лицо, сказал он, ладонью прикоснувшись к



ее плечу. – Ляг, – сказал он, в какой-то даже, жалости.

Что-то прошептав невнятное, она легла, поджав ноги. Сингапур стянул с ног ее сапожки. Галя уже уснула.

– Спит, – сказал Сингапур, когда Данил вернулся из кухни.

– Там макароны, – кивнул Данил, – готовы скоро будут.

– Спит, – развел руками Сингапур.

– Сам тогда поешь?

– Знаешь что? – Сингапур поднялся из кресла, постоял, подумал. – Пошли отсюда.

– В смысле?

– В прямом.

– А... – кивнул Данил на Галю.

– Спит, – пожал Сингапур плечами. – И, слава Богу, – прошептал он. – Я, при ней... Водка не полезет, и вообще, – шептал он, боясь разбудить ее, – лучше где-нибудь в подъезде или в забегаловке, чем... вот здесь.

– А она... как же?..

– А что она? В любом случае, дверь захлопывается, проснется и уйдет.

– А если нет?

– И не говори об этом, – в нетерпении замахал Сингапур, – и думать не хочу. Проснется и уйдет – всё. Пошли. Макароны отключил? – Данил вышел в кухню, отключил макароны. – И отлично, – следуя за ним по пятам, говорил Сингапур, – я сейчас, как страус – голову в песок и... пошли ско-

рее.

– С полотенцем? – кивнул Данил на замотанную руку Сингапура.

Сняв полотенце, бросив его в раковину, замотав руку носовым платком, Сингапур, уже на выходе спросил:

– У тебя, кстати, хоть какие-то деньги еще есть?

– Какие-то есть.

– И достаточно, – заключил он, о-о-очень осторожно хлопывая за собой дверь.

Водку они допили в подъезде соседнего дома, всё это время обсуждая эту ситуацию и предлагая всевозможные варианты ее разрешения.

– А вдруг... проснется, увидит... Она же грозилась картины мои сжечь! – ошалело воскликнул Сингапур.

– Ты не шутишь?

– Какие тут шутки!

– Тогда пошли – пока не поздно!

– Поздно, – сурово остановил его Сингапур. – У тебя, кстати, деньги есть?

– Да, – кивнул Данил.

– Пусть жгёт.

– Да ты чего?

– А... все равно, – махнул он. – Будь что будет. Пусть жгёт, – он вдруг насупился, слезы выступили, покраснев, он пробурчал, сглотнув; – Раз так – пусть всё жгёт. Всё. Дрянь я художник. Пусть...

– Перестань, – устыдил его Данил.

– Нет – я дрянь, дрянь – художник. И картины мои дрянь, и... пошли в какую-нибудь забегаловку, где из старого магнитофона поет какой-нибудь Наговицкий, а за буфетом стоит усталая тетя Зина, продает, разбавленную водой водку и прокисший оливье, где за столиками сидят мужики, пьют эту водку, закусывают оливье, слушают Ноговицкого и... Пошли, Данилка... потоскуем.

– Пошли, – обняв его, растроганно согласился Данил, – потоскуем.

Они подходили к забегаловке; возле входа, оперевшись рукой в стену, нетвердо стояла старуха, казалось, она была пьяненькая и плакала. Двое суровых мужиков утешали ее.

– Во блин, – кивнул Сингапур, – вся Россия спилась. Даже старухи, и те... – он, в сердцах, махнул. – Подожди, сколько у тебя денег-то... хватит нам?

– Да хватит, – ответил Данил, сам расстроенный видом пьяненькой старухи.

– Ты уверен?

– Что же ты такой параноик, – Данил достал деньги, – вот, смотри, – он показал несколько купюр, в основном десятки и полтинники. – Хватит. – Сингапур стал пересчитывать, Данил пересчитывал вместе с ним. Увлеченные, не глядя, вошли они в двери закусочной. Непривычно тихо. Ни музыки, ни пьяных возгласов. Как один они подняли головы.

Столики были сдвинуты в ряд и за длинным столом, си-

дели люди. Молча, в суровом негодовании смотрели они на двух молодых людей, с деньгами, вставшими в дверях.

Справляли поминки.

– Здравсте, – сказал Данил.

– Извините, – сказал Сингапур.

Продавщица за прилавком, сделала им нетерпеливый жест – идите отсюда. Парни вышли из закуской.

– Ой, сыночек мой, ой соколик! – тихо плакала у входа старуха.

– Ну, это... – утешали ее мужики. – Ну, ты... это, перестань.

Парни скоро зашагали прочь.

– Что ж нам так везет сегодня, – произнес Сингапур.

– Как никогда, – согласился Данил.

– Впервые вижу поминки – в забегаловке, – удивился Сингапур. – Обычно же дома, как положено. Бабушка вот моя... Мне сон сегодня приснился, – лицо его изменилось. – Бабушка покойница приснилась.

– Звала?

– Нет, я за ней рвался.

– Не к добру это.

– Знаю. Предупредила она меня. Она точно как чувствовала. Просто так они ведь не являются.

– Это точно.

– Пойти, что ли на кладбище сходить, проведать ее?

– И помянуть, – согласился Данил.

Они уверенно зашагали к автобусной остановке.

– А говорил, что атеист, – напомнил ему Данил. – Я это не для того, что бы тебя обидеть. Просто, ты же часто говорил – что ты атеист. А видишь как – и атеистам души умерших являются – и предупреждают.

– И правильно. А то, что атеист – не отказываюсь, – ответил Сингапур.

– Странно, – заметил Данил.

– Ничего странного, – Сингапур закурил, – мой атеизм сводится к отрицанию Бога как такового – и только. А потусторонний мир я не отрицаю и душу признаю, и не вижу в этом ничего противоречивого. Не хочу я Бога признавать и церковь не хочу признавать. И атеизм мой... – он задумался, продолжал все напряженнее, точно подбирая нужные слова. – Весь это материализм... Убогий он какой-то. Страх в нем детского еще больше, чем в слепой вере. Но в слепой вере, этот страх подавляется обещанием Царствия Небесного. Поверишь в это царствие, пусть и на слово, и легче как-то, все есть надежда. А в материализме и надежды нет. Прах к праху. Какая уж тут надежда. А я всего лишь Бога отрицаю. Ведь, не известно, кто первый: курица или яйцо – я Бога выдумал или Бог меня создал? И кстати, те, кто в Бога верят, сами того не подозревая, меня же в моей Бога отрицающей вере и укрепляют. Что вы говорите? – он в самые глаза Данилу заглянул. – Говорите, что душа вечна. Всё – этого достаточно, чтобы Бога отрицать. Вечное не имеет ни начала,

ни конца. Ведь не может быть вечность наполовину: начало есть, а конца нет? Подожди Данил, – остановил он оскорбленного в своих чувствах и готового возразить Данила, – подожди. Я вот что сейчас тебе расскажу. В прошлом году я попал в больницу с пневмонией. Ничего особенного, провалялся месяц... как-то... Это случилось где-то за неделю до выписки. Впрочем, это все неважно... Лениво мне было подниматься пешком на пятый этаж, я решил лифтом воспользоваться. Такой большой грузовой лифт. Вошел в него, нажал кнопку пятого этажа... А эта зараза... чего-то там перемкнуло, опустил меня аж в подвал и вырубился. Буквально – застрял и свет погас. Темнота абсолютная. Жму кнопки – все подряд – результат ноль. Сначала так – раздражение лишь... Но я ведь даже время не могу проследить: сколько прошло: час? два? а, может, минут сорок или того меньше. Как можно почувствовать время, когда не чувствуешь даже стен на расстоянии вытянутой руки? Пустота. Небытие. Вечность. Только мысли. Ладно бы что-то видел, чувствовал... но темнота... Страшно. Что бы совсем не рехнуться, я стену лифта ладонями нащупал. Полегчало. Не вру, правда, очень полегчало, я чувствовал. Стены, пол под ногами. Это уже не пустота, не вечность, не небытие. Мысли уже легче потекли. Но все равно, о чем бы я ни думал, я всегда возвращался к одному – когда меня вытащат – когда обо мне вспомнят. Когда вспомнят – обо мне. О чем бы я ни думал, я неизменно возвращался к этим мыслям. А под конец уже и ду-

мать о другом перестал. Но все-таки были стены и пол. А если бы... вообще – только одни мысли. Точнее, только одна мысль – когда обо мне вспомнят? Жутко. И никаких физических страданий: ни жажды, ни голода – не было этого ничего. Все было в порядке, если бы не эта пустота... Обо мне вспомнили, меня вытащили из лифта; и пробыл я там, всего лишь, с полчаса... Вот и бабушка моя. Она ведь тоже, просит, чтобы ее вспомнили... Но умрет моя мать, умру я... И кто вспомнит тогда о моей бабушке? Ответ прост – никто. Небытие. И мысли, – он замолчал. Они так прошли две остановки, совсем не заметив этого, точно забыв, куда они шли, зачем. Данил слушал внимательно и молчаливо.

– Хорошо тем, кого помнят многие, – произнес Сингапур, – хорошо великим, их, хочешь не хочешь, вспомнишь, и помянешь, и не важно, каким словом, главное – что поминает; вытаскиваешь из этого небытия, избавляешь, хоть на время от этих навязчивых, однообразных мыслей. Иначе... вот оно – небытие, и вечность – прах к праху, из небытия в небытие. Страшно, – заключил он чуть слышно. Вдруг воскликнул: – Я хочу жить вечно. Чтобы помнили. Я не хочу жить долго, я хочу жить вечно. Вечно, – понимаешь, о чем я?

– А если все мы погибнем, – вдруг спросил Данил, – Все. Катаклизм, война? Кто тогда о нас вспомнит.

– Тогда – небытие фореве.

– Но это же и есть абсолютный атеизм-материализм...

– Нет, Данилка, не есть, совсем не есть – души, и друг о

друге вспоминать могут. Но, опять же, вспомнит о тебе одна душа или миллион? Или вообще никто не вспомнит – ни одна душа.

Зазвучала мелодичная музыка.

– Телефон? – удивился Сингапур. – Твоя мобила? У тебя есть мобила?

– да, – ответил Данил, достав из внутреннего кармана телефон. – Да, мама, – ответил он, – всё нормально... да мы тут с Федором, ну с Дроновым... Не пьяный я, с чего ты взяла... хорошо... Хорошо – я сказал же. Все мама, все. Приду. Скоро. Все, пока, – он засунул телефон обратно в карман.

– И давно у тебя эта игрушка; почему я не знаю?

– Я тебе говорил, и номер оставлял, только ты пьян был, наверное, забыл, – улыбнулся Данил.

– И давно он?

– Неделю, с прошлой пятницы. Матушка на день рождения подарила.

– Точно! Данилка!.. Извини ты меня, совсем забыл. И ты молчал? Чего молчал, почему не напомнил?

– Я и не справлял его... Я заходил к тебе в субботу, но тебя дома не было. И в институте тебя не было, и в пятницу, по-моему, тоже.

– Да, по-моему, тоже, – вспоминая, согласился Сингапур. Помолчав, добавил, точно оправдываясь, смущенно, но, очень стараясь быть шутливым. – Вот жалко! Знал бы, обязательно позвонил бы на твою мобилу. Поздравил бы.



– Ничего бы не вышло, я телефон отключил.

– В смысле? – не понял Сингапур.

– Чтобы никто не дозвонился, а то знаешь, все эти звонки, поздравления... – тоже старательно-шутливо, отвечал Данил.

– Так ведь никто не знал, что у тебя день рождения, и телефон – недавно купил... Зачем его отключать, если знаешь, что никто не позвонит?

– А вдруг, – Данил даже подмигнул. – Вот потому и отключил, вдруг, кто позвонит.

– Грустные вещи ты рассказываешь, – заметил Сингапур. – Другой бы все уши прожужжал, что у него мобила. Доставал бы ее при случае и без повода... Данил, прости, что забыл. Я... честно – забыл. Блин! – он в сердцах махнул, очень он расстроился такой, не к месту, забывчивости.

– С кем не бывает, – отвечал Данил, положив руку ему на плечо. – Сейчас, вот, чем не повод. С меня пиво.

– Да ладно, – отмахнулся Сингапур. – Хватит уже острить.

– Я и не острою.

– Ну, такой вот я, хоть режь, хоть стреляй.

– Не дури, пошли в кафешку – по пивку, – Данил повел расстроенного Сингапура в кафе.

У Данилы Долгова было много знакомых и приятелей, но никогда он не искал ни чьей дружбы и не навязывал своего общения. Он, вообще, был странный, этот Данил Долгов. Веселился вместе со всеми, пил вместе со всеми, был как все

– вместе со всеми, но никогда не напрашивался в друзья и не тяготил своими откровениями, даже по-пьяни, что, впрочем, было в порядке вещей. У него даже не было девушки – вообще не было. «Если я ее поцелую, она станет моей женой», – как-то обмолвился он в разговоре на эту пикантную тему. Ему удивлялись, даже позавидовали. Данила любил на факультете. Он был веселым, общительным, не брал денег в долг, не звонил никому по ночам, не выставял своего «я». Намечалась пьянка, звали его, охотно скидывался наравне со всеми; нет, деликатно уходил, никогда не обижаясь. Он, казалось, стеснялся людей, или себя среди людей. Хотя носил длинные волосы и внешне был очень заметен в своей неизменной черной экипировке. Данилу любил, и не понимали, чего он вяжется с Сингапуром. Сингапур раздолбай, пошляк, пьянь и бабник, и халявщик. Данил же... Если он когда и влезал в истории, то обязательно с этим Сингапуром. Не было Сингапура... Можно было подумать (и некоторые так и считали), что Данил был, каким-то... безликим, даже, утверждали некоторые – безвольным. Он вроде был со всеми, и вроде... Никто не знал, когда у него день рождения, любит он футбол или бокс, что он читает, какую музыку слушает. Он был, как все – смеялся, веселился, буянил – как все. Когда спорили – больше слушал, когда спрашивали – отвечал, но всегда или не всерьез или так, в общих чертах. Если бы не Сингапур, не было бы и тех пьянок-посиделок, когда после первого курса родители Данила уехали на юг.

– Интересная игрушка, – внимательно разглядывая телефон, комментировал Сингапур, – вон, сколько наворотов, – удивился он, – год будешь разбираться – не разберешься.

– В общем-то, да, – с заметной гордостью, согласился Данил: ему было приятно. – А ты себе чего не купишь? – спросил он.

– У меня уже был телефон, – неохотно признался Сингапур. – Тоже матушка подарила. Только я им пользовался ровно два часа. А потом вечером прогуляться вышел, рисовался с ним как девочка. Подростки какие-то, по башке настучали, и... – он отложил телефон. – Чего об этом вспоминать.

– Ты не рассказывал.

– Разве о таком хочется рассказывать? Вот если бы я им по башке настучал, тогда да – тогда бы я об этом неделю на каждом углу трепался, а так... Пить надо меньше и шляться по тёмным переулкам с телефоном напоказ. Так что, правильно, что ты им не светишь.

– Наверно, – ответил Данил.

– Все-таки странно, – произнес Сингапур. – Он у тебя уже неделю, а никто об этом не знает. – Он взял телефон, набрал «контакты». – Не густо. – Были лишь номера отца, матери, сестры Данила, и домашний Сингапура. – Удивляюсь я тебе, – он отложил телефон. – Слушай, не могу понять, – воскликнул он, – ведь получается, ты его отключил тогда, чтобы, типа, душу себе не теребить. Вроде, день рождения,

должны вроде бы поздравлять. А ты точно знал, что никто не позвонит... Но ведь хотелось, чтобы поздравили... И – отключил. Как бы надежда – может, кто и звонил, и хотел поздравить, а я – вот вам – недоступен. Ничего не понимаю. Получается, тебе приятно внимание, но ты его, как-то... – он не нашелся, что сказать дальше. – Не понимаю, – воскликнул он.

– Ну и... ладно, – улыбнувшись, Данил спрятал телефон во внутренний карман.

– Получается, ты еще более одинокий, чем я, – сказал Сингапур, пристально вглядываясь в лицо Данилу.

Данил не ответил.

– Вот давай пооткровенничаем на эту тему, – завелся Сингапур. – Это же страсть, как интересно.

– Нечего здесь откровенничать, – ответил Данил. – Ну отключил и... чего там.

– Нет, это все крайне интересно, – продолжал Сингапур. – Ладно, я, меня только ленивый не посылает. Меня, наверное, больше чем Сма, посылали. Я, по-настоящему, могу считать себя, если не полным изгоем, то уж частичным – точно.

– Хватит ерунду нести.

– Нет, правда. Люди меня избегают, я же, напротив, им докучаю. Может и в пику – оттого, что избегают – и докучаю. Но ты... тебя же... – он вновь не нашелся, что сказать.

– А зачем друзей выдумывать, – просто ответил Данил. – Зачем обязывать кого-то чем-то. Так, потрещать, пивка по-

пить. А день рождения, это подарки, поздравления. У людей и своих забот хватает. Жить надо незаметно – тогда будут замечать. Нужно быть самодостаточным, не зависеть от чужого общества. Тогда и обществу ты будешь не в тягость – вот и все.

– Какая достойная философия, – съёрничал Сингапур. – Нужно быть членом общества, незаметным, но крайне необходимым винтиком в общей системе. Данил, это же пошло.

– Это не пошло, это нормально. Пошло, когда двадцатилетний парень ведёт себя, как подросток...

– Это ты про меня?

– Это я вообще. Пошло быть вне возраста и не думать о будущем.

– Нет, это ты про меня, – обиделся Сингапур.

– В общем-то, смешно, – вдруг согласился Данил, – что ты считаешь себя великим художником, ничего еще не добившись и... висишь у матушки на шее. Даже не учишься. Еще два года, и твоему величию придет конец. Надо будет работать, как-то зарабатывать на жизнь.

– Ну, хватит уже... ты меня еще поучи, – раздраженно воскликнул Сингапур. – А то мы договоримся... Не заставляй меня думать о тебе хуже, а то и меня сейчас понесет, стану тебя обвинять в обывательстве, в мещанстве, и прочее и прочее, – он отмахнулся. – У тебя, Данил, все четко: ты получишь свою корочку и устроишься куда-нибудь.

– Не куда-нибудь, а к отцу на предприятие, дизайнером, –

ответил Данил, – а вот где ты будешь. Что будешь есть ты, когда окончишь институт, и уже стыдно будет быть ижди-венцем?

– Я буду жрать ваше говно. Буду надоедать вам своим величием, и буду вечным укором – что я не скурвился, не погнался за рублем, а остался самим собой – художником, творцом. Кем, кстати, вы все мечтали быть, в свое время, но обстоятельства...

– Да не мечтали мы быть великими, – ответил Данил. – Эта ниша вечно твоя и ни кому, кроме тебя, не нужна. Никто здесь тебя не подсидит. Быть великим накладно, мы более скромны и не готовы на такие расходы – мы не стремимся к вечности, мы хотим жить долго и счастливо – по крайней мере, я.

– Вот и договорились, – совсем скис Сингапур. – Давай закончим. А то я по-настоящему на тебя обижусь.

– Не обидишься, – ответил Данил. – Ты слишком себя любишь.

– Почему я раньше не замечал, что ты такой умный? – съехидничал Сингапур.

– Ладно, надо педагогику делать, завтра сдавать, – Данил поднялся. – Не обижайся на меня, – он протянул руку.

– Я не обижаюсь, – Сингапур пожал руку.

– Ну, я же говорил, – улыбнулся Данил.

– Да ну тебя! – повеселел и Сингапур. – Ладно, я тебя отпускаю, но с тебя еще пиво.

– На улице, в ларьке – там дешевле, – уже свободно отвечал Данил, хлопнул Сингапура по плечу. – Пошли – великий.  
– Па-ашли, – поднялся Сингапур.

## 8

Вплоть до позднего вечера, Сингапур шатался по городу, все придумывая к кому бы заглянуть в гости. Получалось, что не к кому было... Замерзший, ходил он, по давно исхоженным дворикам, заглядывая в знакомые окна и подъезды. Денег не было, кончились сигареты, хмель выветрился, а он все бродил, задрал голову, напевая какие-то песенки и убеждая себя, что никто ему не нужен, что у него есть гораздо больше – целый город, его город. И что он будет великим, и, что они еще все – все будут искать его дружбы и его общества, а он... а вот он... Работать надо – творить, биться. Сказал: художник, значит – бейся, – твердил он, сам уже не веря... Потому что... денег не было, кончились сигареты, хмель выветрился... И... правильно, что... Нечего биться. И – что потом? Потом что? жрать их говно? Все эти мысли, эта злоба, обессилили его. Он устал. Хотелось упасть на диван и утупиться в телевизор. Домой?

Галя.

Он только сейчас вспомнил о ней. Вспомнил и яростно стал стараться забыть...

К Данилу. К кому же еще ему идти!

\*\*\*

Данил лежал в своей комнате на диване и сосредоточен-

но читал педагогику, когда в комнату вошла его мама, невысокая, кругленькая, с невообразимой фиолетовой химией на голове, но милая и добродушная, таких так и хочется назвать тётушка.

– Даня, это к тебе, – сказала она.

– Спасибо, тетя Света, – поклонившись ей, как всегда, в пояс, Сингапур вошел в комнату.

– Учтите мальчики, сегодня никаких прогулок, Дане надо курсовую делать, – предупредила она и даже пальчиком погрозила.

– Ни-ни-ни, – замахал ей Сингапур, – я буквально на минутку, а потом сам, сам пойду делать курсовую.

Тетя Света закрыла за ним дверь.

– Ну, и как успехи? – как ни в чем не бывало, Сингапур плюхнулся на диван. Жутко он был смущен, не хотел идти к Данилу... и виноватым он себя чувствовал и оскорбленным и... неизвестно чего творилось в его взбалмошной голове, пока он заставлял себя идти к Данилу... Оттого и вел себя в эту минуту как ни в чем не бывало. Даже с каким-то вызовом.

Данил спокойно отнесся к его появлению, он отложил книгу, поднялся на диване, пожал Сингапуру руку. – Соскучился? – спросил он.

Сразу Сингапур обиделся. Сдержался, усмехнулся.

– Скучно, – ответил он.

– А я вот – педагогику, – вздохнул Данил.



– А в интернет – не судьба? – неожиданно оживился Сингапур.

– Если честно, я об этом даже не думал, – сам себе удивился Данил.

– А чего тут думать! – Сингапур пришел в себя, говорил оживленно, исчезла обида. – Наливай и пей! Если что – помогу!

– Ладно, – Данил поднялся, потянулся, – пошли.

Они вошли в комнату Олеси, младшей сестры Данила, где был компьютер. Олеся, такая же маленькая и кругленькая как мама, сидела в темноте, освещенная экраном монитора, увлеченно, неумело тыча двумя пальцами, что-то набирала на клавиатуре.

– Опять в своем чате! – негромко рявкнул Данил. – Тебе для чего компьютер купили?

Олеся вздрогнула. Она была так увлечена, что и не заметила, как брат вошел в комнату.

– Еще раз так вякнешь, вообще сюда не войдешь, – ответила она и вновь уткнулась в монитор.

– Ну-ка, ну-ка, – склонился над ней Сингапур, – посмотрим, чем дышит сегодняшняя молодежь.

– Воздухом, – отшила его Олеся.

– Так, так, и давно ты у нас Принцесса? – развеселился Сингапур; усмехнулся и Данил, так же склонившийся над Олесей, и с любопытством читающий реплики переписывающихся.

– Ну и прозвища, – усмехнулся он.

В этот момент пришел ответ для Принцессы, то бишь для Олеси, ответ был от субъекта назвавшего себя «Алкоголик и придурок»: «Принцесса, ты классная чувиха, – писал Алкоголик и придурок, – мы тут с чуваками сидим, бухаем, пиво пьем за твое здоровье».

«Ты тоже классный чувак», – немедленно ответила Принцесса.

«Я ищу тех, кто любит Никиту Малинина! Кто любит – отзовись!!!» – писала какая-то Мимоза.

«Короче, мы из Липецка, это самый крутой город на свете, потому что Липецк – город Миккирурков», – уверял кто-то по прозвищу Пуля.

«Самый лучший город – Рязань», – отвечал ему Бумер.

«Принцесса, а тебе нравится Никита Малинин?» – спрашивала Мимоза.

«Да, и еще Панайотов», – ответила Принцесса.

– Олеся, – в комнату заглянула тетя Света, – пойд ко мне.

– Ну чего еще? – недовольно воскликнула Принцесса.

– Пойди, я тебе говорю.

– Щас.

– Не щас, а пойд ко мне, я тебе говорю, – уже приказала она.

Поднявшись, Олеся вышла из комнаты.

– Так! – потер руки Сингапур.

– Ты чего, Олеска прибует, – остерег его Данил.

– Сейчас мы вдарим рок в этой дыре.

«Принцесса, а что ты думаешь о группе «Звери»?» – появилось на экране от Алкоголика и придурка.

«Звери маздай! – немедленно ответила Принцесса. – Пиво пошло для идиотов, а ты урюк!»

«Чего???» – появилось на мониторе.

«Урюк фореве», – огрызнулась Принцесса.

«К нам присоединилась Очаровашка», – появилось на мониторе.

«Я вас всех люблю», – говорила Очаровашка.

«Очаровашка маздай», – немедленно ответила Принцесса.

«Очаровашка покидает нас», – тут же возникла надпись.

«Принцесса, что с тобой???» – спрашивал Алкоголик и придурок.

«Меня покусал опоссум, – отвечала Принцесса. – А ты урюк».

«Если ты так будешь дальше, тебя все проигнорируют», – предупредила Мимоза.

«Мимоза дура, а Малинин урюк», – все зверела Принцесса.

«Принцесса, мы тебе сочувствуем, что тебя покусали, – посочувствовал Пуля, приезжай к нам в Липецк, мы тебя вылечим, у нас полезная минеральная вода».

«Липецк – город идиотов. От вашей воды хомячки дохнут. Липецк маздай. Хомячки фореве!» – ругалась Принцесса.

«Принцесса, ты глупая дура».

«Принцесса, мы объявляем тебе бойкот».

«За хомячков ответишь!!!»

Заявили разом Мимоза, Алкоголик и придурок и Пуля.

Вернулась Олеся.

– Так, пошли отсюда, – подтолкнул Сингапура Данил.

Они только успели выйти за дверь.

– Данила!!! Козлище!!! – завопило из комнаты.

– Пошли по-резкому, – Сингапур уже натянул казаки, Данил только успел одеть один ботинок.

– Убью! Козлище!!! – выскочила из комнаты Олеся, – К компьютеру больше – во! – показала она дулю. – И все игры твои постираю!

– Мотаем отсюда, – схватив Данила за локоть, Сингапур вытащил его из квартиры, Данил успел натянуть второй ботинок, и накинуть куртку.

– Ну все! – говорил он, быстро спускаясь по лестнице и застегиваясь. – Теперь будут мне пропистоны!

Они вышли из подъезда.

– Да, что там у тебя, – вспомнив, спросил Данил, – ушла твоя гостья?

– Не вспоминай, – отмахнулся Сингапур. – Если правду сказать... Данил... страшно мне домой возвращаться, не поверишь, страшно. Я вот и к тебе зашел, думал – так, зашел, а ведь подсознательно чувствовал... Давай, вместе до меня дойдем.

– Ты, прямо, как маленький, – усмехнулся Данил.

– Тебе, конечно, смешно, верю охотно, сам бы поусмехался. Данил, я даже не представляю, даже представить себе боюсь, что сейчас там, у меня дома.

\*\*\*

Галя очнулась ото сна; за окном поздний вечер. Она не сразу поняла – где она. Наступившие сумерки обесцветили комнату: только темные квадраты на стенах и непонятные пугающие силуэты на столе... Что-то, свернувшись, лежало в кресле. И на полу. Затаившись, Галя вглядывалась в эту живую наполненную чем-то комнату.

– Федор Сингапур, – негромко произнесла она.

Ответа не последовало. Посидев еще, Галя осторожно ступила на пол. Сапожек не было. Шаг – скрипнула половица, еще шаг... На носочках, не включая свет, обошла она пустую квартиру, всякий раз замирая от скрипа разошедшегося пола; долго стояла, вслушивалась; где-то работал телевизор, какие-то звуки с улицы, проехала машина. Но здесь, в квартире, все было тихо... только шелканье кварцевых часов. Стоило бы включить свет. Галя боялась этого. Глаза привыкли к темноте. Она осмотрела дверной замок. Конечно, стоило включить свет, и нашлись бы и сапожки, и проще бы было открыть дверь, но... Она вернулась на диван.

Не высидев и пяти минут, вновь стала осторожно ходить по комнате, на каждом шагу натываясь или на какую-нибудь тряпку или пустую бутылку... Возле кресла, где был этюд-

ник, остановилась, заглянула на лист, с которого наблюдала белая женщина. Долго Галя вглядывалась в эту картину, освещенную уличным светом фонарей и окон соседнего дома. Свет падал мягко, четко выделял белый блестящий силуэт. Галя осторожно пролезла между этюдником и креслом, села в кресло. Теперь можно было разглядеть и подъезд, где у стены сидела женщина. Невольно Галя коснулась ее головы пальчиком, точно погладив, провела она по контуру, краска легко поддалась, контур смазался, пальчик окрасился белой масляной краской. Не зная, что делать, Галя вытерла пальчик о край юбки. Но что делать с картиной? Полукруг, оставленный пальчиком точно покрыл женщину уродливой наполеоновской шапкой-треуголкой; что-то униженное осталось в облике женщины. Галя в ужасе теперь смотрела на свое творение. Нужно было исправлять, убирать эту уродливую набекрень шапку. Пальчиком, она попыталась стереть ее, шапка размазалась, смешалась с цветом подъезда, превратилась в растрепанные, уже грязно-зеленые, волосы. Выбравшись из кресла, Галя подбежала к двери. Нужно было бежать. Пока не вернулся Федор Сингапур. Бежать. Она стала дергать ручку двери. Конечно – сначала отомкнуть замок! Она крутила ручку замка, крутила ее до упора в обе стороны, дергала дверь. Замок упрямо не открывался.

– Сволочи, сволочи вы! Я не хочу жить! – проснулся сосед этажом ниже. – Водки, похмелиться, сдохну я! – в бессилии хрипел он, в панельной хрупкой тишине старой хрущевки.

За стеной сделали звук телевизора громче.

– А сейчас вы испытаете гордость за наш русский народ. Готовы? – победно восклицал юморист Задорнов.

– Водки! – сияясь, орал сосед.

– Готовы?! – еще победнее повторил юморист.

Опустившись по стеночке, на пол, запустив пальцы в волосы, Галя беззвучно зарыдала.

– Не хочу жить! – все тише хрипел сосед.

– Готовы?! – все громче восклицал юморист. – Они – наши русские – знаете, до чего додумались?

Галя, до боли заткнула ладонями уши. Громкий многототенный хохот прорвался сквозь ладони. Галя зарыдала, в голос, уже ничего не слыша, опустившись на пол, скрючившись возле двери, не чувствуя как дверь толкала ее...

Открыв железную дверь, Сингапур пытался открыть вторую, деревянную, упирающуюся в свернувшуюся возле входа Галю. Наподдав, Сингапур отодвинул Галю, пролез в проем, тут же включил свет.

– А! – воскликнула Галя. Она повернула к Сингапuru свое ошалевшее сморщенное лицо. Сингапур остолбенело смотрел на нее. В квартиру протиснулся Данил.

– Ого, – произнес он, тоже встав и уставившись на скрюченную на полу Галю.

– Картины! – воскликнув, Сингапур бросился в зал. В зале вспыхнул свет... Все было в порядке. Сингапур внимательно оглядел стены, где висели картины – все на своих местах. Он

вернулся в коридор. Галя все лежала на полу.

– Ты чего? – спросил он, поняв все по-своему. – Глюки? Поднимайся, – он протянул ей руку, – поднимайся, говорю, а то лежишь тут...

Она не дала ему руку, спрятала, заведя за спину.

– Хватит дурить, – Сингапур схватил ее за плечо и поднял. Галя упиралась, падая на колени.

– Блин, и что с ней делать? Вставай! Нечего здесь валяться, у меня полы затоптаны. – Он с силой поставил ее на ноги, вялые в коленях. Галя упорно не хотела подниматься с пола.

– Ну все, – Сингапур поволок ее в зал, решив, что раз уж лежать – то на диване.

– Нет! – Галя вырвалась. – Нет, – ползком, на корячках, выскочила в открытую дверь в подъезд.

– Во блин! – только и сказал Сингапур.

– Босиком, – заметил Данил.

– За ней! Во, бля, такая, – Сингапур схватил стоявшие все это время у двери под вешалкой, Галины сапожки, и выскочил вслед за Галей.

Она спряталась на первом этаже, забравшись под лестницу в самую глубину. И затихла.

– Ты ее видишь? – спрашивал Сингапур, стоя посреди двора.

– Нет; как сквозь землю, – отдышливо ответил Данил, успевший пробежать двор, добежать до автобусной остановки и вернуться. – Не может она так быстро... Мы же... сразу



за ней выскочили.

– Босиком... во, дура! – выматерился Сингапур; поднял руки, точно сейчас швырнет эти сапожки. – Ну, и что теперь? – опустив руки, посмотрел он на Данила. Тот пожал плечами.

– Пошли домой, – сказал Сингапур и зашел в подъезд.

4

– Простудится – как пить дать, – сказал Данил, когда они поднимались к квартире.

– Небось, менты заберут, – в надежде произнес Сингапур. – Босиком, по снегу... вот же!.. Дверь за ними захлопнулась.

Забившись в самую грязь, Галя сидела, боясь выбраться из своего убежища. Из подъезда кто-то вышел, потом кто-то зашел. Галя все сидела, боясь даже переменить позу, хоть как-то выдать себя.

Она и время потеряла, сидела тихо, смотря в одну точку, вдруг поднялась, выбралась и пошла босиком по снегу, не чувствуя ни холода, ни обиды. Смотрела под ноги, наблюдала, как падают снежинки, мягко-мягко, как в январе, тая, опускаясь на черные шерстяные носочки. Потом уже ветер усилился, но Галя не замечала, шла себе и шла, как странница.

Сингапур проводил Данила, посмотрел еще раз на сапожки, хотел выйти, Галю посмотреть – а вдруг. Отмахнулся, поставил сапожки на место, вернулся в зал. Сел в свое кресло.

Он совсем забыл о картине. Он взял сигарету, зажёл спичку, уже поднес спичку, что бы прикурить...

– Вот блядь такая! – выкрикнул он, затушил спичку, швырнул сигарету. – Вот ведь блядища малахольная, святоша! – в крик ругался он, понося Гаю, на чем свет стоит, посылая ей в спину такие жуткие матюки, что самому противно стало. Выругавшись, взял новую сигарету, закурил. Взял кисть и осторожно стал править картину.

В постель он ложился с мыслью, что, в общем-то, все это и к лучшему: что Галя так надругалась над его картиной. Теперь у него будет не убиваемый повод послать ее ко всем чертям. Пусть она хоть оранжевую палатку возле его подъезда разобьет. Черта с два он теперь пожалеет ее такую... Послав еще парочку матюгов ей в спину, он укутался в одеяло и уснул.

Проснувшись, умывшись, собравшись в институт, подумал, положил сапожки в пакет, решив, что отдаст их Паневину. А куда их еще?

Он сидел в кресле, пил чай, зазвонил телефон.

– Да, Данил, привет, – приветствовал он. – Всё нормально, – ответил он, отставив чашку с чаем, – никто не заходил. Да... сижу вот, пью дерьмовый чай, морщусь, словом, утро удалось. Я, знаешь, что вот сейчас думаю, – он взял пачку чая, внимательно изучая ее, – все-таки паскудно мы живем. Я, вообще, про нас, про русских. Дурят нас все, обма-

нывают... чего это я, спрашиваешь? Да так, нашло что-то. За окном снег, ветер, слякоть, на Украине бардак, пенсионеров льгот лишили, не любит нас никто... грустно. Сижу вот, пью гаденький чай, думаю – плохо мы живем. И нисколько не пытаемся бороться с этим, – он вздохнул. – Раньше хоть интеллигенция, поэты, писатели – умы народа волновали, потому их боялись. Сейчас наше государство никого не боится. Интеллигенция скурвилась, писатели, сами себя, кастрировали, все какие-то бесплодные стали, если и волнуют то... говорить вслух даже стыдно, что они там волнуют. Пишут, о чем не страшно, за что не отругают: о позапрошгодних революциях, о нехороших коммунистах, благородных бандитах и печальных олигархах, и еще о высоконравственных педерастах, – добавил он, отхлебнув чаю и поморщившись. – Хоть кто-нибудь написал бы о сегодняшнем дне – без слезинки, без пафоса, без патриотической лжи и наивной справедливости. Хоть кто-нибудь взял бы и написал, что президент – урюк. Правильно – боятся. Про Ельцина уже не боятся, про Сталина и вовсе, а еще безопаснее – о террористах позапрошлого века... Не писатели, а пудельки стриженные. Вот хоть кто-нибудь написал бы, что чай «Принцесса Нури» – говно помойное. А то ведь написано, – он стал зачитывать с пачки: – «Характерная черта этого чая – нежный аромат, хранящий свежесть горного воздуха, благоухание цветов и трав. Его так же отличает полнота вкуса, приятная терпкость и гармония завершенности букета». Чего сме-

ешься? Я, думаешь, тебя развлекать с утра надумал? Вот заставить бы этих... писателей, которые это насочинили, каждое утро пить вот это высокогорное говно, которое смердит помойкой и отдает ароматом вокзального сортира. Ведь, как издеваются, – он зачитал: – «Коллектив «Орим Трейд» желает Вам здоровья и приятного чаепития», – и восклицательный знак поставили. Смешно? Бабушка рассказывала, что раньше, если написано на пачке: чая индийский высший сорт – то и в пачке – чая индийский высший сорт. Сейчас пишут «конфетка», открываешь пачку, а там говно. И так во всем, – он вздохнул. – Честно, Данил, нашелся бы настоящий отчаянный парень – настоящий Бакунин, а не этот... елот в очочках. Честно, я бы первый пошел за ним, и первый взял бы гранату и – за угнетенный, спившийся, Народ, взорвал бы весь этот Блядский дом, со всем этим блядским правительством. И все врут, Данил, все врут. Всем же понятно, что бандитов благородных не бывает. Нет же, пишут, снимают – какие они благородные и справедливые. Ведь известно: пидоры – это пидоры, это Содом и Гоморра. Нет же, целые токшоу проводят, объясняют нам, что гомосексуалисты – нормальные люди, которые тоже хотят жить семьей и воспитывать детей. У меня такое чувство, что половина нашего правительства – бандиты, а вторая половина гомосексуалисты и иже с ними. А иначе, как-то подозрительно странно борется оно с преступностью и еще подозрительнее радуется за нравственность. Народ весь споили, скурвили, пенсионеров обо-

красли, как те мальчишки из «Бориса Годунова» – отняли последнюю копейчку. Чего ты смеешься, Данил, я тебе серьезные вещи рассказываю, а ты... Они же, сволочи, дурят нас, продают в красивой упаковке дерьмовый чай... И куда не глянешь – точно соревнуются: кто приятнее лизнет президента. Тебе от этого не тошно? А мне тошно, – он отхлебнул чаю. – Чувствую, напьюсь сегодня – в знак протеста. Зайду в деканат, где, под портретом нашего зализанного вождя, сидит декан – взяточник и паскудник, и плюну в его заплывшую от вранья рожу, это и будет моя маленькая граната. А пусть отчисляют. Зато хоть не будет тошно. – Он повесил трубку. Оделся, взял пакет, где лежали Галины сапожки, и вышел из квартиры.

На площадке второго этажа, спиной к окну, навалившись задом на подоконник и, для дюжей устойчивости уперевшись в него руками, еле стоял крупный обрюзгший мужик, рядом пацаненок лет четырнадцати, сын того самого беспокойного соседа.

– Ты его напоил? – сурово отчитывал мужика пацаненок.

– Ну я, – стараясь быть внушительным, отвечал мужик; кивнув, голова его рухнула на грудь; медленно лицо вернулось на место, впрочем взгляд угрюмо утупился в пол.

– Ты его напоил?! – еще суровее повторил пацаненок.

– Ну я, – с тем же старанием величия кивнул мужик, голова вновь рухнула на грудь.

– Еще раз его напоишь, я тебе... До дома не дойдешь, я

тебе всю харю перелломаю! – горячо выдал пацаненок. – Понял?!

– Ну, понял, – невозмутимо ответил мужик, кивнул, чуть на пол не свалился, руками взмахнул – Сингапур и пацаненок отпрянули; качнувшись в сторону, удержался, уперевшись ладонями в стену.

– Пройти можно? – Сингапур похлопал мужика по спине.

– Да, – шагнул тот к стене и замер, ноги в стороны – как при задержании.

– Опять отца напоил, сволочь, – пожаловался Сингапuru пацаненок.

– Ну, напоил, – буркнул мужик, кивнул, и лбом в стену.

– Бывает, – ответил Сингапур, обошел мужика и вышел из подъезда. Уже на выходе, следуя запаху, глянул под лестницу, его аж передернуло – под лестницей лежала куча дерьма.

– Скорее бы весна... сволочи, – прошептал он, быстро шагая через замусоренный двор, где возле каждого подъезда торчал колышек с синего цвета табличкой, где аккуратным белым шрифтом было написано: «Уважаемые жильцы, пожалуйста, не мусорьте, территория вашего дома не убирается в связи с отсутствием дворника».

Сырость пробирала до нутра, гаденько и знобливо сводя мышцы. Сингапур уже до удушья запеленал себя, натянув воротник до затылка и так стянув полы пальто, что карманы поменялись местами. Он не стал ждать автобуса и влез в маршрутку, посчитав, что лучше последние шесть рублей

заплатить, чем свихнуться в ожидании автобуса.

До института оставалась сотня метров. Автобус стоял в пробке во втором ряду. Частенько, если автобус шел в первом ряду, на светофоре кто-нибудь просил (если у задней двери – жал на кнопку вызова), и водитель выпускал нетерпеливого пассажира.

– Кто там такой неугомонный? – раздраженно воскликнул водитель.

– Шеф, открой. – Сингапур, как и многие, обернулся. У задней двери стояли два парня-студента. Сингапур и раньше видел их, знал, что учились на филфаке.

– Второй ряд, не видишь что ли?! – ответил водитель.

– Да мы быстро, шеф.

– Куда быстро, на тот свет?

– Машины же стоят, – парней раздражала непокладистость водителя. – Че тебе трудно, что ли?!

Водитель не ответил.

– Ну ты че! Че, те трудно открыть? Не бойся, мы быстро. Бля, ща дверь выломаю, – помолчав и не дождавшись ответа, негромко произнес один из парней, второй усмехнулся. – Шеф! – воскликнул нетерпеливый. – Хорош тупить, открывай.

– Что вы к водителю пристали, – возмутилась женщина, – он же ответил – второй ряд.

– А кто тебя спрашивал? Я не с тобой разговариваю. Сидишь и сиди, – осадил ее парень.

Салон равнодушно молчал, словно и не было ничего.

– С мамой так своей разговаривай, – обиделась женщина.

– Ты, бя, маму мою не трожь! – обиделся парень. – Ты сидишь и сиди. Нашлась тут.

Салон равнодушно молчал, словно и не было ничего.

Автобус двигался медленно, светофор уже дважды сменил цвета, пока автобус, наконец, миновал его. Женщина, что-то оскорблено шептала, себе под нос, больше не влезая в пререкания. Парни громко, что-то обсуждали. Подъехали к остановке. Парни вышли, неспехом закурили, постояли возле ларька, купили пива и, только после, неторопливо, прикладываясь к горлышку, зашагали к институту. Злой, Сингапур шагал следом. Очень ему хотелось наказать хамов... но, вот парни взошли на крыльцо, взошел и Сингапур, парни бросили в снег пустые бутылки, хотя урна стояла в пяти шагах, зашли в институт. Сингапур, давясь злобой, следом...

– Сингапур!

Он обернулся. От остановки торопился Данил. Сингапур дождался его, они поздоровались.

– Чего это с тобой? – спросил Данил. – Чего такой озверевший, к встрече с деканом готовишься?

– Вроде бы я и не трус, – произнес Сингапур. – И этих двоих, запинал бы, как щенят. Но ведь не сделал этого, – нервно вздрагивая, процедил он. – Не сделал, – повторил он железно.

– Ты о чем? – не понял Данил.



– Главное, НИКТО не возмутился. Битком был салон, и парней, и мужиков... Салон был битком, и никто, ни один человек. Словно и не было ничего.

– Ты можешь толком-то объяснить, – не выдержал Данил.

– Есть курить?

Данил протянул ему сигарету. Сингапур закурил.

– В прошлом году, полгода – весну и лето, в нашем подъезде жили цыгане, снимали квартиру, семья человек десять, – рассказывал он, то и дело глубоко затягиваясь. – Из Молдавии приехали. Полгода в подъезде и возле, была удивительная чистота. Они каждое утро, от третьего до первого этажа подъезд мыли. И возле подъезда мусор убирали, цветочки посадили, лавочку починили – жили, как у себя дома. Отец их, дед лет шестидесяти, сам веником, каждое утро возле подъезда мёл, целыми днями на лавочке сидел, курил или по двору прогуливался. Алкаши наши мусор, бутылки, закуску после себя оставят, он убирал все – спокойно, без отвращения – как свой личный двор после ухода гостей. У соседа машина сломалась, цыган этот, починил ему машину, за бесплатно. Как-то я видел, как он во дворе парикмахерскую устроил – стриг наших алкашей... Он вел себя, – Сингапур прямо посмотрел Данилу в глаза, – точно это его личный двор, и ему было неприятно, что на его дворе лежит мусор, ему было неприятно, что по его двору ходят неухоженные мужики, он их очеловечил, стрижки им сделал. Вот зачем ему это? И, главное, ему это было, что называется, не

в падлу. Он просто жил – как и должен жить человек в своем дворе – в чистоте и порядке. Я разговаривал с ним – интересно стало. Он ответил: «Мне неприятно в грязи жить. Им приятно. Мне нет». Бабульки недоумевали; алкаши во все над ним посмеивались, считали за шестерку. Его за человека не считали, да и всю его семью. Говорили: «Цыган нам только не хватало, понаехали тут, черножопые конокрады». Я спросил у него: «Почему приезжие не любят наш город?» Он ответил: «Вы сами здесь друг друга не любите. Жалко мне вас». Осенью они съехали, – он замолчал, взглядом провожая входивших и выходящих из дверей института парней и девушек, их лица. Много было красивых лиц, красивые парни в красивых куртках, красиво курили в компании красивых девушек, одетых в красивые плащи и красивые сапожки. Много было красивых лиц... веселых не было, больше надменные, или ироничные, а которые и смеялись, смеялись как-то громко, чтобы слышно было, что смеются они. У многих были телефоны, и те, которые разговаривали по телефону – громко разговаривали – чтобы все слышали, чтобы все знали.

– Прав цыган, – разглядывая эти красивые лица, сказал Сингапур, – не любим мы друг друга. Посмотри на этих людей. Красивые, холеные, а нет в них породы. Дворняжки – заласканные, прилизанные... неуверенные в себе дворняжки... брехливые и вздорные – даже которые умные. Хвостиком виль-виль – дай мне, красивой, конфетку. А случись,

облают, и, что бы сзади забежать, да за ногу тяпнуть. А замахнись на нее... Только и есть, что красивые, а пользы – один брех. От того, что сами беспородные, и держат в квартирах азиатов да ротвейлеров – которые службу знают, которые попусту не брешут, а замахнись на хозяина – полруки оттяпают... Ненавижу этот город, – устало, весь выдохшись, стоял он прикрыв веки и, казалось, засыпая.

– А про цыгана я ведь не все сказал, – не громко произнес он. – Уехали-то они уехали... Только цыган этот спился. Совсем спился. Вместе с алкашами нашими и спился. Как они стал, – он тяжело глянул на Данила. – Вот в чем все и дело – как они стал... как мы... как мы все. За один месяц скис, уже и на лавочке лежал, и под лавочкой... под своей же лавочкой, в своей же блевотине. Он с дочерьми и с внуками жил. Сыновья его каким-то бизнесом занимались. Они его и забрали. Вот так вот. В один день: приехали на мерседесах и ауди, вещи погрузили, и словно и не было их. Лавочку, уже через неделю сломали, палисадник сломали, цветы вытоптали – напрямик через клумбу путь к подъезду короче. Вот и все... Я знаешь, что думаю: правы эти националисты, Россия – для русских. Нет в России ни евреев, ни цыган, ни татар, ни даже немцев. В России выжить может только русский. Страна такая – всех перемелет – всех русскими делает. Как не будешь крепиться, а в России жить, по-русски выть. А иначе – смерть. Чужаков Россия не любит. Она их изгоняет. Своих душист – от души; чужаков изгоняет. Страш-

ная страна, нетерпимая. Терпеливая, но не терпимая. Унижения, оскорбления терпеливо сносить будет – от чужаков, потому что черт их знает этих чужаков. А, может, денег дадут, опохмелят, а нет, и нехай с миром идут – от греха подальше. А вот своих! Со своими нечего цацкаться! Своих к ногтю. Потому как она, Россия – один большой грех. А от греха подальше. А ежели уж в грехе живешь... Ежели в силах жить. Значит русский ты. Русский и есть. Россия для русских, – эхом повторил он, глядя на красивых молодых людей, стоявших возле института. – Для беспородных непомнящих родства иванов.

– Чего-то ты совсем...

– Сам же такой, – чуть слышно произнес он, болезненно морща лоб. – Сам же пес беспородный. Женщине нахамили. Я молчал. Дескать, не моей же матери нахамили, вот, если бы моей, тогда бы я да, тогда бы я им... Напьюсь я сегодня, – уже прошептал он. Лицо его было до болезненного бледным, низко склонив голову, тёр он ладонями виски. – Голова болит, – прошептал он.

– Мне, что ли, с тобой напиться, – не шутя, произнес Данил. – Умеешь ты, Федор, настроение испортить. При мне тоже, сколько раз хамили, и я – как и все, молчал. Не мое дело. Не мне же хамят... Умеешь ты настроение испортить, – подытожил он. – Пойдем, звонок через пять минут.

– А что у нас?

– Паневина, педагогика, – ответил Данил.

– Точно напьюсь... – он поднял голову к небу. – Где она сейчас, эта Галя.

– Ну, ты уж совсем, – укорил его Данил.

– Ладно, пошли, – взглянув на Данила, он улыбнулся, – пошли, а то правда – совсем я.

Высидев первую пару, после он подошел к Паневину.

– На вот, – протянул ему пакет. – Гале отдашь.

Паневин молча взял пакет.

Больше не разговаривая с ним, Сингапур дождался Данила, вместе вышли на крыльцо, где курили человек десять парней с худграфа. Поздоровавшись, с кем не здоровался, Сингапур отошел в сторону. Данил, постояв в общей компании, подошел к Сингапуру.

– Сегодня наши, после лекций собираются к Кристине сходить, навесить ее. Я слышал, ты в пятницу у Димы там начудил.

– Видишь как, – покосившись на компанию однокурсников, ответил Сингапур, – не начудил бы, не вспомнили бы Кристину. И, поди, разберись, – заключил он. – Ты знаешь, – помолчав, сказал он, – я, наверное, тоже ее проведу. После них, конечно, – сказал он, увидев лицо Данила.

– Думаешь, стоит?

– Думаю, стоит. Впрочем... Там видно будет. Они же у нее не допоздна. Часов в девять зайду к ней. Примут – хорошо. Нет... – он смолк. – Ладно уж, – прошептал он, глядя на угрюмые, залепленные снегом автомобили. Не было вид-

но ни тротуаров, ни асфальта, вместо улицы – грязная рыхлая лужа, по которой, утопая и хлюпая, кутаясь в серые, сырые одежды, спешили люди... И снег, липкий нескончаемый снег.

– Знаешь, чего я боюсь, Данил? Сорваться. Копится все, копится. Галя, алкаши наши засранцы, все эти вот красивые люди, хамы эти из автобуса... Возьму вот, заставлю себя, и сорвусь. Понимаешь? Заставлю и сорвусь. Хоть насильно заставлю себя быть породистым.

– Морды хамам бить будешь?

– Зачем сразу морду. – Он, в нерешительности, хотел сделать шаг... Решился, подошел к лежащей на земле упаковке от чипсов, поднял ее, поднял несколько окурков, и, вернувшись, опустил всё в урну.

– О, Сингапур, ты что, дворником устроился? – пошутил кто-то.

– Закрой рот.....! – вся его утренняя злоба прорвалась с этим выкриком.

– Чего?! – с вызовом ответил парень.

– Я тебе, бля, ща устрою чего..... – резко, Сингапур отправился к парню.

– Э, э, пацаны, вы че!! – Сингапура перехватили. – Федор, остынь!

– Урою гада! – выкрикивал парень, которого тоже держали. – Порву .....!

Их успокоили.

– Козел, – уже остыв, контрольно огрызнулся Сингапур и зашагал прочь от института.

## 9

Он зашел к Кристине, как и собирался, после девяти вечера. Ему уже было все равно, будет там Гена или нет – все равно. Весь день, не замечая ни снега, ни дождя, вскоре мелкой изморосью сменившего снег, он замечал то, что раньше и не представлял, что на такое можно обратить внимание: плевки, жвачки, окурки, обертки, плюнутые, брошенные мимо урны; плюнутые, брошенные, прилично одетыми людьми с красивыми умными лицами. Люди плевали себе под ноги, бросали себе под ноги, швыряли себе под ноги. Плевали, бросали, швыряли. Плевали, плевали, плевали... Грязный, рыхлый, заплеванной, захарканной Город, сотнями, тысячами губ смачно втягивая воздух брызгал пенистой слюной, покрывая сам себя пузырящейся вязкой слизью; казалось само небо истекало этой мелко морозящей слюной, пузырящейся в бесконечно грязных лужах, упрямо покрывающих последний белый чистый снег целых полгода доброй тетушкой прятанный под своим подолом грязь и пошлость бесконечно любимых племянников. Это уже был другой город. Дождь смывал белый грим, и Город брезгливо ежилась, видя в лужах отражение своего настоящего человеческого лица.

– Это не мой город, – в каком-то внезапном брезгливом страхе, шептал Сингапур, сторонясь больших улиц и прячась

в старых, когда-то уютных двориках, но и там натыкаясь на ту же рыхлую грязь. – Не мой город, – повторял он все отрешеннее, – не мой.

Он устал. Уже не замечая ничего, шел, – все равно куда... к Кристине. Где бы он ни сворачивал, каким бы дорогами не шел, все ближе подходил он к ее дому, убеждая себя и отговаривая. Он не мог объяснить, зачем хотел ее видеть, вплоть до самой ее двери. И возле двери стоял, долго, все не решаясь нажать кнопку звонка. Ему нечего было ей сказать. Он представлял, что скажет ей, когда увидит. Конечно, первое, это привет, хорошо выглядишь и... в каком дерьме мы все живем милая, добрая Кристина, как тебе повезло, что ты сидишь в своем кресле и видишь лишь красивые картинки из телевизора... Чушь, бред... Чушь, – с этой мыслью он, не осознавая как, с силой вдавил кнопку.

– Кто там? – вопрос последовал так скоро, словно за дверью только стояли и ждали, когда позвонят.

– Здравствуйте, – не сразу ответил Сингапур и спросил: – А Кристина дома? – вопрос прозвучал до того нелепо... Дверь открыли. На пороге стояла мама Кристины.

– Здравствуйте, Зинаида Сергеевна, – покорно пригнув голову, приветствовал Сингапур. Не было ни во взгляде его, ни в голосе уверенности, и ничего он не мог с собой поделаться, стоял как потерянный, как пьяный.

– Ты выпил? – спросила Зинаида Сергеевна.

– Нет, – ответил Сингапур. – Просто боюсь, – признался



он, исподлобья выглядывая на Зинаиду Сергеевну.

– Ты, как всегда, оригинален, Дронов, – Зинаида Сергеевна всех помнила и звала по фамилии. – Заходи, раз пришел, – пригласила она, отойдя от двери. Она была совсем не строгая, но очень казалась такой. Длинные волосы, по-старомодному высоко закрученные вверх, когда Сингапур видел ее в последний раз, они были черные, теперь с проседью, и она даже не пыталась этого скрывать. Впрочем, это не было нарочито, просто она этого теперь не замечала. В простеньком халате в цветочек, в тапочках с бумбонами, даже такое домашнее одеяние сидело на ней, как строгий костюм, но выглядело естественно и достойно, и, опять же, ненарочито. Такая она была – строгая и внушительная, и первое чувство, которое она внушала, было уважение; спокойное негромкое уважение. Зинаида Сергеевна работала в Собесе.

– Проходи в зал, Кристина там. Одна, – подчеркнув, добавила она. – Не бойся, – улыбнулась.

– А! Дронов приперся! – из своей комнаты показалась невысокая энергичная старушка в замызганном халате, ее длинные черные волосы так же были накручены вверх. Подбоченившись, не скрывая неприязни, всячески подчеркивая ее, разглядывала она Дронова.

– Мама иди к себе, – внушительно сказала ей Зинаида Сергеевна.

– Бесстыдник, приперся. А ты! – она погрозила дочери, тыча в нее указательным пальцем с крупным малахитовым

перстнем. – Гена ходит, утку за ней выносит. А он – у! сволота! – погрозила она уже Сингапуру, потрясая пальцем, точно дулом револьвера. – Чего приперся?

– Заходи быстрее, – подтолкнула его в зал Зинаида Сергеевна.

– Сводница – вот ты кто! – кричала вредная старушка. – Я Гене-то все перескажу, как ты этого... привечаешь. Этого... извращенца.

– Мама, не смейте! – Зинаида Сергеевна захлопнула в зал дверь. – Идите к себе мама, – встала она возле двери.

Дверь за спиной Сингапура захлопнулась. В центре зала, возле круглого стола, спиной к двери, в кресле, сидела Кристина, смотрела телевизор. Помогая всем телом, тяжело повернула голову. По бабушкиным крикам она поняла, кто вошел, она была готова. Но... удивление и даже испуг отразились на ее худом широкоскулом лице. Но, сразу же – широкая приветливая улыбка.

Дверь распахнулась. В дверях стояла бабушка.

– Я с вами посижу. Проконтролирую, – заявила она.

– Ма-у... Э-э! – с угрозой замычала ей Кристина.

– Мама! – рявкнула Зинаида Сергеевна, и, буквально, выволокла бабушку и захлопнула дверь.

– Э-эуо, – Кристина, показывая, какая бабушка дура, попыталась скрюченными пальцами коснуться виска, даже голову для этого склонила, висок ткнулся в палец. – И эа, – подняв руку, она звала Сингапура.

Неуверенно подойдя к ней, сев на диване, он сказал:

– Привет, видишь как, – улыбнулся. Все, теперь из него нельзя было вышибить и слова. Он улыбался и смотрел на Кристину. Все та же красавица Кристина, все те же черные пытливые глаза, чистый высокий лоб, черные пышные, убранные в хвост волосы... родинка под нижним веком, как слеза. Все та же Кристина, только очень похудела. Совсем, очень похудела... и... эти худощавые скрюченные, даже вывернутые руки. Он не смотрел на руки, он смотрел на родинку-слезинку, он и в глаза не смотрел, все время он смотрел только на эту маленькую застывшую родинку у левого века. Вот когда ему стало не по себе, вот когда бы ему болтать и болтать, все равно о чем, как он болтал со всеми девчонками, да и, когда-то с, той еще, Кристиной. А сейчас он молчал, улыбался по-дурацки и молчал.

– Аэ-э, – промычала Кристина, протянув к нему руку.

– Вот, зашел... Думал, надо же, все таки... А тут твоя вездесущая бабушка, как коршун. – Он, не зная зачем, хихикнул, смутился, смолк.

– Уа а-а, – Кристина склонила висок к пальцу, улыбнулась.

– Ты про бабушку? – понял ее Сингапур, – да, она старушенция еще та. Помню, как она меня сразу невзлюбила. Да и я хорош, – он уже увереннее усмехнулся, – нечего было голым на кухню выходить, да еще пьяным, да еще желать, оказавшейся там бабушке, доброй ночи. Крику было. Были времена, – вздохнул он с улыбкой.

– Аа, эа! – улыбаясь во весь рот, соглашалась Кристина. Она помнила это. Она соглашалась – были времена.

– У тебя все по старому, даже попугай, – оглядевшись, кивнул он на клетку, стоявшей на шкафу, где так же, как и два года назад сидел нахохлившись волнистый зеленый попугайчик. – И ты, – он посмотрел ей в глаза, – Такая же... красивая, – сказал чуть слышно.

– Эа... а, – смутившись, пряча взгляд, ответила она. Ей было приятно.

– Ну что, поздоровались и хорошо, – вошла Зинаида Сергеевна с подносом, где стоял чайник, чашки и печенье в вазочке. – Будем пить чай. – Она поставила поднос на круглый стол.

– Будем пить чай, – повторила Зинаида Сергеевна, хотела повязать Кристине фартучек на грудь, Кристина смущенно сделала движение. – Хорошо, хорошо, – согласилась мама. – А то я могу и Дронову повязать, – пошутила она.

– Легко! – оживился Сингапур. – Мне хоть памперс!

Кристина резко покраснела. Сингапур увидел.

– Я это, я... – сам покраснел он. – Да дурак я! – воскликнул он, – дурак я неумный, и шутки у меня такие же. Ты, что, совсем забыла, какой я дурак неумный! – он засмеялся. – Ну, и какой у вас чай, – потирая руки, заглянул он в чашку с чаем, – надеюсь не «Принцесса Нури?»

– Чай у нас хороший, – отвечала Зинаида Сергеевна, тоже сперва растерявшаяся, но, как и Сингапур, все повернувшая

в шутку.

– Рассказывай Дронов, как живешь-поживаешь, – сев за стол, спросила она.

– Ответил бы, что потихоньку, но вы же знаете меня, я же, как локомотив – вперед и с песней! – очень старательно веселился он. – Раздолбайничаю, а так все по-старому: усиленно корчу из себя великого художника. Получается со скрипом, но я стараюсь – Сингапуры не сдаются! – заявил он, даже кулаком потряс.

– Мне всегда импонировал твой самокритичный оптимизм, – подыгрывала ему Зинаида Сергеевна. Теперь она всем подыгрывала, со всеми старалась быть шутливой и ироничной. Сингапур и вовсе разошелся. Движимый каким-то чутьем, он нес теперь все подряд, рассказывал самые невероятные, самые идиотские истории, выставляя весь свет, глупцами и шутами, и первым глупцом и шутом был именно он сам. Он старался, он смеялся. Кристина смеялась, беззвучно, широко раскрыв рот, до слез, утирая – растирая их скрюченной кистью по щекам, от того смеялась еще азартнее. Смеялась и Зинаида Сергеевна, очень старательно смеялась, заглядывая украдкой на Кристину. Кристина радовалась, от этого Зинаида Сергеевна еще старательнее смеялась, прощая Дронову и ненароком проскакивающие пошлости; но Кристина радовалась. И... не нужны эти степенные взрослые приличные разговоры. Пусть – и неприличные. Молодежь и должна чуть-чуть позволять себе такое, главное ве-

село. Главное, что шум, смех; главное, что Дронов не умолкает, уже и анекдоты травит, уже и с определенным смыслом... А как смеется Кристина... Зинаида Сергеевна незаметно вышла – пусть смеются... Она вышла незаметно. Сингапур умолк. Кристина сидела в кресле, он на диване, и не было больше никого. Ушла Зинаида Сергеевна. Не мог Сингапур в одиночку продолжать. Он оглядывал комнату, когда встречался взглядом с Кристиной, улыбался, отводил взгляд. И Кристина улыбалась и отводила взгляд. Ушла Зинаида Сергеевна, и незачем стало смеяться. Кристина все чаще отворачивалась к телевизору, и Сингапур сидел и смотрел в телевизор.

– Я сейчас, по-маленькому, – игриво подмигнул он, поднялся и вышел; с необычайным облегчением вышел. Заглянул в кухню. Зинаида Сергеевна мыла посуду.

– Ты почаще заходи, – сказала она, давно я не видела Кристину такой веселой. Конечно, пошляк ты еще тот, – она посмотрела на него. – Но почаще заходи, – попросила она.

– Как она? – спросил Сингапур.

– Врачи говорят, поправится. Время нужно. И, – она вновь посмотрела на него, улыбнулась, – и вот таких пошляков, как ты... почаще. – Она вздохнула. Позитив нужен. Смех нужен. Побольше шума.

– Кто-нибудь еще был сегодня?

– Ребята приходили. Давно никого не было. Гена ходит. Гена любит. Давно никого не было... Посидели, поутешали,

принесли цветов, апельсинов. И ушли. – Все это она произнесла негромко и, точно, сама себе. – Гена часто ходит, – повторила она. Ей смех нужен. А Гена... тоска. – Она закурила.

– Я не знал, что вы курите? – удивился Сингапур.

– Я и сама не знала, – отшутилась Зинаида Сергеевна. –

Приходи, – в который уже раз попросила она.

– Ма-э, – донеслось из зала.

– Кристина зовет, – кивнула ему Зинаида Сергеевна, –

иди.

Сингапур вышел в зал.

– Э ма-э.

– Маму?

– Аэ, – кивнула Кристина.

– Зинаида Сергеевна! – позвал Сингапур.

– Ну что случилось? – с улыбкой вошла Зинаида Сергеевна, вытирая руки полотенцем.

– А... п... э, – указала на диван Кристина.

– Букварь, – поняла Зинаида Сергеевна. Положила ей на колени букварь. Неумело раскрыв его, Кристина стала скрюченным пальцем тыкать в буквы – получались слова.

– Спрашивает, девчонку завел себе? – прочитала Зинаида Сергеевна.

– Ни-ни-ни! – замахал Сингапур. Парень я холостой... и вообще, я подумываю сменить ориентацию, а то все эти барышни – во они уже где, – он ладонью провел по горлу. – То ли дело небритые brutальные мужчины – это да.

– Это да, – снисходительно покивала Зинаида Сергеевна. Кристина заулыбалась. Сингапур разошелся и заговорил уже о Голландии, о своей скорой эмиграции и прочее, прочее, прочее – словом, старался, как мог. Кристина вновь что-нибудь спрашивала такое. Сингапур охотно врал.

– Ладно, мне надо еще по хозяйству, а вы тут, – Зинаида Сергеевна оставила их. И Сингапур умолк. Сидели молча. Неожиданно у него вырвалось:

– Смерть страшная?

Кристина отрицательно покачала головой и пригласила его к букварю.

– Помедленнее, – попросил ее Сингапур.

Медленно Кристина ставила пальцы на буквы. Сингапур прочел: «Я видела Бога». Сингапур не сдержался:

– И какой он, этот добродушный старикан?

Кристина поджала губы, сдержалась.

– Ты прости меня, – произнес Сингапур, просто за последнее время мне так много всего этого... Я сейчас в такую историю вляпался. Меня одна сумасшедшая спасти собиралась, в веру обратить. И вообще, что-то слишком много всего этого религиозного... Я точно в струю попал. Так что, я в этом смысле, что и ты – туда же... – Он смолк.

Кристина пригласила его к букварю. Но слишком быстро скакал по буквам ее пальчик. Не успевал Сингапур. А Кристина разволновалась, не могла помедленнее, ей хотелось говорить, она мычала, кряхтела, она очень хотела говорить. До



красноты в лице. Она устала. И Сингапур не выдержал:

– Не понимаю я. Давай я тебе анекдот расскажу. Бог с ним с этим Богом, сам не знаю, зачем ляпнул. Говорю – навалилось, нашло.

– Эа...кх...э, – отмахивалась Кристина.

Вошла Зинаида Сергеевна.

– Не понимаю я! – взмолился ей Сингапур. Кристина позвала маму. Склонившись, та прочла, ответила: – Хорошо. Если ты настаиваешь? – она неуверенно заглянула дочери в глаза. Та кивнула. – Хорошо, – неохотно согласилась мама, вышла из зала. Она вернулась скоро, в руках ее были отпечатанные на машинке листы. – Кристина тренируется, пальцы разрабатывает... – Вот, – она протянула листы Дронову. – Хочет, чтобы ты прочел.

– Сейчас? Здесь? – взяв листы, спросил он.

Кристина кивнула.

– Хорошо, – Сингапур стал читать.

И Кристина, и Зинаида Сергеевна демонстративно отвернулись к телевизору. Иногда лишь Кристина украдкой заглядывала на Сингапура, видела, что он читает, отворачивалась к экрану, где шел какой-то французский фильм с Луи де Финесом.

«Приходили врачи. Не все, но говорили, что у меня будет все нормально. Мой лечащий врач сказал, что я буду прикована к постели не на всю жизнь и скоро встану на ноги.

Он понимал мои чувства и не лишал меня права надеяться – меня и мою маму. Больше – ее.

Как мне там было плохо, особенно, когда приходила бабушка. Она была так груба со мной, что думала порой, не садист ли она. Приходили друзья. С какой жалостью они смотрели на меня, я хотела крикнуть: «Я та же!», но не могла. Потом другая больница. Часто приходил мой папа. Я считаю, если бы бабка не выгнала его, он бы был сейчас жив. Он пытался исправиться. Если бы она не мешала моим родителям жить, то все было бы у них нормально.

Потом было лучше и проще. Была моя мама. Хоть ей было и очень тяжело.

У меня начала отходить левая рука. Делали много уколов, массаж. Когда его делали, особенно ноги, была нестерпимая боль. Чтоб хоть как-то ее унять – плакала, становилось немного легче. Водили на барокамеру – противно.

Опять приходили друзья, опять смотрели с жалостью. Мне было больно от их взглядов. Приходил Сингапур – ему было тоже жаль меня, может, поэтому он говорил, что любит меня, если это так, то не стоило так делать. По крайней мере, это негуманно, и я не хочу, чтобы меня жалели, не хочу, чтобы делали одолжение. По-моему, честнее, лучше – просто уйти. Как тогда. Когда он молча ушел. Навсегда. Тогда он не жалел меня. Нельзя делать разницы между мной и мной. Я такая же. Я сильная. Я понимала, что представляла собой зрелище не для слабонервных. И все-таки, не стоило жалеть.

Мне кажется, что только Гене было приятно навещать меня. Милый скучный Гена. Он не жалел меня. Он по-настоящему любил меня, какой я была. Я благодарна ему. У любви нет той жалости, у любви есть сила и вера. А эта поганая жалость может сделать человека на всю жизнь калекой. К сожалению, я поздно это поняла. Хотя сейчас я занимаюсь, по мере своих возможностей. Когда одна, то печатаю и отжимаюсь, пишу, учусь разговаривать. Конечно, легче лишь лить слезы о своей несчастной судьбе, что я раньше и делала, к сожалению. Но я не понимала, что это все временно, и я буду нормальным человеком. **ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУ!** И заниматься спортом буду. А пока остается только работать над собой.

...Потом меня перевели в другую палату, этого я не помню. Когда я полностью пришла в себя, вот где был кошмар. Я чувствовала все, но не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже головой. Даже жевать не могла. Сама по себе я человек активный и пыталась шевелиться, но, увы, ничего не выходило. Медсестры думали, что я парализована и ничего не чувствую, – делали мне уколы в ногу – боль ужасная. Ночью я практически не спала – боялась, что опять провалюсь в кому или умру. Мне до сих пор кажется, что я – это не я. Я умею ходить и говорить и веду обычный образ жизни – это у меня раздвоение... Но когда понимала – страшно. Я ждала маму, как господу Бога. Она для меня была всем. **МАМОЧКА** дорогая, спасибо, что ты для меня такая. Я тебя люблю. Ты для меня всё.

Когда надо мной смеялись медсестры, я просила Бога, чтобы с ними не случилось того, что случилось со мной. Дай мне, Боже, терпения.

И много жалости было в глазах и словах. Не надо меня жалеть, значит, угодно было Богу, чтобы это произошло со мной. Думала, смейтесь, неизвестно, кому еще повезет больше – им или мне. Это, конечно, нехорошо так думать, но я сказала правду, и пусть меня накажет Бог за такие мысли. Я не права, я не хотела так думать, но думала.

Невосполнима та боль при потере друзей, любимого дела. Когда ко мне в первый раз пришел Сингапур, я не знала, радоваться мне или плакать. Мы расстались с ним. Как я его ненавидела. Только встречала на лекциях и хотела бежать – так я его ненавидела. А когда он впервые пришел. Когда я такая лежала. Не хотела, чтобы он видел меня такой гадкой. Как-то раз, когда мамы уже не было, – она ушла домой, – Сингапур пришел ко мне. Это было вечером в восемь часов. Он говорил, а меня сводило судорогой от его слов. Мне хотелось плакать, выть от боли, от душевной боли. Он говорил слова, которые, наверное, больше никогда не скажет мне. Именно эти слова держат меня сейчас. Я до сих пор живу этими словами, пусть они никогда не повторятся. Зато я их слышала от того, кого люблю.

Вот так проходили мои дни в больнице. Именно здесь у меня появился первый импульс в руке, именно здесь мне вынесли приговор и именно здесь мне дали надежду на жизнь».

Дочитав до этого места, Сингапур украдкой глянул на Кристину. Она, словно и не было его, увлеченно смотрела фильм. Сгинуть, рассыпаться вот на этом самом диване, в пыль... Сердце как взбесилось. Она что, специально дала ему это читать?! Это что, ее маленькая месть? Конечно, нет, – в смятении укорял он себя, – он говорил ей слова, которые ее держат. Да мало ли, что он ей говорил. Приперся на свою голову. Как побитый, сидел он на диване, не смея больше глаз поднять на Кристину. Черта лысого он к ней больше придет. Милая добрая Кристина, зачем ты так! Незаметно отдышавшись, он стал читать дальше.

«Здравствуй смерть!

Когда-то у меня было все: меня любили, был жив отец, училась в институте, были друзья... А сейчас я инвалид, хоть не теряю веры в себя. Все случилось, когда я меньше всего ожидала, хотя и предчувствовала. Я даже написала то ли стих, то ли... Вот оно: Летчик взорвал самолет, ему надоело летать, ребенок сломал игрушку, ему надоело играть, на корабле бунт, ему надоело плыть... Здравствуй смерть! Надоело все – особенно жить. – Но потом я, почему-то, сама не зная, как приписала: Возьми в руки небо, разрежь его на части. Один лоскут оставь себе, остальные раздай на счастье – всем, кто любит жизнь. – Я написала это за два месяца до комы. Тогда мне, правда, не хотелось жить. Сингапур бросил меня – просто так, как ребенок, которому надоело играть. Но он не сломал меня. Он просто меня не любил, и никого не

любил. Даже себя. Может, поэтому я любила его и поэтому не сломалась. Просто было обидно. Но у меня было много друзей (где они сейчас?), у меня было много друзей. Но был Новый Год, тридцать первое декабря, а я еще и простыла, голова болела, и было обидно. Я даже не могла нормально выпить – так было тяжело. Я не знала, что это надолго. Я начала себя плохо чувствовать, хотелось все время спать... потом отнялся язык. Не сразу, до середины января, я думала, что это пройдет. Не прошло. Это страшно. Я открываю рот – и ни слова... ни звука. Я лежала на кровати, смотрела в потолок... и видела небо. Было странно, я понимала, что не может быть неба. Я лежала в комнате, знала, что надо мной был потолок. Но я видела небо. Оно манило – я чувствовала – это было странно, но я не удивлялась, мне было хорошо – тело мое медленно отделилось от постели и поднималось все выше – к небу.... Это было счастье... я понимала, что умираю... И все рухнуло. Надо мною белый потолок больничной палаты. Не было больше неба, не было смерти. Был только белый потолок. Полгода я видела этот белый потолок. Я не могла даже повернуть голову. Меня парализовало. Потом я исчезла, как сказали, на два месяца. Все случилось странно, но я не удивлялась. Было страшно – маленькие черные точки на белом потолке расползались в трещины. Хотелось кричать, кричать, что потолок рухнет. Война, землетрясение?! Я не знала, что думать, черная паутина трещин, хруст... я видела: белые рваные щели бетона ухнули... Я сорвалась с по-

стели, успев отскочить, когда все это рухнуло. И я не удивилась, забившись, сидела в углу. Когда пыль осела... Не было палаты, просторная зала, где на помосте два больших трона, на одном сидел Иисус, рядом Божья мать. Иисус поманил меня. Поднявшись, я подошла к нему. Он спросил, хочу ли я вернуться, ведь мне придется много страдать, готова ли я? Я ответила: «да, я хочу, меня там ждут и любят». «Хорошо, – сказал он, – иди, Я и моя Мать благословляем тебя».

Я очнулась. Белый потолок уже не казался таким страшным. Я знала, он больше никогда не упадет – смерти больше не будет. Теперь меня бережет Бог, он благословил меня. Мне было спокойно, но... Опять эта жизнь, где я лежу неподвижно, не говорю, где еда льется через нос. И опять кома. Теперь не было ни неба, ни Иисуса. Была моя жизнь, точно проверяя меня – смогу ли я. Вся моя жизнь медленно, показывая самую боль, прошла мимо, я видела себя: ребенком, подростком, девушкой... все то, что никогда бы не повторила – видела все свои грехи. Я не буду писать об этом. Это неприятно даже вспоминать... И вновь белый потолок. Господи, сколько мне пришлось вынести, а сколько еще предстоит. Даже сейчас спрашиваю себя, будет ли конец всему этому? Я начинаю сомневаться в своих силах, выдержу ли? если честно, то хотелось умереть, навсегда покинуть эту Землю, эту Семью, где полно скандалов. Но Бог благословил меня, я должна жить, должна помочь людям, а пока от меня одни несчастья.

Наверное, когда выздоровею, я буду жить одна, без крика, без шума... Как мне все надоело – ужас. Думала, моя болезнь научит их ценить жизнь, любить друг друга, уважать, беречь, что имеют. А оказывается, все зря. Моя смерть ничего бы не изменила, лишь стало бы на одного придурка меньше. Только тосковала бы мать, да Гена погрустил бы немного. Вот и все. Может, Сингапур пришел бы пару раз на могилку, выпил бы, помянул... А что я хотела? Любви? Может быть. Но как трудно в нее верить, в эту человеческую любовь».

Прочитав, Сингапур отложил листы, поднялся.

– Поздно уже, пойду я, – сказал он.

– Да, конечно, – согласилась Зинаида Сергеевна слишком поспешно и, казалось, испытывала неловкость; и Кристина вскинула руку, лишь мельком глянув на Сингапура, и снова отвернулась к телевизору, будто и не было ничего, и не давала она никаких своих записей, и вообще, простились с ним как с соседом, заглянувшим за солью, или еще там зачем...

– Даже Гене не предлагала прочесть, – уже у входа негромко заметила Зинаида Сергеевна.

– Вы простите меня, – сказал Сингапур.

– Да за что, – улыбнулась она. – Ты заходи почаще, – сказала она, как мать, заглянув ему в глаза. А за бабушку... Она считает, что Кристина из-за тебя.

– Вы, надеюсь, нет? – голос его дрогнул.

– Нет, конечно, нет. Приходи, – сказав это, она отворила



дверь. – Придешь?

Сингапур оглянулся.

– Да, – помедлив, кивнул он. – Конечно.

Она закрыла дверь, когда он спустился на пролет ниже. Даже когда дверь захлопнулась, он чувствовал ее неуверенный взгляд.

Он вышел из подъезда.

Ливень. Снега как не бывало. Плотный осенний ливень. Пузырящийся в лужах асфальт.

– Когда все это? – невольно удивился он. Усмехнулся. – Вот и осень пришла. – Подняв воротник, запахнувшись, он вошел в дождь.

## 10

Проснулся он непривычно рано. Спать не хотелось, он поднялся с постели. И что теперь? Галя пропала; ему почему-то стало грустно от этой мысли. Что с ней, жива ли? Кристина любит. Она больна. И причина – он. Всем понятно, что не он заразил ее гриппом, и не он заставил наплевательски отнестись к болезни... Но причина – он; и все это знали. Теперь знал и он сам. И что теперь? В предрассветном сумраке он сел в кресло и смотрел на свою последнюю картину. Она теперь не казалась ему такой тревожной и загадочной; без интереса, даже с долей неприязни смотрел он на белую женщину в грязном подъезде. Женщина наблюдала. И что теперь? Взяв картину, он поставил ее за шкаф лицом к стене.

Там ее место. Вернулся в кресло. Закурил. И что теперь? – эта мысль не оставляла его. Он не мог дать ответа, даже самого простого. Поднявшись, он достал картину, вернул ее в этюдник, взял кисть, зачерпнул из банки белой краски и безжалостно через всю картину написал: Здравствуй смерть. Потом и вовсе все той же белой краской равномерно начал замазывать сначала окно подъезда, сам подъезд, и женщину. Грязно-зеленый в разводах лист оргалита. Больно стало. Очень больно стало. Но ничего нельзя было исправить. Картины не стало. Как и не было... Нет, не так. Хорошо бы если: «как и не было»... Была ведь. Только что была. А теперь ее нет. Он схватил тряпку, растворитель, тер сильно, тер аккуратно, тер, тер... Без толку. Краска была слишком свежая, легко смешалась, стала грязно-зеленой, безликой – просто замазанный краской лист. Всё. И не вернуть. Он повалился на диван. Плакал долго, беззвучно. Больно было, очень больно было. Он сел, вытер простынею лицо; легче не стало. Боль тупо щемила виски. А за окном тоскливо моросил дождь. Холодный осенний дождь.

\*\*\*

У Сингапура не было зонта. В институт он вошел промокший и продрогший. Когда проходил мимо вахты, его остановили:

– Студенческий ваш покажите.

Сингапур не сразу понял. Остановившись, он поглядел на вахтера, полного круглощекого усатого мужчину с гладень-

кой залысиной. Сотни раз Сингапур проходил мимо этого мужчины в синей форме с биркой «охрана», день-деньской, впрочем, как и остальные два вахтера, сменявшие его, сидевшего за окошком проходной, и лениво созерцавшего проходивших мимо студентов, или кокетничавшего со студенточками, или, что было чаще всего, стоявшего на крыльце и курившего тяжелые вонючие сигареты, с той лишь разницей, что другие два вахтера не курили, но также, большее время проводили на крыльце. Художественно-графический факультет стоял особняком от всего института. Четырехэтажное здание бывшего общежития, выкрашенное в жуткий грязно-желтый цвет, с маленькими квадратными окнами, на первом этаже закрытыми тюремной решеткой. Внутри, как и положено в старой общаге, все одно, на всех четырех этажах: узкий, длинный, через весь этаж темный коридор, где в ряд по обеим сторонам аудитории-камеры; и низкий давящий потолок, до которого можно дотянуться рукой.

– Студенческий ваш, – не услышав ответа, повторил вахтер.

– В смысле?

– В прямом. Так, девушки, ваш студенческий, – остановил он двух девушек-студенток. Девушки удивились, порылись в сумочках, предъявили свои билеты и прошли.

– Я мимо вас уже год хожу. Что, с сегодняшнего дня такое распоряжение? – Сингапур был слишком подавлен и рассеян, чтобы вникать еще и в эту бестолковщину.

– Вход в здание института строго по студенческим билетам, – вахтер высунул из окошка руку и пальцем ткнул в бумажную табличку, прилепленную скотчем к стеклу, прилепленную уже года три, сколько помнил Сингапур.

– И что? – упрямо не понимал он.

– Ничего. Студенческий ваш.

В это время входили студенты, все, кто услышав требование, удивляясь, кто равнодушно, кто охотно, предъявляли свои билеты. Один Сингапур стоял у окошка проходной, никак не желая мириться с этой внезапной блажью вахтера.

– А почему вчера не спрашивали? – спросил он.

– Распоряжение декана, – значительно ответил вахтер.

– Нет у меня студенческого, я его еще на первом курсе потерял.

– Иди, ищи, – развел руками вахтер.

– Вы же знаете меня, – болезненно взглядываясь в вахтера, произнес Сингапур.

– И что?

– И все! – в секунду Сингапур обозлился.

– Стой, стоять! – вахтер выскочил из своей вахтенной, преградил путь. Ты русский язык понимаешь? Тебе по-китайски?

– По-вьетнамски, он, Сингапур, – пошутил какой-то студент, проходивший мимо.

– Видно, что нерусский, – негодовал вахтер.

А мимо проходили студенты.

– Вы у них, почему не проверили? – кивнул Сингапур на студентов, уже скрывшихся в коридоре.

– У всех проверю, – уверил вахтер, – всё, не мешай работать. – Он подтолкнул Сингапура к выходу. Сингапур взорвался.

– Руки убери!

– Я тебе сейчас уберу руки! – взорвался и вахтер. Я о тебе в деканат доложу. Я твою фамилию знаю!

– Так, стоп, – Сингапур решил быть сдержанным. – Вы знаете мою фамилию, знаете, что я студент этого факультета. Пропускать отказываетесь на основании, что у меня нет студенческого билета, так?

– Так, – согласился вахтер. – И это закон. Закон для всех. Ваши студенческие, – остановил он еще двух студентов, те предъявили, он пропустил. Сингапур постоял, подумал и произнес:

– Достоевский определил то состояние, в котором вы сейчас находитесь, как «административный восторг». Я же добавлю, что люди, подверженные такому «административному восторгу», так и норовят проехать в трамвае без билета, а дорогу перейти в непопознанном месте.

– Я тебе сейчас дам в непопознанном месте без билета, – обиделся вахтер. – Я о тебе доложу декану, и будет тебе и на трамвае, и на такси. Всё, вон отсюда, – без церемоний он вытолкнул Сингапура на улицу.

Сильно задело это Сингапура, злой стоял он на крыльце,

сжимаемая кулаки. Ему и не надо было в институт. Сколько раз он приходил и сразу уходил, не оставаясь и на первой паре. И сегодня, скорее, случилось бы то же. Но очень его это задело. До ненависти. Он вернулся.

– Куда?

– Учиться, – ответил он и скоро прошагал по коридору; поднялся на третий этаж. Навстречу ему шел Гена. Сходу он вдарил Сингапуру кулаком в лицо. Сингапур отшатнулся.

– Еще раз зайдешь к ней, убью, – сказал Гена. Ты понял меня? – он бешено глядел Сингапуру в глаза. – Убью.

– Я теперь каждый день и ночь к ней буду ходить, и ночевать оставаться, и спать с ней буду.

Гена замахнулся, выбросил руку, Сингапур отпрянул, как маятник, и правым прямым, тяжестью всего тела, ответил в переносицу. Гена упал. Из аудиторий-камер выглянули студенты. Коридор был узким, Гена сидел на полу, над ним стоял Сингапур. Сзади и спереди плотной стеной – студенты.

– Это что еще здесь! – сквозь толпу пробиралась замдекана с трудновыговариваемой латышской фамилией.

– Вот он! – с ней шел вахтер.

Гена поднялся, утер выступившую кровь.

– Ну, все, Дронов, – сказала замдекана, – то, что ты больше не студент – это факт. – Хмаров, – сказала она Гене, – пошли с нами в деканат. Будешь писать на этого субъекта заявление. Мы его за хулиганку в милицию. Мы его посадим.

– Буду писать, – процедил Гена.

– Был ты хмырем, хмырем и остался, – негромко произнес Сингапур.

– И это напишу, – зло усмехнулся Гена.

– Пиши, писатель. Руки убери! – сказал он вахтеру, и замдеканше, – Видал я ваш паскудный институт знаете где? Вместе с вами. Взятчники и ворье, – в каком-то болезненном отчаянии вскричал он, развернулся и зашагал к выходу.

– Дронов стой! – крикнула замдекана.

– Я сказал – отчисляйте, – оглянувшись, крикнул он. А что касается милиции – пишите. Он первый начал.

– Задержать? – кивнул ему вслед вахтер.

– Пусть уходит. Посторонним здесь не место, – ответила замдекана. – А вы чего? – она оглядела собравшуюся толпу. – А ну-ка по аудиториям – быстро!

Уже через полчаса на стенде возле деканата висел подписанный деканом приказ об отчислении Дронова Федора с формулировкой «За аморальное поведение и неуспеваемость». За Сингапуром числилось три несданных зачета.

Угрюмый стоял он у входа, не зная, сам чего ждал, Гену ли, вахтера... Не всё он сказал им, надо было еще что-нибудь такое, что-нибудь такое... Надо было что-нибудь еще сказать... А что?! Что сволочи они?! Да, сволочи. Отчислили они его! В милицию! Выкусите – вот вам! Захотелось крикнуть... Заорать! Он две сигареты выкурил, аж муторно стало, аж... он третью прикурил и тут же бросил на ступени – а, плевать. И плюнул еще и не растер. Вот вам моя малень-

кая граната. Выдохся он. Противно стало. Поднял окурок, в урну бросил, и плевков подошвой затер. Развернулся и неторопливо, ожидая, что вот сейчас его кто-то окликнет, зашагал. Никто его не окликнул.

Крыльцо было пусто, шли занятия.

Впереди продуктовый магазинчик. Зашел. Была десятка, решил купить сигарет. Хоть что-нибудь купить на единственную десятку. Хоть... что-нибудь. Он встал в очередь. Очередь небольшая, всего пять человек. Но девушка, стоявшая за кассой, оказалась неопытной и, одна, обслуживала медленно. Очередь роптала, но еще негромко. Девушка ошибалась, по нескольку раз перебивала чек, волновалась жутко. И очередь роптала всё громче.

– Да сколько можно! – воскликнул какой-то мужчина, он стоял за Сингапуром, очень, видно, торопился, нервный был мужчина, вспыльчивый. – Мне кефиру купить литр, я стою тут... – он не договорил, сдержался.

– Молодая, – заметила женщина, стоявшая перед Сингапуром. – Практикантка, – добавила она со знанием.

– Ёб твою мать, практикантка! – не сдержался мужчина. – Мне литр кефира, а я стою тут как... Практикантка, – выругался он. – Откуда ты взялась такая?!

Девушка испугалась, покраснела, прошептала:

– Маму не трогайте.

– Что других поопытнее нет? Практикантка, – разошелся



мужчина.

– Извинитесь, – Сингапур обернулся.

– Я с тобой разговариваю? Я с ней разговариваю, – осадил его мужчина, он был очень рассержен, роста невысокого, кругленький и не по погоде, в джемпере с широким вырезом, из-под которого выглядывали синие купола на смуглой груди. Сингапур смолк, отвернулся. Когда подошла его очередь, обернулся, решил, повторил негромко:

– Извинитесь, – и в глаза мужчине посмотрел.

– Да ладно, стьюдент, – на английский манер ответил мужчина, широко улыбнувшись и как кавказец на рынке вскинув руку. – Тоже мне джентльмен, – он озорно подмигнул. Практикантка понравилась? Забирай, – он вновь вскинул руку.

Сингапур купил сигарет, вышел на улицу, стал ждать. Вышел мужчина. Он, даже не взглянул на Сингапура, сел в свой БМВ, бросил пакеты с кефиром на заднее сиденье, и уехал. Сингапур не сказал ни слова. Что сказать? Кому? Что?

– Трус ты, Сингапурчик, – прошептал он, проводив БМВ, выехавшее на улицу и, набрав скорость, проскочив на красный свет, как глиссер, рассекая лужи, скрылся за поворотом. – Трус, – повторил.

Куда теперь идти. Он не знал. Дождь, подгоняемый ветром, лил, знобливо пробираясь за ворот. И некуда было спрятаться, некуда было идти. Не пройдя и сотни шагов, Сингапур вернулся к пустому крыльцу факультета. Заглянул в окно. Вахтер привычно созерцал пространство. Теперь

Сингапуру не хотелось его окликать, скандалить с ним, теперь и Гену ждать не хотелось. Теперь Сингапур был трус. Он стоял на пустом крыльце и чего-то ждал. Скоро будет перемена, выйдут на перекур студенты, а он отойдет в сторону и будет смотреть на них как чужой. Всем чужой. И первой – Кристине; пусть не переживает Гена, пусть не волнуется... Интересно, Паневин отдал Гале сапожки? Теперь у него появилась цель – дожидаться Паневина и узнать, отдал ли он Гале сапожки. Теперь стоять на пустом крыльце стало легче – есть цель. Только стали выходить первые студенты, он сошел с крыльца и стоял теперь на углу – один. Все видели, что он стоял на углу, но никто не позвал его. Он теперь чужой, теперь официально чужой. Нужно подойти и спросить, где Паневин. Это цель. Он направился к компании. Из дверей вышел Данил. Увидел Сингапура.

– Ну, ты совсем! – с ходу сказал он. – Ты знаешь, что тебя отчислили?

– И что?

– Ты, идиот, тебя отчислили. Понимаешь, отчислили. Приказ висит. Это не шутка.

– Какая теперь разница. Одолжи полтинник. Напьюсь. Один.

– Мне не жалко, – Данил достал деньги. Хотя, давая тебе деньги, я подталкиваю падающего.

– Тоже мне, Фридрих Ницше. Ниже не упаду, – взяв деньги, ответил Сингапур.

– Если хочешь узнать мое мнение, то ты урюк, причем в квадрате.

– Спасибо.

– Хватит острить. Тебе к декану надо. Надо это как-то решать. Пока не поздно.

– Поздно, пойду я. Напиться хочу. Один побыть хочу.  
Трус я.

– Урюк ты.

– Спасибо.

– Пожалуйста.

Сингапур махнул ему, развернулся и ушел. Когда проходил мимо магазинчика, отвернулся; и проходил его – шаг шире. Не помогло. Трус – кольнуло под дых. Трус – схватило желудок. Трус – скрутило и вырвало с кишками.

– Ха, – выдохнул он с болью. Шаг резче, шаг шире, быстрее мыслей, там их оставить – в магазинчике, за прилавком, с этой неумелой практиканткой, проверившей его на трусость. Слабо ему. И сам бы ее обматерил, нерадивую, испуганную... А тот уехал, кинул кефир на заднее сиденье и уехал. А она там, и на весь день со своей обидой, со своим унижением, одна, молоденькая, неумелая девчонка, ненавидевшая свою работу и весь мир. Тоже ведь, пристроенная, тоже ведь, наверное, с дипломом. И что он ей дал? Обиду на весь день, боль и слезы?

В подземном переходе бабушка продавала тюльпаны.

– Почем тюльпаны?

– Пятсят, сынок, бери.

– Возьму, – он взял цветы, отдал деньги. Развернулся и еще быстрее – в магазинчик. Откупиться, заплатить за трусость, хоть что-то, хоть как-то... хоть так. Откупиться.

Он вошел в магазинчик.

Очередь еще больше. Очередь ропщет, но пока негромко.

– Неужели нет больше никого? – кто-то возмутился. Девушка бледная, роняет деньги, пальцы бьют не ту кнопку, чек придется перебить.

– Да что же это такое? Где ваше начальство?

Девушка чуть не плачет, молчит, чек перебивает.

– На совещании, – шепчет, – совещаются, – совсем тихо шепчет.

– Извините за того хама, – Сингапур протянул ей цветы.

– Что? – не поняла девушка.

– Это вам. Простите меня. За него, – он держал букет.

– А, – поняла она, улыбнулась. Спасибо, – и, забыв, что очередь, убежала в подсобку.

– И что все это?! – взорвалась очередь.

Девушка вернулась, в руках обрезанная пластиковая бутылка с водой, в бутылке тюльпаны. Девушка улыбалась, цветы поставила возле кассы, и повеселев:

– Говорите, что вам.

– Молоко, я же вам говорила, – уже все понимая, без раздражения повторила женщина.

Не оборачиваясь, Сингапур вышел на улицу, шел быстро,

руки в карманы, воротник до затылка; ветер, дождь... Все равно, трус, – кольнуло под дых.

– Ха, – сразу, не дожидаясь, когда свернет желудок, выдохнул он. – Пусть трус, – вслух шептал он. – но она улыбалась, она не будет теперь ненавидеть. А я – пусть, я буду, я буду трус. – Он сел в автобус и поехал домой.

Дома не стало легче, дома хуже стало. Дома за шкафом стояла картина, закрашенная, замазанная.

– И денег нет, – заключил он, лег на диван.

Завонил телефон, он снял трубку.

– Здравствуй, мама, – сказал он. – Все нормально. Да, у меня все хорошо. В институте? Отлично все, и хвосты доздал, да, нормально все. Проблемы у меня? С чего ты взяла? Материнское чутье? Мама, я же говорю тебе, все хорошо, не волнуйся. Нет, не зайду сегодня, дел много, курсовую надо делать, да и вообще. На днях зайду. И ко мне не надо заходить... В квартире у меня чисто. Я вот только сегодня уборку сделал... да, даже полы помыл. Не вру я, я вообще никогда не вру. Ну, все, мама, пока... я тебя тоже люблю, – он повесил трубку, повалился на диван и зарылся головой в одеяло.

– Трус, – вырвалось невольно. – Трус. – И он уже яростно пинал, бил головой об стену, крошил челюсть этому с куполами и с кефиром, и кефиром поливал его – вот как надо было! Вот как по-мужски. – Трус, – шептал он, все туже пеленая себя в одеяло. Вскоре он не заметил, как уснул.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

Эти два дня только и разговоров было, что о погоде. На город рухнуло лето. Оно не пришло, оно рухнуло в один день. Еще ночью был холод, дождь, ветер... И лето. В два дня оно высушило город, как невидимой губкой прошлось по улицам, забрав последние лужи, даже в парках не осталось сырой земли. Город не готов был к этому. Все ждали весны, мягкой, раздевающей любовно, по-чуть-чуть... Сперва – плащ, так, невинно, с одного плечика, с другого, и оставить в прихожей; и свитерок – медленно, потянувшись всем телом и... легко... на диван; и юбочку, еле касаясь... до колен... и выше... и конечно, сапожки – молнию негромко – в-в-вжик, и с пяточки, а потом так, отбросить их невзначай... И чуть ступая, мягко, в прозрачном платье, до одури насладившись весной – в лето... Все ждали весны, готовились, как к первому свиданию – доверчиво и наивно. Лето раздело город, грубо и бесцеремонно, без всей этой романтики, без охов и вздохов посрывало плащи и джинсы, как чужой дядя. Пьяный и выебанный в осоловелой одури, Город, истекая потливой слюной, непривычно, с голодностью шурился от белых голых ляжек и топиков, плотно обтягивающих сиськи. Не готов был Город, не этого он ждал.

Девчонок было не узнавать. Все, все, ВСЕ, они казались восточными красавицами, и они, как специально, как издеваясь, даже те, которым по определенным причинам не следовало бы, которые если бы весна и по чуть-чуть... и так,

невзначай... Словом, все, как одна в тесненьких маечках-топиках и в как бы приспущенных, только на бедрах... Животики голенькие, пупочки... и сорвать бы эти зубами с бедер джинсы! Девчонки, как издевались, парни же пухли от пива и от этих... голеньких животиков слюной давились.

В голове не укладывалось, что еще вчера был дождь и холод, была осень, нет, конечно весна, точнее, зима – ведь снег, ветер, сугробы... и дождь... И лето. Рехнуться можно. Только и разговоров было в эти два дня, что о погоде; писали в газетах, говорили по телевидению, радио, говорили в магазинах, на улице, в автобусах, говорили, говорили, говорили, устрашали, пугали, удивлялись и р-радовались. Пусть катаклизмы и катастрофы, пусть цунами и землетрясения, зато зима сдохла! достала всех зима, достал снег. Лето раздело город, и город стонал от жары и счастья. Желто-зеленый, розовый, пусть оранжевый, только не черный, только не серый, только не коричневый. Город звенел в цвете, город слепил глаза... какая тут учеба; с утра, только собравшись перед первой парой, парни... в упор не видели института, только пивные ларьки и магазины. И на пляж, или в парк, или... да хоть во дворы. В эти два дня на лекциях были только преподаватели да редкие умники, все нормальные студенты пили пиво, много – как президент в телевизоре. Тем более что батареи грели по-зимнему, и в аудиториях, впрочем, как и в каждой квартире, стояла нестерпимая духота, само лето заставляло прогуливать и прохлаждаться с пивом, что боль-

шинство с удовольствием и делали. Настроение – что надо! Пляж, солнце, девочки в бикини, бледненькие, красненькие, но разве это главное, главное – голенькие. Вода холодная; парни лежали на горячем песке и наслаждались. Гена только сидел смурной и пил много и молча.

– Забудь, Гена, забей! – утешали его.

– Женюсь, – вдруг выдал он. Все разом глянули на него. – На Кристине женюсь, – повторил он. – Сейчас пойду и женюсь.

– Ну, давай, женись, напьемси-и! – подмигивали ему. Он, и, правда, поднялся и, как был в трусах, уверенно, но не совсем твердо зашагал с пляжа. – Штаны надень, жених! – Гена не обиделся, смутился, вернулся, надел штаны, рубашку и, махнув на прощанье, зашагал с пляжа.

– До первого мента, – заметил кто-то со знанием.

Тема была любопытная. Только представили Гену и Кристину под венцом. Грешно, конечно, но образ этот показался забавным. Кто-то даже не без иронии заметил:

– Прикиньте, а как она скажет «да»?

– Кивнет.

– Вообще-то, жутковато, – кто-то серьезно представил себе эту сцену.

– Слушайте, пацаны, – до кого-то дошло. – А спать он с ней как будет? В смысле... вы понимаете.

В каком смысле спать – понимали все. Понимали, но представить боялись.



– Начинаю представлять, что Гена – извращенец, – заметил кто-то, и кто-то согласился: – Видать, да.

И никого уже не интересовало, кивнет она или еще как-нибудь... Гена извращенец – вот что заинтересовало парней.

– Нет, пацаны, ерунда все это, не женится он, – кто-то не верил. Не женится он.

– А если?

– Тогда спать с ней не будет...

– Да с чего вы взяли, что она за него... пойдет? – кто-то с трудом выговорил это неуместное слово, – с чего вы взяли, что мать ее согласится на это извращение?

Вот с этим все дружно согласились. И выпили.

С пляжа шли разморенные и довольные. Возле летнего кафе, у мусорного контейнера, какой-то парень в спецовке, с молотком, доставал из тары для бутылок пустую пивную бутылку и бил по бутылке молотком, горлышко бросал на землю, в кучу осколков возле контейнера. Бросив горлышко, доставал следующую бутылку и бил по ней молотком. На него глянули, бьет и бьет, какое дело. Данил только удивился:

– А зачем он их бьет?

– Хрен его знает, – ответил кто-то. – Так надо, наверное.

– Все-таки любопытно, – Данил развернулся и зашагал к парню. Компания остановилась.

– Извини, а зачем ты их бьешь? Их же сдать можно, – спросил Данил. Парень, побив все бутылки, с пустой тарой в одной руке, с молотком в другой, потянулся, ответил:

– А на хер они нужны.

– А-а, – с пониманием глянул на него Данил.

– Ну и зачем он? – спросил Дима. И ему было это интересно, но самому спрашивать... не прилично как-то.

– Сказал, а на хер они нужны, – ответил Данил.

– А-а, – с пониманием произнес Дима. Ответ парня его устроил. Такова душа русская, – заметил он, впрочем, не уверенно и про себя. Данил только не мог успокоиться.

– Все-таки зачем? – не понимал он.

– Загадочная русская душа, – вслух решил оформить свою мысль Дима, но все же не уверенно, и от того с улыбкой.

– Причем здесь душа, – воскликнул Леха Пантелеев, белобрысый парень с веснушками. – Он же ответил тебе, не нужны они.

– Ну да, конечно, – согласился Данил. – Но зачем? – не выдержал он.

– Они, может, бракованные, – предположил Леха, битая тара, чтобы бомжи по двадцать раз не сдавали.

– Ну, так еще логично, – успокоился Данил. – Но бить-то зачем?

– Чтоб бомжи не сдавали! – ответили ему все разом. – Тебе ж Леха объяснил.

– А чего тогда не в контейнер бросал, а рядом, на землю? – не унимался Данил.

– А на хер ему это надо, – ответил Леха.

На автобусной остановке компания разделилась, часть за-

шла в парк, часть, где был Данил, Дима и Леха, осталась ждать автобус и – домой.

– Лично мне спать хочется, – ни к кому конкретно не обращаясь, произнес Дима, добавив, устало. – После такого суточного пивного марафона в честь первого жаркого дня. – В ответ усталые кивки.

В автобусе Данил встал у заднего выхода, даже сейчас на нем были черные джинсы, черная джинсовка нараспашку, из-под которой выглядывала черная майка, распущенные волосы его покрывала черная косынка, узлом завязанная на затылке. Леха и еще двое парней прошли в центр салона, Дима опустился на сиденье, где с краю сидела какая-то женщина, и уставился в окно. Непривычно: яркое солнце, сухой асфальт, девушки, сколько же красивых девушек... приятно было смотреть в окно. Краем глаза он глянул на Данила, невольно усмехнулся – верен своему стилю даже в такую жару. Казалось, ему даже не было жарко, он стоял у окна, рядом с ним какие-то два парня о чем-то разговаривали. Дима отвернулся и, думая о Гене, Кристине (вот ведь какая это штука – жизнь) смотрел в окно. Автобус остановился, сидевшая с ним женщина поднялась и вышла, на ее место сел Данил. Лицо его было озадачено.

– Видел тех двоих? – спросил он.

– Да, – Дима кивнул.

– Карманники, – Данил поджал губы, в глазах его звучала обида. – обокрасть меня хотели.

– То есть?! – Дима даже вперед подался – новость была неожиданная.

– Да вот так. Один разводил, спрашивал всякую ерунду, как куда проехать, второй все пытался во внутренний карман джинсовки мне залезть, где у меня мобила.

– Шутишь? – трудно было в это поверить. – Я видел, ты с ними стоял, нормально общался, думал, знакомые твои.

– Знакомые, ага, – съехидничал Данил. – Обалденные знакомые.

– И?

– И всё, вон, вышли на остановке.

– Украли?!

– Нет, но очень старались. А у меня ступор, я никогда в жизни карманников не видел, а еще, чтобы меня... Я просто обалдел. Один мне зубы заговаривает, другой жметя и все норовит руку в карман мне засунуть. Я его руку отпихиваю, он внаглую, упорно лезет. И первый – как заведенный, как доехать, да как доехать, и все старается, чтоб я ему в лицо смотрел.

– Ты чего нам-то не сказал? Я рядом сижу, нас здесь пять человек, вон ребята... – Дима резко обернулся; парни, все также лениво, стояли в центре салона, Леха, казалось, даже дремал, повиснув на поручне. – Мы бы их... Я думал, это твои знакомые, ты с ними нормально разговаривал.

– Нормально, – негромко воскликнул Данил, – я же говорю – ступор. Меня как переключило, одному объясняю, как

проехать, от другого отбиваюсь, всё – ступор.

– Ну, дела.

– Вот тебе и ну, – произнес он с обидой. – Как лоха хотели развести – внаглую. Без всякого стеснения. И не говори мне, что почему не позвал. Ступор и всё. Сам ничего не понимаю.

Дальше ехали молча. Парни, когда подходила их остановка, прощались и выходили. Дима с Данил остались одни.

– Давай к Сингапуру зайдем, чего там с ним? – предложил Данил.

– Ладно, – согласился Дима. Тем более что жили все в одном районе, с разницей, что Диме выходить на остановку раньше перед остановкой, где жил Сингапур, а Данилу – две остановки дальше.

2

– может, дома нет? – спросил Дима.

– Может, и нет, – ответил Данил, в третий раз, нажав кнопку звонка.

– Нет, наверное, – Дима уже собрался уйти, как дверь открылась.

– Привет, проходите, – Сингапур, привычно предоставил им самим закрыть дверь. Захлопнув дверь, парни прошли в зал. Сингапур сидел на диване, видно, он еще не проснулся.

– Чай будете? – спросил он.

– Нет, мы пива напились, – сказав, Данил поставил на стол купленные три бутылки пива.

– Спасибо, – сказал Сингапур.

– Спал, что ли? – сев в кресло, спросил Данил, Дима тем временем открыл бутылки, протянул одну Сингапуру.

– Спасибо. Да, спал, – взяв бутылку, ответил он.

– Прикинь, меня только что чуть в автобусе не обокрали, – поделился Данил.

– Меня вчера чуть не убили, – глянул на него Сингапур.

– Во как! – разом воскликнули парни.

– Что интересно – менты спасли, – сказал Сингапур. – Теперь начинаю о них хорошо думать, – он взял со стола сигареты, закурил. Вид его был невеселый. Хоть и жара, окна и балкон были закрыты.

– Душно у тебя, – Данил поднялся, подошел к балкону, распахнул его. – Жарко, – сказал он, глубоко вздохнув. – В драку влез? – спросил он, вернувшись в кресло.

– Обошлось. Но ситуация идиотская; совсем шпана оборзела. То ли времена такие настали, что каждый уверен, что его сплошь лохи окружают...

– Во! – воскликнул Данил. – Как лоха, внаглую в карман лезли; точно сказал, – оборзели. Беззастенчиво в карман лезли, видят, что я вижу, все равно лезут. Оборзели, – в возмущении он закурил.

– Главное нам ничего не сказал. Нас пятеро было! – не без героизма вставил Дима. – и что за ситуация? – напомнил он уже сдержаннее, заметив смутившееся лицо Данила.

– Обычная ситуация: тоска и безысходность. На ночь гля-

дя на пруд поперся, развеяться захотелось. Побывать среди людей, – произнес он в тяжелой иронии, взглядом оперевшись в стену; так и говорил дальше, глядя в одну точку, говорил негромко, без эмоций, и все с той же тяжелой, давящей иронией. – Город не узнать, и все возбужденные, точно не кислородом воздух насыщен, а гормонами, все как взбесились, точно это последнее лето. На пруд пришел, кафе, столики под открытым небом, музыка, и все пьют... Пьют... Пьют... Походил между столиков, походил, лица все незнакомые, и девушки, много девушек, зимой их почему-то меньше, прячутся, что ли... Купил пива, сел за столик и стал смотреть... Тоже ведь живой, тоже ведь гормоны. Смотрю, высматриваю. Сидит одна, волосы черные, крашенные, подстриженные ровно, сидит прямо, как на картинке, как принцесса Древнего Египта, даже профиль похож. Стройная, худенькая, лет семнадцать, курит, и одна. Конечно же, я подсел. Нисколько я ей не интересен, лицо красивое воротит, всем видом показывает – не интересен я ей. Нет бы, встать и уйти. Я же так не могу, у меня же гормоны. Возьми и брякни, что я, дескать, очень богатый человек, катала, профессиональный картежник.

– Ты, что ли? – усмехнулся Данил.

– Я, я, – покивал Сингапур. – И денег у меня с собой штука баксов, в прэфэранс, – произнес он намеренно в нос, – выиграл. Заинтересовалась. Умею я быть убедительным. Пивом ее угостил – кое-как наскреб на бутылку. Сижу, рас-

сказываю, она слушает, со вниманием слушает. Улыбнулась, сказала, сейчас вернется. Жду, возвращается с тремя парнями – встретила их случайно, старые знакомые; морды абсолютно бандитские, у одного все пальцы перстнями татуированы, лет всем не больше тридцати. Сели, поздоровались вежливо, спрашивают меня, правда ли я катала, я ляпни – конечно, какой вопрос, катала и есть. Их это удовлетворило. Сидят, курят, спрашивают меня: правда ли у меня штука баксов, – наивные как дети, – я говорю – конечно. Они переглянулись, поднялись и ушли. Сижу я с этой девицей и думаю: ну все, попал я по полной программе, а делать нечего, сижу, пью пиво, боюсь, и прикидываю, что дальше. И девица: «Пойдем, – говорит, – с нами в машине посидишь, выпьем там». Думаю, – о-о, девочка, совсем я на дурачка похож. Говорю ей, так наивно: «Зачем?» Она: «Посидим, выпьем». Я совсем наивно: «Здесь музыка, здесь столики, пиво, чего в машине париться». Она за руку берет меня: «Пошли же, говорю тебе, посидим». Надоело мне, говорю ей уже без наива: «Значит так. Ты, милая моя, все неправильно делаешь. Вы же договорились вывезти меня подальше от кафе и от ментов и там избить и ограбить, – уже назидательно говорю. – Но кто же так заманивает? Ты должна была выждать время, усыпить мою бдительность, а ты сразу – пошли, да пошли. Я тебе серьезно говорю, как педагог... несостоявшийся (последнее Сингапур добавил, косо глянув на внимательно слушавших его парней) – так такие дела не делаются. Я ведь



сразу заподозрил, что что-то не так, когда вы договаривались и косились на меня – вы как дети. Тем более, ты была ко мне равнодушна, и вдруг я наплел тебе, что мне деньги просто ляжку жгут. Я прекрасно понимаю ваше желание отоварить такого сладенького лоха, как я, отметить, денежки прикарманить и пропить. Желание понятное. Но ведешь ты себя – сама как лохушка, – я даже разозлиться не успел. – Дилетантка, – говорю ей. – Тебе надо было позаигрывать со мной, потанцевать, можно и поцеловаться – за штуку-то баксов, а когда я созрел бы, предложить мне прогуляться в кусты, и вот там уже замочить меня. или еще вариант: говоришь мне: «Поехали к тебе домой, милый», – сама жмешься ко мне похотливо и ладошкой норовишь в штаны залезть, мы выходим, ловим такси, подъезжают твои отморозки на жигулях, меня в багажник, на реку и замочить там». – Все это я объяснил ей спокойно и даже внушительно, как на уроке. Честно признаюсь – она обалдела, смотрит, и сказать не знает, что. вдруг за руку схватила меня: «Пошли», – тянет, в глазах отчаянье, точно сама не верит в то, что я ей наговорил. Я руку ее убираю деликатно, говорю: «Никуда я с вами, девушка, не пойду. Вы зла мне желаете, вы нехорошая девушка. Давайте все заново: успокоимся, выпьем на брудершафт, поцелуемся, вы позволите залезть вам под юбку, а потом уже можно в кусты – мочить козлов». Сильно я ее разозлил; поднялась, процедила: «Козел, – и добавила, – если не пойдешь сам, мы тебя здесь же замочим». «А это вряд ли, – говорю ей, – вон

они, менты, стоят, ждут подходящей компании, чтобы план выполнить. А твой кореш с перстнями, наверняка в бегах, так что удачи вам, мочите от души, а я посмотрю, похихикаю». «Ты отсюда вообще не выйдешь, и считай, что ты покойник», – сказала и к машине пошла, где ее друзья-подельники ждали. Села в машину. Смотрю, из машины парень вышел, который с перстнями татуированными, и ко мне. «Ну чего ты, – говорит, – пошли, посидим в машине, выпьем, у нас водочка есть, поговорим. Марина поговорить с тобой хочет». Сижу, слушаю его, думаю, совсем шпана оборзела, говорю: «Лучше вы к нам». – Марина вернулась и опять: пошли в машину, да пошли. Здесь я уже не выдержал: «Вы че, – говорю, совсем меня за идиота держите. Может вы решили, что я сам себе морду разобью и сам отдам штуку баксов. Все, ребята, свободны. Надоели вы мне». Парень сразу – пальцы гнуть – ты чё, да во чё. Смотрю на него в злобе: «Рыпнешься, я счас заору, стол переверну, кто там кого – уже не важно. Вон менты и узик, они разбираться не будут, всех погрузят и тебя, черта татуированного – первого». Он обиделся, на базар меня разводить стал. Я за край стола схватился, говорю: еще слово – стол переверну». Он понял, поднялся, ушел. Марина сказала напоследок: «Или ты со мной идешь, или ты покойник». Я ручкой ей сделал, она ушла. Больше не подходили, стояли возле машины, ждали. Страшно. Сижу, боюсь. Пиво допил, надоело мне все это. И менты, кто знает, возьмут и уедут. Тогда все, тогда меня за этим столиком и

замочили бы.

– И чего? – торопил Данил.

– Ничего, – ответил Сингапур, – поднялся и к ментам подошел, сказал: «Здравствуйте, пьяный я, в нетрезвом состоянии нахожусь в общественном месте. Так что задержите меня и доставьте в отделение как нарушителя правопорядка».

– Прикольно, – усмехнулся Данил.

– Их это тоже позабавило, – согласился Сингапур, – говорят: «Не нужен ты нам». Я им: «Нужен, нужен». «Нет, говорят, не нужен, здесь кафе, здесь все пьяные». «А я порядок нарушаю, матом ругаюсь». Один был коренастый, лицо лисье, рукой мне сделал: «Иди отсюда, не мешай работать», – и дубинкой легонько мне в плечо. Стою; те, возле машины, наблюдают. Думаю, все, сейчас менты уедут и... Уже открыто им: «Я прошу вас, задержите меня, у вас же план, я же нарушитель, пьяный...» Догадались наконец. Один там был высокий, лицо суровое, на машину покосился: «Тебе действительно убраться отсюда надо?» «Очень надо». «Вон те, что ли?» Я кивнул. «Отоварить хотят?» Коренастый с лисьей мордой дубинкой в сторону машины ткнул: «Может, проверим их?» «Толку что? – ответил высокий, – они не нарушают. Ладно, – кивнул мне, – до дома не обещаю, но до следующей остановки подброшу». Погрузили меня в уазик, как положено нарушителя, и поехали. Через пять минут открыли: «Все, вылезай». Они, правда, меня до следующей остановки довели. Удачи пожелали, посоветовали впредь быть

осторожнее. Я им: «Спасибо, мужики, жизнь спасли». И высокий ответил спокойно: «Работа у нас такая – людям жизнь спасать». И уехали. Вот такая вот история.

– А потом? – спросил Данил.

– Потом дождался автобуса и домой приехал. А потом вы пришли и разбудили меня. Что еще потом? Видишь – сижу, пью пиво.

– Прикольно, – усмехнулся Данил.

– Любопытно, – согласился и Дима.

– Жизненно, – заключил Сингапур.

Он допил пиво, бутылку поставил на пол возле дивана.

– А как у вас дела? – спросил он как бы равнодушно.

– Пьем. – Данил был лаконичен.

– Везет вам. А в институте как?

– Пьют. – И здесь Данил был лаконичен.

– Совсем везет вам, – он вздохнул. – Ну-ну. – Закурил.

– Гена жениться собрался, – вспомнил Дима. – Свататься пошел.

– Молодец, – Сингапур задумался. – Дурацкая все-таки история. И чего я полез выяснять отношения с этим вахтером, надо мне это было? Даже не верится, что отчислили.

– Матери сказал?

– Нет еще. Да и не скажу... Дурацкая история, – он совсем скис, глаза только яростно глядели в пространство.

– Можно восстановиться, – заметил Дима, впрочем, неуверенно заметил.

– Можно, – эхом отозвался Сингапур, – можно, – повторил. – Да нет, теперь уже не можно. Надоело все. Все надоело, работать пойду. Хочу быть дворником. Шутка, – он замолчал. Тихо было. Только далекий шум машин, чьи-то голоса. Кто-то запел, его подхватили, пел хор.

– Это что еще? – Сингапур вышел на балкон. – Ну и ну, – он присвистнул. – Идите-ка сюда, – позвал он. И Данил, и Дима, немедля вышли на балкон.

Посреди двора на двух табуретах стоял гроб. В гробу лежал тот самый беспокойный сосед. Вокруг гроба, шагах в пяти, люди – человек десять. Время от времени подходили местные старушки и алкаши.

– Отмучился бедолага, – негромко произнес Сингапур. – Не опохмелили вовремя, – сказал он это совершенно серьезно; да и не тянуло шутить при виде покойника.

Хор смолк. К гробу вышел плотный мужчина с аккуратной бородкой, он был в белой рубашке и при галстукe, в руках держал библию. Громко, с выражением стал призывать радоваться всех присутствующих смерти соседа, называя соседа братом, время от времени он возносил руки к небу и зычно кричал: Христос воскрес!

– Странно, вроде бы еще пост, или я чего-то не понимаю? – глянул на Данила Сингапур.

– Да, – согласился Данил, – пост.

– Пост, – эхом повторил Дима, с любопытством разглядывая собрание.

У гроба, в строгом розовеньком платье, поверх волос черная косыночка, стояла жена покойного, лицо ее не было печальным, сурово смотрела она на мужа, когда кричали: «воистину воскрес!», она кричала охотно, и лицо ее оживало. Сын не кричал «воистину воскрес!», молча глядел на гроб, изредка косясь на плотного мужчину с библией, что энергично вскидывал руки к небу и призывал всех радоваться.

– Нет, ну, впрочем, – подумал Сингапур, – впрочем, логика в этом есть: одним алкоголиком меньше – почему бы и не порадоваться. Но это я так, к слову, – он глянул на Данила, – типа, пошутил.

Данил не ответил; серьезно, все мрачнее, и, как-то косо, точно все это было ему отвратительно, глядел он на собрание.

Мужчина закончил проповедь, встал в круг. И запел хор. На мотив, похожий на бодрую песню «Ты ж мэнэ пидманула, ты ж мэнэ пидвила» хор запел: «Славься, славься, наш Христос!»

– Наш брат умер, возрадуемся! – воскликнул мужчина в белой рубашке и вновь трижды прокричал: «Христос воскрес!» Ему трижды ответили: «Воистину воскрес!»

– Бред какой-то, – чуть слышно произнес Данил, вглядываясь в лица людей, стоявших в кругу.

Лица были одухотворенные и все какие-то убогие, впрочем, в стороне стояло несколько мужчин вовсе не убогого вида, в синих рубашках, с библиями, и они кричали: «вос-

крес!», но как-то без чувства кричали, зато громко. С чувством кричали несколько женщин в веселеньких платьицах, и юноша; юноша кричал восторженно и руки худенькие к небу вскидывал, и глаз с мужчины в белой рубашке не сводил.

И запел хор, те самые женщины в веселеньких платьицах и восторженный юноша: теперь хор пел на мотив известного русского романса, пел печально, пел о своей любви к папе, лежавшему во гробе, и что к каждому придет старуха с косой, и все мы обязательно умрем. И, умерев, встретимся с папой на небесах, где будет еще и Христос. Песня была трогательная, и хор пел ее особенно душевно про старуху с косой, забравшей папу.

– Вы когда-нибудь такое видели? – спросил Сингапур. Дима отрицательно мотнул головой, все это время вглядываясь в юношу, казалось, тот сейчас заплачет, – так ему было жалко папу, и так он печалился, что пришла старуха с косой. Но проповедник призвал возрадоваться, и юноша возрадовался, лицо его было счастливым, ладони возле груди, он что-то шептал и радовался. Зрелище было престранным. Местные старушки не менее настороженно слушали эту душевную песню и наблюдали. Когда песня закончилась, в круг вошел другой мужчина, в синей рубашке и без галстука. Он также призывал всех радоваться смерти соседа и рассказал поучительную историю о человеке, который отверг Бога, и Бог наказал его, лишив всего имущества, и человек, в лохмотьях,

ниций, стал бродить по свету как животное, без денег, и питаясь на помойках отбросами. Вот такая кара постигла его за безбожие. Мужчина в синей рубашке красочно рассказывал эту печальную историю, всякий раз обращаясь к библии за подтверждением своей правоты. Следом он рассказал о ключе Давида, убеждая, что нужно разговаривать с Богом, просить у него, и Бог даст. Он рассказал о человеке, который попросил у Бога зарплату в триста долларов, и Бог дал ему эту зарплату, конечно, зарплату повысил начальник, но повысил не иначе как по повелению Бога. «Просите, и вам воздастся, – призывал мужчина в синей рубашке, – Христос воскрес!» Немедленно ему ответили. И сказал мужчина в синей рубашке:

– Помолимся, братья и сестры, – и громко, с выражением стал читать «Отче наш», правда не по-старославянски, как привыкли слышать в церкви старушки, а по-русски, называя «Отче» «Отцом», всякий раз воздевая руки к небу и умывая ладонями лицо, подобно тому, как это делают мусульмане. Местные старушки совсем смутились. Одна даже тайком перекрестилась. Проповедник в синей рубашке заметил это и деликатно подсказал старушке, что креститься не надо. Он объяснял красочно, и лицо его было скорбливо: что крест есть скорбь, символ страдания, а здесь радоваться надо и воздавать Господу нашему Иисусу Христу радость.

– Как они крестного знамения-то боятся, прям как черти, – не без злорадства заметил Сингапур.



– Да уж, – странно произнес Данил.

И запел хор.

– Что ж они так над покойником глумятся, – Данил не выдержал. – Еще в пляс пустятся. – Хор и, правда пел на танцевальный мотив, пел опять же о Христе, смерти и, вообще, что не надо печалиться, вся жизнь после смерти еще впереди, но жизнь эту надо заслужить – служением и любовью к Богу.

– Кто они такие? – пристально вглядываясь в хор, спрашивал Сингапур. – Что это за музыкальное шоу в нашем православном дворе?

– Это не муновцы, – со знанием заметил Данил, лицо его было сурово, он негодовал.

Большинство балконов были открыты, и из них с интересом наблюдали соседи, видно, впервые видя такую странную церемонию прощания с покойником. К слову, церемония оказалась довольно продолжительной. Только замолкал хор, в круг заходил очередной проповедник в синей рубашке из компании таких же, как и он проповедников в синих рубашках и с библией в руках, говорил о любви к Богу, рассказывал какую-нибудь поучительную историю и призывал всех радоваться как смерти самого Бога, так и смерти брата-соседа.

– Уныние – грех, – говорил проповедник, – нужно радоваться. Бог завещал нам радоваться его смерти, так как мы здесь все в гостях, а он уже дома и ждет нас всех там. Так

возрадуемся! Христос воскрес!

Когда возгласы стихли, в круг вышел первый проповедник в белой рубашке и при галстуке, он сказал:

– Теперь, по христианскому обычаю, все желающие могут проститься с покойником.

В такую последнюю минуту все обычно подходили к покойнику, крестились и губами прикладывались ко лбу. Никто не рискнул приложиться. Многие хоть и знали покойного, хорошо знали, правда, не как брата, а как соседа-алкоголика, но проститься так никто и не решился. Потому, кто его знает как? Но все с любопытством следили за женой покойника и сыном. И они не подошли. Так и накрыли его крышкой, не простившись.

– Ну что ж, погрузили тогда, – сказал первый проповедник. Как раз подъехал автобус, несколько мужичков-соседей взяли гроб и внесли его в заднюю дверь.

– Хоть вперед ногами, – заметил Данил и ушел с балкона. – Вот извращенцы, – произнес он чуть слышно. Сингапур с Димой, вышли следом.

– Совесть, в конце концов, должна быть у людей, говорил Данил, сев в кресло. Так над покойником издеваться – целый час на жару. Хорошо, хороводы водить не стали и игрища с перепрыгиванием через гроб. И намешали, черт знает что с черт знает с чем. Одни корейца нам вместо мессии подсовывают, другие, вот «Отче наш» с мусульманским умыванием читают. Куда церковь смотрит?

– Данил, пока не уехали, если что, молоток у меня найдется, и скалка тоже, – Сингапур подмигнул.

– Да ну тебя. Тут такие дела – не до смеха. Глядишь – скоро человеческие жертвы приносить будут и кровь и плоть, буквально, будут пить и закусывать.

– Какой ты ярый у нас радетель за чистоту веры, – Сингапур развеселился.

– Федор, это не смешно, – лицо Данила было грустным.

– Жалко покойника, – произнес Сингапур серьезно. – Не нигеры же мы. Но – за что боролись, на то и напоролись – Свобода... мать их. Сейчас, подожди, еще проститутток, наркотики легализуем, однополые браки, замуж с десяти лет, чтоб и педофилов в правах не ущемить, многоженство разрешим, ношение огнестрельного оружия... чего у нас еще не разрешено? Кухарки уже правят государством... все нормально. Реформы продолжаются. То ли еще будет, Данил, и, главное, мы до этого доживем. Сейчас все о национальной идее говорят, даже те, кому бы язык свой прикусить да помалкивать. Сидят на деньгах и о национальной идее разглагольствуют. О патриотизме тоскуют. Они доиграются с этой национальной идеей, фарисеи эти кремлевские. – Он даже кулаком потряс. – Сейчас поднимется этот нищий и голодный с Лениным или с кем-нибудь еще в башке, у которого одна национальная идея во все века – отнять и поделить. Соскучилась Россия по кровушке, ох, соскучилась, раз об идее национальной заговорила.

– О, как ты разошелся, – с огоньком взглянул на него Данил. – Это тебя только из института отчислили, а прикинь, что будет, если и квартиру у тебя отнимут – Бен Ладен будет отдыхать.

– Странно ты понимаешь национальную идею и патриотизм, – произнес Дима.

– А как ты ее понимаешь? – уставился на него Сингапур.

– Как и все – как и надо. Любовь к своей Родине и любовь к своему Народу.

– Может, ты и президента поддерживаешь?

– Поддерживаю, – с вызовом ответил Дима.

– Да ты что! – оживился Сингапур.

– Потому и живем так, – не выдержал Дима. – Потому и живем, – повторил он.

– Как в дерьме! – подсказал Сингапур.

– Ты глупости говоришь, как для меня, так и... Ты Россию оскорбляешь такими заявлениями. – Дима негодовал. – Ты посмотри, какой наш город красивый стал. Наш город самый красивый в Черноземье, всё плиточкой выложено, везде... клумбы, цветники.

– Как напудренная старуха! – ответил Сингапур. – А под пудрой гниль!

– Вот такие, как ты, и губят Россию, подрывают ее изнутри. Нам нужно сплотиться... объединиться... – Дима чуть не задыхался от захватившего его возмущения. Он искренне считал себя патриотом. И не выносил таких вот разглаголь-

ствований.

– А ты, Данил? – Сингапур уставился на Данила.

– Федор, я вообще с тобой на эту тему говорить не хочу. Моя позиция твердая – Россия – страна Православная, и отсюда уже и национальная идея, и патриотизм, и...

– А в церковь ты часто ходишь? – резко перебил его Сингапур.

– Это мое личное дело, – тоже резко ответил Данил, – и обсуждать его не собираюсь. Моя вера – это моя вера.

– Он в церковь не ходит, потому что ему запах свечей не нравится, у него от них голова кружится. На самом деле, он стесняется ходить в церковь. Мы мимо церкви сколько раз проходили, – он глянул на Данила, – ты хотя бы раз перекрестился? И, сейчас, кстати, пост. А ты, православный наш, пивнице глушишь. И сейчас – открою тебе тайну – гонения на христиан нету. И, не знаю, может, ты под подушкой псалтырь прячешь и на ночь «Отче наш» читаешь, но на людях ведешь себя как все – как настоящий безбожник. И все это от банальной трусости – как бы чего не сказали, как бы не надсмеялись. Самое простое – сказать «я православный, но моя вера – это мое личное дело», и подверивать так, втихаря. А при всех – быть, как все.

– Федор, закрой рот! – не выдержал Данил.

– Всё, закрыл, – охотно согласился Сингапур, и даже руки вверх поднял. – Только ваша религиозно-национальная идея, – не сдержался он, – гроша ломаного не стоит. Так как

вы, сегодняшние православные, даже стеснительные. Я как-то зашел в церковь, много молодых людей и девушек много. К церкви подходят, перекрестятся, и не трижды, а один раз, и тот – как муху отгонят, и быстренько в церковь – как заговорщики. Из поста – правильно юморист заметил – только Масленицу и Пасху – зато от души. А во всеобщем масштабе – в лучшем случае евреев за Христа поругают, и – мы, русские – самые-самые, и пьем больше всех – и это патриотизм; да, еще – посконная рубаха и балалайка – на Арбате.

– А для тебя, что национальная идея? – с вызовом воскликнул Дима.

– Да нет ее, идеи, и не было, – Вдруг спокойно ответил Сингапур. – И не будет, пока не поймут, что и узбек, если он в России живет – русский. Пока сам узбек этого не поймет. А он этого никогда не поймет, потому что он узбек. И с православием – пока Данил и иже с ним не поймут, что их вера – это не только их вера, ничего не изменится. А они этого никогда не поймут, потому как их вера – правая. А на одной правой, Данил, далеко не уйдешь, потому, как чтобы шаг сделать, нужна еще и левая. Бог, Данил, как джинсы на бедрах – модное веяние – политическая программа России; национальная идея и патриотизм в одних штанах, приспущенных на бедрах, а поверх этих штанов – жирненькое пальце, многострадально наеденное многострадальной Россией. Нет, Данил, Бога, есть некий Иисус, которому все аплодируют стоя, лежа или вприсядку – в зависимости от конфессии.

– Чего ты несешь? – в сердцах произнес Данил.

– Я несу?! – Сингапур уставился на него. Я как раз и не несу, а наблюдаю и жду, чем все это шоу с перетягиванием Иисуса закончится. Я как-то с одним евреем разговаривал на религиозную тему, о чем еще в двадцать лет интеллигентным людям разговаривать – только о Боге, да о бабах. Так вот, он замечательную фразу сказал: «Столько шума и возни из-за одного еврея, распятого за религиозную пропаганду». Замечательные слова, подписываюсь под ними, я бы еще добавил, не было заботы – создали люди себе кумира. Просто не Иисус, а джокер – в любую масть. Ты подожди, – он остановил Данила, – подожди, я тебе сейчас еще кое-что расскажу. Я вот недавно, вот вчера от скуки телевизор включил и посмотрел одну забавненькую передачу...

– Я понял, кто ты есть на самом деле, – произнес Дима. – Ты неудачник, обиженный на жизнь. Ты мстишь. И такие, как ты, первые враги России. Тобой обида движет...

– За народ!

– За себя! Дай тебе славу, дай тебе известность. Дай то, о чем ты мечтаешь... Не хочу даже говорить.

– И не говори!

– Скажу! Вся твоя злоба – только торг! Добьешься своего, и не будет тебе больше дела ни до кого и до России – тем более. Вот!

– Дурак! – воскликнул Сингапур.

– Сам дурак! – огрызнулся Дима.

– Не добьюсь я, пока такие, как ты... – резко ответил Сингапур. – Торгуюсь я! – все больше обижался он. – Торгуюсь... Да ни черта я не торгуюсь, я... я... – он совсем обиделся. Дима решил, и слова больше не говорить. Сидел и не глядел даже на Сингапура. Все – он раскусил его.

А Сингапур завелся: – Правильно ты сказал, – наконец собрался он, тем более что Дима, что Данил, сидели молча; он говорил, стараясь в глаза Диме заглянуть, – такие, как я, они... – Он хотел что-то такое сейчас сказать... такое, руку даже занес. – Болтуны мы – ВСЕ! говорим только, просто «пять вечеров с Андреем Малаховым»... говорим, говорим... Сволочи, – выдал он. – Труссы, – сказал он. – А ведь дождемся; они сядут нам на голову и заставят жрать их дерьмо...

– Ты это о правительстве? – не сдержавшись, ехидно спросил Дима.

– Во славу Иисуса, – не ответив, догоняя свои мысли, произнес Сингапур. – В нашем правительстве давно спивуны и кухарки. Я вот про передачу хотел сказать, интересная передача, целый канал, по которому круглые сутки показывают подобные передачи. Об Иисусе нам проповедуют. Огромный зал, аншлаг, на сцене бойкий старичок с микрофоном бойко рассказывает по-английски, как он в молодости излечил словом Божьим смертельно больного раком. И вылечил ведь! И в этом ему помог Иисус. Аллилуйя! А на сцене все те же молодые люди в белых и синих рубашках – все как положено. В



зале смертельно больные старушки и прочие с одухотворенными лицами; и на сцену стали выходить – человек десять вышло. И молодой человек в белой рубашке микрофон подносит – все в порядке очереди – и спрашивает: – Что-нибудь случилось с вами во время сеанса?

Первая старушка божится, говорит:

– У меня была сломана рука, теперь моя рука не сломана.

– Вам помог Иисус? – интересуется молодой человек с микрофоном.

– Да, – отвечает старушка.

– Теперь вы можете двигать рукой? – уточняет молодой человек.

– Да, – старушка подняла руку.

– Иисус помог ей! – воскликнул молодой человек. – На этот сеанс она пришла со сломанной рукой, но Иисус во время сеанса выправил ей руку, он срастил ей кости! Иисус сделал это! Поаплодируем Иисусу!

Зал вдарил аплодисменты Иисусу.

Следующая излеченная подошла, говорит:

– У меня было косоглазие, – рыдает, вся в счастье, – теперь его нет!

– На этом сеансе у вас выправилось косоглазие? – словно не веря, переспрашивает молодой человек.

– Да! – рыдает женщина. – Мои глаза теперь не косые.

– Поаплодируем Иисусу, – кричит молодой человек.

Иисус достоин аплодисментов – он выправил этой женщине

косоглазие. Аплодисменты Иисусу!

И люди все подходили и подходили; кому-то Иисус омолодил суставы, кто-то излечился от астмы, кто-то от геморроя, кому-то кости вправил.

– А мозги никому не вправил? – заметил Данил.

– Нет, мозги никому, – ответил Сингапур. – И всякий раз в его честь звучали аплодисменты – Иисус достоин аплодисментов! – призывал молодой человек, – Аплодисменты Иисусу!

Хочешь сказать, что это сектанты? Но то же и у православных и у католиков, только последние на органе лабают или акапеллой поют. И к мощам прикладываются или к иконам. И, что асана, что аплодисменты – все шоу. В церкви или в храме или в Большом Кремлевском Дворце – Иисус достоин аплодисментов! Папы, попы, проповедники, шоумены – думаешь, есть разница? Все игра, только не в бисер, а гораздо хуже...

– Иисус не шоумен и не еврей, он – сын Божий, а ты – дурак.

– Я не говорил, что Иисус – шоумен, я...

Но Данил уже не слушая, не оглядываясь, вышел. Всё, его терпение лопнуло.

– Ну и чего ты добился? – спросил Дима, когда захлопнулась входная дверь. Сингапур лишь пожал плечами. Выглядел теперь отрешенно даже жалко. – Надо было тебе с Данилом ругаться? Больше друзей у тебя нет. – Все же Дима

сказал это без превосходства; отходчивый он был парень, с жалостью смотрел он на поникшего Сингапура.

– Ну что ж, – ответил Сингапур, – поаплодируем Иисусу. Теперь у меня нет друзей – Иисус достоин аплодисментов, – он помолчал. – Видишь как, чужой Иисус – извращенец, а за своего Иисуса можно и обидеться. Забавно, да?

Дима не ответил, поднялся, попрощался и ушел.

Данила он нашел на автобусной остановке.

– Злишься на Сингапура? – спросил он.

– Не злюсь я на него, дурак он, – ответил Данил. Он сейчас весь в отчаянье, чего на него злиться... А в церковь я хожу и крещусь трижды, и не как... муху, – с невольной обидой сказал он. – Ладно. – Подошел автобус, Данил пожал Диме руку. Двери открылись, из автобуса вышла женщина, ей было далеко за пятьдесят... Как бы приспущенные на бедрах джинсы, топик плотно обтягивал грудь... Женщина остановилась, достала из модной джинсовой сумочки пачку сигарет, закурила. Как два идиота, парни уставились на нее... Рыхлый живот складками нависал над поясом как бы приспущенных джинс; вислые сиськи прижались к телу плотным обтягивающим топиком. Женщина затянулась, подняла лицо, выпустила дым. Коротенькая модненькая стрижечка делала ее щеки совсем хомячьими. Еще раз затянувшись, она пошла неторопливо, ставя ногу так, чтобы эффектно сыграл зад. Шаг – и жир на бедрах всколыхивался, еще шаг, еще... Вся остановка взглядами прилипла к этому старому заплыв-

шему напоказ телу. Мужчины оборачивались, все оборачивались, а она, видя это, ставила шаг еще эффектнее, еще... и еще.

– Совсем стыд потеряли, – произнес Данил.

– Жара, – сказал Дима, отворачиваясь, но, все равно, невольно заглядывая на женщину.

– Ты видел, что у нее на... жопе написано? – кивнул Данил.

– Конечно, – ответил Дима, как раз глядя на... жопу. Женщина шла все так же не торопливо и эффектно, через весь ее зад яркими оранжевыми буквами было вышито:

God Save the Queen

– Иисус достоин аплодисментов, – невольно пошутил Дима. Данил покосился на него.

– Ладно, пешком пройду, – сказал он. Пожал Диме руку и скоро зашагал в сторону своего дома.

Дима перешел дорогу, сел в автобус и хоть одну остановку, но проехал; жарко, лениво и спать хотелось.

До дома оставалось совсем немного, пересечь аллею и... проходя мимо пивного ларька, не удержался, он купил стакан холодного квасу, выпил залпом, и войдя на аллею, где гуляли молодые мамы с детишками, дошел до пустой лавочки, сел и достал сигарету, курить не хотелось, он просто перебирал сигарету пальцами. Странно, жара, люди раздеты, а на деревьях ни листика, даже почки не успели распуститься. Дима сидел на лавочке, и размышлял. Он не испытывал

неприязни к Сингапуру, «раскусив» его... жалость он испытывал. И сам Дима считал себя честолюбивым человеком, и художником считал себя неплохим, и был уверен, что патриот. И чем плох этот город, эта страна, этот мир, если любить все это: и город, и страну, и эти деревья, это небо? Любить просто, без претензий. И работать, чтобы польза, чтобы людям хорошо. И если нравится людям и церковь на холме, и река... если это душу греет, если претит людям грязь, зачем отображать ее на картинах? Дима считал себя хорошим художником, и на картинах его было все то, что успокаивало людям душу. А все эти революции, все эти потрясения, разве для этого мы живем? И зачем отображать то, что не радуется? Нет, нельзя бороться со своей страной, ни как нельзя, — уже вдохновенно размышлял он, рисуя в своем воображении великие бескрайние поля, реки, все то чего так не хватало здесь, пусть и родном, пусть любимом, но все-таки городе.

— А курить вредно. — Перед ним стояла девочка лет восьми, она сказала это серьезно и серьезно смотрела на него. Дима смутился.

— Я не буду, — сказав, он бросил сигарету в урну.

— Ладно, — озадаченно сказала девочка, она, видно, не ожидала такой сговорчивости, она, видно, готовилась еще что-нибудь такое сказать... но, а что теперь было говорить, она лишь вздохнула и пошла дальше. И пяти шагов не прошла, вернулась, села рядом. Посидела, ножками поболтала и, взглянув на Диму, философски произнесла:

– Зима канула в лето, – она сказала это со значением и ждала немедленно не менее философского ответа. Дима лишь улыбнулся, ничего не ответил.

– Зима канула в лето, – повторила девочка. Теперь обязательно ей нужно было что-нибудь ответить, девочка нетерпеливо глянула на Диму, но совсем незаметно.

– Надолго? – спросил Дима.

– Навсегда, – ответила она с готовностью. На все оставшееся лето, – ей очень нравилось говорить такими умными словами.

– А почему в лето, почему не в весну? Вон ведь, даже почки еще не распустились, – кивнул Дима на голые маслянистые ветви деревьев.

– Весны больше не будет, – девочка помолчала. – Никогда больше не будет. Теперь будет только лето и зима.

– А осень?

– А осенью мы все умрем, – она поднялась и, больше не сказав ни слова, пошла своей дорогой. Она, видимо, все сказала, что хотела, и шла теперь осанисто и значительно неторопливо. Где была лавочка, на которой остановился Дима, аллея была безлюдна. В одиночестве девочка дошла до конца аллеи, остановилась, оглянулась, Диме даже показалось, что она подмигнула ему, и, свернув, скрылась во дворе за домами. Странная девочка. – Весны больше не будет, – Дима невольно оглянулся; голые пустые деревья, молодые мамы с детишками в жиденькой тени этих деревьев... и жара – неле-

пая июльская жара в апреле. Дима поднялся и неторопливо зашагал домой. – Весны больше не будет – поплодируем Иисусу... тьфу ты, – отмахнулся он; вот ведь действительно катаклизмы, совсем ум за разум зашел. Выспаться надо, – решив это, он ускорил шаг, стараясь не думать ни о странной девочке, ни о Сингапуре, ни об Иисусе, который чего-то там... Спать.

### 3

...Выспавшись, поужинав, он созвонился с друзьями и, договорившись встретиться в центре у пруда, вышел из дома, сел в автобус и направился в центр.

Гена. Уверенно, сутулясь, он быстро шагал по улице. Не зная зачем, но только случилась остановка, Дима вышел из автобуса и догнал его. Что-то заставило его выскочить из автобуса и догнать Гену.

– Привет, – остановил он его.

– А-а, – он оглянулся, – здорово. – Гена был пьян, глаза его были налиты, и вид взбалмошен.

– Куда путь держим, – очень стараясь, пошутил Дима.

– Бить морду этой сволочи, – заявил Гена, не сбавляя хода.

– Постой, что случилось-то?

– Что случилось? – воскликнул Гена. Я из-за него с Кристиной разругался! Что случилось? – передразнил он. – Он мне всю жизнь исковеркал, морда нерусская, – в крайней обиде выдал он. – Что случилось, – повторил уже тише. – До хрена чего случилось. Меня Кристина не любит.

Гена, когда сказал, что пошел жениться, не соврал, с пляжа напрямиком он направился к Кристине предлагать ей, что называется, руку и сердце. Гена не просто любил Кристину, Гена был болен Кристиной. Гена не видел других женщин, он вообще будто не знал, что есть другие женщины. Еще при поступлении, только впервые увидев Кристину, еще не зная ее имени... ничего о ней не зная, он решил, что эта девушка его и навсегда. В легком сарафанчике, чуть прикрывавшем жгуче-загорелые бедра и плечи, она стояла в компании девчонок, бледненьких, сереньких, конечно, красивых, но не рядом с Кристиной, рядом с ней нельзя было быть красивой, красивой была она одна. Высокая, стройная, худенькая, уверенная, она спокойно улыбалась, когда остальные смеялись во весь рот, ей не нужно было громкое внимание, она и так была заметна, и так только на нее смотрели все парни. Красивых девушек было много, но все они росточка невысокого, как куколки, взять их так, потискать... мило, но несерьезно; с ума можно от них сойти, в страсти задохнуться, наслаждаться, умиляться, но... несерьезно. Они как фрейлины, эти маленькие красавицы, ветрены, кокетливы, желанны... хватать бы их – и в закуток... Потом оглядеться, оправиться, подмигнуть ей игриво, и, как ни в чем не бывало, дальше, на прием к королеве. Кристина не кокетничала, она была сдержана и уверена. В легком коротеньком сарафанчике она нисколько не казалась доступной. Ее красота не притягивала, не отталкивала, ее красота держала на расстоянии, ее



красота умирjala. И вовсе Кристина не была снобливой или надменной, она была... сама собой, простой и ясной. Потому ее красота не вызывала ревности у девчонок, если только чуть-чуть, но не более. И девчонки невольно испытывали к ее красоте уважение и старались быть ближе к ее красоте, что для девчонок было не совсем привычно. Привычнее было бы опошлить эту красоту, ошлюхать и заклеить доступностью. Парням тогда это было еще не совсем понятно, чего это девчонкам делить их. Парни готовы были их обнять и заласкать всех, без разбору, без ревности, сразу всех: красивых, потому что они красивые, некрасивых – потому что некрасивые. Главное, чтобы без лишних прелюдий, с прелюдиями потом, когда получше друг друга узнают, тогда и цветы и ухаживания, а пока все вместе, все – один курс, все только-только. За знакомство выпить, обнять, поцеловать... Пока эйфория, пока поступили, пока все вместе. Парни вон из кожи лезли, ни денег, ни слов не жалели – главное, чтоб быстро. В первую общую пьянку все уже знали, кто есть кто, все словно соревновались, кто больше глупостей понаделает (в определенном смысле, конечно), потом разбираться будут, когда эйфория пройдет, когда в себя очухаются от счастья... Кристина была вместе со всеми... Никто не рискнул, даже не попытался. И даже не потому, что Гена стерег ее, а... не такая она была, не такой ее видели. Слишком она была красива. Не знали еще, что делать с такой красотой. Возраст такой: чего бы попроще, чего бы подступнее. Не скла-

дывались еще в юношеских головах секс и любовь, похоть и красота, доступность и величие. Любили одних и искали наслаждения с другими, теми, которые под рукой, с теми, с которыми без любви, без проблем... в закуток, потом оправиться и подмигнуть ей игриво. С любовью еще не шутили, любовь берегли... Разве можно... с той, которую любишь? Это же чувства, это же обязательства... женитьба, в конце концов... Наивные были. Все это прошло на втором курсе, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, но прошло. Парни перестали бояться любви, перестали бояться красоты, потихонечку заземлили ее, убедившись, что и красота может принадлежать без проблем... И любовь – не обязательно свадьба; это новое понимание любви теперь нравилось... теперь даже знакомство с родителями было лишь поводом выпить. Почему раньше этого не понимали? – вспоминали весело. К слову, Сингапур первый убедил всех в этом... и еще несколько человек. И Кристина перестала быть красотой. И забыли, что совсем недавно ее красота умиряла. Теперь она только возбуждала. А тогда к Сингапуру парни испытывали даже зависть, когда он – с Кристиной. Вот ведь смелости хватило. Удивляло, что Сингапур нисколько не козырял этим, думали, может, из-за Гены, может... жалел его. Их роман, Сингапура и Кристины, был каким-то незаметным, в институте они вели себя так, словно и не было ничего – и не были они близки. Хотя все знали, что были, еще как были. И Гена знал, но, может, поэтому и не верил. По пятам ходил

за Кристиной, проходу не давал, в подъезде ночевал, раз даже под окном ее песни под гитару пел – все про любовь. Не выдержала Кристина... сжалилась; случилось – один раз, но случилось. Гена чуть от счастья не рехнулся. Но... всё. Что называется, это был не повод. И Гена растерялся. Не донимал больше Кристину, не признавался, не просил, казалось, и не замечал ее вовсе. Не мог он этого понять, не увязывалось у него – как так, как это, просто так... из жалости. За что его... вот так, за что? Может, еще и поэтому все стали думать о Кристине по-другому.

– Обычная она девчонка, – как-то признался Сингапур. – Красота – штука крайне неудобная, она обязательно к чему-то обязывает, всегда думаешь о ней иначе. Не знаю, но почему-то мы, мужчины, боимся красоты, а когда понимаем, что и красоту можно уложить в постель, сразу начинаем ее презирать; и, кто первый уложит, первый и презирать станет – из ревности, а еще от обиды – она такая же, как все. – Это мне Кристина сказала. Она очень тяготится своей красотой. Как-то сказала мне: «Вы, мужчины, неуравновешенны – сначала вы одержимы страстью, а как своего добьетесь – вдруг становитесь одержимы нравственностью. Скользкий вы народ, трусливый вы народ – от того и смелый и отчаянный, что вечно трусость свою перебарываете. Скучно с вами». – Это она про нас, про мужчин. Ее первому мужчине было тридцать пять, когда ей только исполнилось семнадцать. Сама его в постель затащила. И не потому, что очень хотела, а из-за

своей красоты. Она так от комплекса хотела избавиться, доказать себе, что в этом нет ничего значительного и особенного. Просто секс. Доказать себе, что она такая, как и все. И все эти мальчики, все эти воздыхатели только одного и хотят – прикоснуться к ее красоте. А ее не видят. Странно, Гена же вот, наверняка ее видит, без всей этой красоты. А не нужен он ей. А я вот не люблю ее, а нужен ей. Странно все это.

На следующий день после этого разговора он разошелся с Кристиной; сам, первый и порвал все – сказал, что надоело. А Кристина (назло, наверное) в один день сначала с одним роман крутанула, а на следующий день – с другим – все с нашего курса – чтобы знали, чтобы особенно сплетничали, и парней выбрала самых сплетников и кретинов, каких еще поискать. А Гену стороной обошла.

– А я ведь люблю ее, – Гена смотрел Диме в глаза, – люблю, понимаешь ты это? Я ведь жениться на ней хочу. А он, гад... Убью его.

– погоди, Гена, – Дима удержал его. – погоди, давай посидим, пивка возьмем, расскажешь все. Может, ничего и не случилось, может, ты сам себе накрутил все. Крайнего всегда же легко найти. Давай сначала по пивку, а потом уже... – он повел его в магазин.

– Накрутил, – бормотал он, – я ведь... Да-а... – вдруг устало произнес он, глядя куда-то в сторону. – Я ведь сейчас такого натворил... Дима, – он заглянул ему в лицо. – Она ведь мне не простит. Она гордая. Хоть и в Бога сейчас верит, –

прибавил он.

– Сейчас пива возьмем, и все расскажешь.

Гена все рассказал, все – с момента, когда ушел с пляже.

Кристине он шел с одной мыслью – сделать предложение. Если и жениться – то сейчас. Хватит, намучился, – рассуждал он. Любил он Кристину, не мог он без нее. Не верил он ей. Теперь такая, она была его, вся его; никому больше не нужна, все ее бросили. Он только один и остался... Сейчас, – торопил он, – пока не поздно. Не поздно... Поздно... Не верил Гена этому, не думал об этом, ох, как он не думал об этом. А ведь выздоровеет, выздоровеет она и... И пошлет тогда Гену к чертям... Нет, не пошлет, не может она так поступить с ним. Не заслужил он такого, он же... Он же все до копейки, он же работает из-за нее, и все до копейки ей, и по хозяйству – все он... Только не вспоминать ей, что он же... Только не вспоминать, не укорять... Конечно, она не такая, конечно, она его любит. Как же его не любить, когда он... Нет, только об этом не напоминать. Он это делал ради нее и делает! Во имя ее. Не поступит она так с ним. Не выздоровеет она. Не будет она ни с кем. Не позволит он ей быть с кем-то, с этой... с этой сволочью. Не посмеет она. Нельзя так с ним поступать, он же... – Измучился Гена, не мог больше терпеть, торопил он время. Представлял, как войдет, как увидит ее, как она обрадуется. А он – предложение ей – на коленях. Она согласится... а потом, после Пасхи. Сразу. Свадьба. И уже никто не посмеет ее отнять у него. Всех

убьет, всех порвет. Его она уже будет. Навсегда его. Венчаться они будут. А вот перед Богом Кристина не посмеет – перед Богом... к этому... вернуться. Не посмеет! Она другая стала, она теперь в Бога верует. Не посмеет!.. – в мыслях кричал он.

Он вошел к ней в квартиру, в комнату, где Кристина сидела в кресле, смотрела телевизор. Не посмеет... Она оглянулась, что-то в приветствие промычала.

– Зачем он был у тебя? – с ходу спросил Гена. – Ты спишь с ним! Ты изменяла мне, я же... Как ты... Зачем он был у тебя?! – кричал он, стоя над ней, потрясая кулаками. – Как ты можешь, я же... Я же люблю тебя! Все тебя бросили, а я... Я... – он задышался.

Некому было заступиться за Кристину, мама была на работе, бабушка стояла в дверях и сурово поддакивала: – Так и надо, так и надо, Гена, – кивала она на каждое его слово.

Кристина покраснела, она встать хотела, сказать, все тело ее... Скрюченные пальцы не могли даже впиться в ручки кресла, только мычала; и мычать уже сил не было. Только смотрела в глаза его, дико смотрела, нервно. Нельзя с ней так разговаривать, не заслужила она такого.

– Ты спала с ним! Он сказал – ты спала! Я же... – не выдержал Гена – все он высказал, даже утку больничную вспомнил, все вспомнил. Такого в горячке наговорил, что даже бабушка кивать перестала. Не возмущалась больше Кристина, сурово утупилась в телевизор, ничего не видела. Пелена, слезы уже с подбородка капали, не могла она их утереть, сил не

было, руки не слушались, и утереть некому было. Гена уже сидел на диване, обхватив голову, сам чуть не плакал, шептал: – Прости меня, прости меня, – только это и шептал. Резко поднялся и, не в силах видеть Кристину, не в силах простить себе все то, что наговорил ей, не оглядываясь, не прощаясь, вышел из квартиры, даже дверью не хлопнув, даже не закрыв ее – вышел в подъезд, и на улицу, и... Бить морду этой сволочи.

Дима слушал все это молча, сочувствовал он Гене, понимал его, кивал, говорил беззвучно: да-да, конечно. Дима легко принимал чужую боль, ни раз, вот так вот, выслушивал, сопереживал... и искренне возмущен он был; жестокий Сингапур, бесчувственный, и не мешало бы ему... Все же... Выпили по бутылке пива, Дима потрепал Гену за плечо:

– Гена, все это ерунда, – успокаивал он, – ну наговорил в пьяной горячке. Завтра извинишься. Она же любит тебя.

– Да? – глянул с надеждой Гена.

– Конечно! – воскликнул Дима. – Конечно, любит. А на Сингапура внимания не обращай, он скажет, не подавится.

– Убью.

– Глупости. Ему сейчас без твоих убиваний проблем хватает.

– Так и надо.

– Не говори так. Все-таки... нельзя таких вещей говорить. Сингапур перед тобой ни в чем не провинился. Он такой есть. Так что... Поехали сейчас на пруд, там нас ждут.

– Нет, пойдём к нему.

– Зачем?

– Я выпить с ним хочу, водки выпить. Поговорить с ним хочу. Правду знать хочу.

– Какую ещё правду?

– Спал он с ней или нет, – упрямо произнес Гена. – Я хочу знать правду.

– Гена, чего ты несешь, – Дима не выдержал,

– Я не буду его бить, – сурово заявил Гена, – я правду знать хочу. Поговорить, – Гена уперся. Отпускать его одного казалось опасным. Пришлось забыть о встрече, купить водки и идти к Сингапуру.

\*\*\*

Увидев Гену, Сингапур несколько не удивился, даже лицо его не изменилось, сказал: Привет, – и впустил гостей.

Гена вошел, поставил водку на стол, сел в кресло. И молчал. Видно, он сам теперь не знал, что дальше. Он сидел и молчал. Ему неприятно было здесь сидеть. Ему не о чем было говорить. Но и встать и уйти он не мог. Впрочем, вид его был разбитым и совсем нерешителен, и Дима успокоился.

Сингапур принес рюмки; стали пить водку. Опять же молча, как на похоронах.

– Больше нет у меня мастерской... накликал Данил, – вдруг сказал Сингапур. И Дима, и Гена уставились на него.

– Ты, Гена, прости меня, – вдруг сказал он. – Да и ты, Дима, – он смолк.



– Да ладно, чего уж там, – растерялся Гена. – А что случилось-то? – уже с сочувствием спросил он.

Сингапур рассказывал неохотно, больше водку пил, пил и Гена. Гена быстро сломался, никто и не заметил, как голова его опустилась, подбородок уперся в ладонь, так он и уснул с видом вдумчиво слушающего человека. Сингапур рассказывал, история выходила престранная.

Буквально через пять минут, только ушел Данил и следом Дима, раздался звонок в дверь. Сингапур решил, что это парни вернулись, подошел к двери, распахнул ее.

– И... здрасьте, – сказал он, уставившись на двух молодых людей. Один высокий, тощий, в свитере и брюках, и в кедах на босу ногу, с рюкзаком через плечо. Второй невысокий, обросший, вида крайне болезненного, опирался на палочку, он был в заношенном костюме и в зимних ботинках, через его плечо тоже был перекинут рюкзак. Смущало то, что они были или алтайцами, или бурятами, или...

– Вы – Сингапур? – спросил, который был в костюме и с палочкой. Сингапур кивнул. – Я, Филиал, а он – Дартаньян. Мы привели вам Галю. Галя, – позвал он. Галя стояла за дверью. Она вышла неуверенно, щеки горели, шаг – и она упала на Сингапура. – Она вот так же и на меня упала, – сказал назвавший себя Филиалом.

– Она же больна, – ошарашено произнес Сингапур.

– Да, – согласился Филиал. Сбросив рюкзак, он, держа в одной руке палочку, другой пытался помочь Сингапуру про-

водить Галю в зал.

– Не мешай, – сказал Сингапур, взял Галю на руки, отнес в зал на диван.

– Мы хотели ее в больницу, – говорил следом Филиал, – но в больнице ее не взяли, она еще не совсем такая была, точнее, ее хотели взять, но она настояла, чтобы мы ее к вам проводили, она очень к вам хотела. Это родственница ваша?

– Какая родственница? – Сингапур уложил Галю, глядел теперь на парней. Дартаньян босиком прошел в зал.

– Ой, что же это я, – Филиал, где стоял, снял ботинки, носки, носки засунул в ботинки, отнес их в коридор.

– Да не... надо, – в растерянности махнул Сингапур. Филиал уже вернулся.

– Натопчем, – улыбнулся он виновато.

– Скорую же... Скорую надо вызвать, – сообразил Сингапур. Выглядела Галя неважно, она еще похудела, осунулась и была очень простужена, лицо было бледным, щеки горели.

– Она хотела к вам, – оправдываясь, говорил Филиал. – Можно мы сядем? Очень устали.

– Садитесь, – отмахнулся Сингапур, уже накручивая диск телефона. – Скорая? – воскликнул он. – Вызов примите... да, – он назвал свой адрес. – Девушка лет двадцати пяти-тридцати... Не знаю точно. Да, она в моей квартире... Какая разница. Вызывайте на меня. У нее, возможно, пневмония или не знаю, там чего. Температура и горячка... Будете? Как скоро? Как машина будет? Тогда пусть она будет

побыстрее, – уже в крайнем раздражении он повесил трубку. – У них, видите ли, все машины на выезде, – он глянул на Галю, уставился на парней. Галя, казалось, уснула. Парни сидели в креслах, смотрели картины.

– Галя говорила, вы художник, – с уважением произнес Филиал. – Красивые картины, – добавил он, помолчал. – Это хорошо, что вы – художник, художники – хорошие люди. Все хорошие, если они – художники, – он помолчал, казалось, ему тяжело было даже говорить. – Я, вот, писатель. Дартаньян – просто хороший человек, он в душе художник.

– Есть хотите? – глядя на их голодные лица, спросил Сингапур.

– Мы не голодны, мы только что поели, – слишком поспешно отказался Филиал, Дартаньян невольно сглотнул.

– Ладно, у меня только рис... Гречка еще есть. Чего-нибудь приготовлю. А пока вот чай – остыл, правда, но я сейчас свежий заварю.

– Спасибо, мы холодный любим, тем более жарко, – поблагодарил Филиал, налил чаю Дартаньяну, затем себе.

Поставив варить рис, Сингапур вернулся.

– Странные у вас имена, – закурив, произнес он, – вы – алтайцы, наверное?

– Мы из Башкирии. Мы русские, – ответил Филиал.

– А-а, – произнес Сингапур, глядя на них.

– У тебя тоже имя интересное, красивое – Сингапур. – Филиал улыбнулся. Он, видно, был добродушным парнем, но

каким-то странным, все время морщился, толи от боли, то ли от мыслей, и смотрел всегда в глаза. Лицо его было бледным, даже белым, оплывшим, хотя он не был полным, сложение было обычным, но лицо... каким-то болезненно оплывшим, и весь вид его... словно он был дряхлым стариком, хотя видно, что ему еще не исполнилось тридцати. И Дартаньян не казался вполне здоровым, тощий, словно выжатый, беспрестанно оглядывался и видно, с трудом усживал на одном месте; когда Сингапур вернулся с кухни, Дартаньян только и заглядывал туда, откуда пришел Сингапур, и постоянно сглатывал, сглатывал, сглатывал. Чай он выпил залпом, больше не было, добавки попросить постеснялся.

– Федор меня зовут, – сказал Сингапур, – а Сингапур – прозвище, причем глупое.

– Да? – удивился Филиал, – я думал, Сингапур – имя твое, извини.

– Да за что. А тебя как зовут?

– Филиал, так и зовут, так в паспорте записано, только показать не могу, паспорта у нас и деньги в электричке украли.

– Уснули, – подтвердил Дартаньян.

– И у тебя – в паспорте? – глянул на него Сингапур. Дартаньян кивнул.

– Меня мама так называла, в честь Дартаньяна, она это кино очень любила. Мне всегда перед сном пела: Пора-пора-порадуемся на своем веку, – красиво пела, мне нравилось.

С подозрением Сингапур покосился на парней.

– А тебя в честь кого?

– Меня не в честь кого, – ответил Филиал. – У меня два брата, я – средний. Мама первого родила, она его Идеалом назвала, через год я родился, она меня Филиалом назвала, а младшего, он еще через год родился, назвала Финал.

– Любопытно, – теперь уже с откровенным подозрением произнес Сингапур. – У вас там, в Башкирии, у всех такие имена... интересные? – прибавил он осторожно.

– У нас всякие имена. У нас любят красивые имена.

– Ну да, Земфира, Алсу, – припомнил Сингапур. – Дартаньян, конечно, это... сильно... с душой, – добавил он неизвестно к чему.

– У меня сына Спартак зовут.

– В честь Мишулина? – не сдержавшись, пошутил Сингапур.

– Нет, в честь Спартака, великого воина-гладиатора, – серьезно ответил Дартаньян.

– У нас любят, чтобы звучало красиво, – произнес Филиал.

– Ну... да, – согласился Сингапур, – звучат... красиво, – поспешно добавил. Он очень неловко себя чувствовал. Серьезно они все это говорили, это и смущало; слово лишнее боялся он сказать, не хотелось ему обижать их, симпатичные они были, наивные. – Где вы ее нашли? – он кивнул на тревожно спящую Галю.

– Она упала на меня, – просто сказал Филиал. Мы в Моск-

ву едем. На вокзале нашли ее – Галю, – уточнил он. Я захожу в вокзал, и в дверях Галя на меня упала, очень ослабленная, очень... – повторил он. – Мы ее в больницу хотели. Но она очень просила, чтобы к вам. Два часа на электричке ехали, везли ее. Город у вас есть, очень красиво называется – Ратенбург.

– Во куда забралась?.. А вы туда зачем?

– Мы заблудились, мы точной дороги до Москвы не знаем, денег у нас было немного, на билет не хватало. Мы на электричках. Так, мы только в Уфе были. А живем в поселке... Мы не бандиты, не аферисты, мы не хотим вам зла, мы сейчас отдохнули и сейчас пойдём, – он попытался подняться.

– Скоро рис будет готов, поедите и пойдёте, – совсем смутившись, сказал Сингапур.

– Мы бы паспорта показали, но украли их. А Галя родственница ваша?

– Я ее второй раз вижу! – воскликнул Сингапур. – Она вообще мне никто. Она вообще сумасшедшая.

– Это не страшно, я тоже сумасшедший, – признался Филиал.

– Я – нет, – мотнул головой Дартаньян.

– У меня справка есть, – продолжал Филиал, – но и ее украли. Меня родители в военное училище отдали. Били там сильно. По голове били, – он сморщился. – Но я не обижаюсь на них, я потом писателем стал. Нужно, чтобы люди хорошо жили. Нужно объяснить людям, что они хорошие, что

они только притворяются, что злые. Людям объяснить надо, что коммунистов больше нет, что теперь мы живем в демократической единой России, теперь даже национальность в паспорте не пишут. Потому что мы все русские. Теперь не надо быть озлобленными, нужно всем вместе строить наше будущее – будущее Единой России.

– А в Москву, зачем едете?

– Хотим в политическую партию вступить.

– Что, в Башкирии нет «Единой России»?

– Нет, то есть есть. Но мы хотим в Радикально-Либеральную партию России вступить, а такой в Башкирии нет.

– А зачем вам в эту Радикально-Либеральную?

– Чтобы за свободу и демократию бороться...

– Рис! – вспомнил Сингапур. Он вернулся, в руках его были две тарелки, с верхом наполненные рисом. Парни стали есть. Филиал аккуратно и с видом приличия, Дартаньян – обжигаясь, яростно и жадно.

– Когда же скорая, – Сингапур нервничал, вид спящей Гали не внушал спокойствия, она вздрагивала и то и дело ворочалась. И зачем вам в эту партию? – чтобы не молчать, спросил он.

– У них программа хорошая, – отложив вилку, отвечал Филиал. – Мы, правда, всех пунктов не помним, но у них там два пункта есть очень важных пункта.

– Интересно. Да ты ешь.

– Горячо, – Филиал улыбнулся, сморщился. – Первый

пункт – чтобы ввести в Чечне прямое правление ООН, и второй – чтобы разрешить в России однополые браки.

– Чего? – не понял Сингапур.

– Разрешить в России однополые браки, – повторил Филиал.

– В смысле? – Сингапур глянул на Филиала, на Дартаньяна, тяжело задышавшего – рис был еще очень горячим. – Вы хотите... – он подбирал приличные слова, – связать себя узам брака?

– Нет, что вы, мы же мусульмане. У Дартаньяна жена, сын. Нет, мы не такие.

– Тогда зачем вам это?

– Мы за демократию, за свободу. Мы живем теперь в свободной России.

Внимательно Сингапур смотрел на них. Он повторил:

– А вам-то это зачем?

– Мы должны доказать Европе, что Россия – свободная демократическая страна, покончившая с коммунизмом и тоталитаризмом. Ведь сколько молодых людей гибнет от непонимания их обществом. Они живут со своей болью, мучаются, они хотят любить, они же такие же, как и мы – люди. А им запрещают это, их ущемляют в их правах. Я читал в газете, что молодой юноша покончил с собой, когда его одноклассники узнали, что он любит другого юношу. Ведь это ужасно, – Филиал сморщился, точно от резкой боли. – Это ужасно, – повторил он, когда молодые люди поканчивают с собой



из-за непонимания их обществом. Мы должны защитить их права. Они же не виноваты, что такими их сотворил Бог.

– А ООН в Чечне зачем?

– Мы же русские люди, – ответил Филиал, – мы должны уважать культуру другого народа. Чеченцы – свободный народ, стремящийся к демократии, они должны жить в правовом демократическом обществе. Сталин жестоко поступил с ними, выслав их в Казахстан. Мы должны искупить перед ними вину своих отцов. Должны покаяться перед этим несправедливо угнетенным народом. Мы должны дать им свободу выбора. Мы не можем, объективно, справиться. ООН – международная организация, она борется за права человека в Чечне. Если ввести в Чечне прямое правление ООН, то война прекратится, терроризм будет побежден, а чеченцы будут восстановлены в своих человеческих правах. Сейчас же там власть террористов и генералов. У России пока нет времени заниматься проблемой мира в Чечне, пусть этим займется ООН.

– Да-а, – только и произнес Сингапур.

– Я об этом и пишу, – признался Филиал, – я написал книгу, хочу издать ее в Москве, она о свободе, о том, чтобы люди жили демократически. Если хочешь, я могу прочитать ее.

– Большая?

Филиал попросил Дартаньяна, тот вышел в коридор, вернулся с рукописью. Это была внушительная, в два пальца толщиной стопка машинописных листов.

– Я сам посмотрю, а ты ешь, уже остыло, – Сингапур взял рукопись. Филиал сдержанно, соблюдая все приличия, начал есть. – Если коротко, – заметил он, – то там сначала описание некоего поселка, где свершилось самоубийство молодого юноши, а потом я рассказываю... словом, там очень много мыслей о судьбе России, о проблеме однополрой любви...

– Хорошо, ты ешь, – сказал Сингапур, уже читая первую страницу.

Филиал Рамазанов

Свободная Россия

роман

глава первая

Смеркалось. Одинокий маленький поселок на окраине большого города. Поселок разложился под холмом. Вокруг холма разбежались дома в стихийном ранжире. О мегаполисе города напоминал лишь «топот» трамвая. В поселке по архаической привычке еще держали коров и открытые двери. Коровы паслись в лугах по всему периметру поля вплоть до поселка. Вокруг кипело пиршество зелени. В высокой процветающей траве, облокотившись на обе руки, полулежал на боку красивый молодой юноша с родинкой на левой части щеки возле губ. Он был гомосексуалистом и играл на скрипке. Он лежал на пышных раскидистых, растущих из земли белых полевых ромашках, в руках его покоился томик «Братья Карамазовы». Он читал и плакал. Он не верил, что Митя

убил своего отца, и это была правда, отца убил Смердяков, но юноша не прочел до этого места и не знал. И он, поэтому плакал. Закрыв томик, он встал на ноги, утер тыльной стороной ладони скупую юношескую выкатившуюся из глаз невинную слезу и подумал о своем друге. Он знал, что сегодня он беспричинно умрет, по вине жестокосердного, не понимающего, что власть коммунистов и тоталитаристов закончилась, общества, не понимающего, что гомосексуалисты тоже полноправные граждане Российской Федерации, даже чеченцы.

– Да-а, – Сингапур положил рукопись на стол.

– Интересно? – в волнении спросил Филиал.

– Как тебе сказать... Стиль... необычный, – ответил Сингапур.

– Да, там запятые кое-где нужно правильно расставить, – согласился Филиал. – Эта рукопись для меня очень ценная, я два года писал этот роман. Думал, в Уфе его издать. Но решил, что в Москве будет лучше. Мне деньги за него не нужны, мне главное, чтобы люди его прочитали и поняли. Там очень много мыслей и о свободе, и о судьбе России, и о ее месте в мировом сообществе. Я думаю, что нужны спонсоры, сейчас ведь везде блат; я думаю показать ее в Радикально-Либеральную партию, думаю, они прочитают, я там и про них написал, думаю, они помогут мне его издать. Или мне сразу идти в издательство? Как вы, Федор, думаете?

– Ну, – Сингапур замялся, – трудно сказать.

– Я читал книги одного издательства... не помню... Так там у них похож стиль на мой, они печатают молодых авторов, как я. Хорошее издание, думаю, они напечатают. Я слышал, там главный редактор – тоже демократ.

– В смысле... определенном? – Сингапур сам не ожидал от себя такой деликатности в выборе слов.

– Да, – кивнул Филиал, – его, слышал, волнует эта проблема. Ему должен понравиться мой роман.

– Ну, если так... тогда конечно... тогда – поймет... Где же скорая! – вдруг воскликнул он. Галя тяжело вздохнула, резко перевернулась на спину и захрипела.

В дверь позвонили.

– Наконец-то! – вскричав, Сингапур бросился открывать дверь.

– Наконец-то! – он справился с замком и распахнул дверь. На пороге стояли его мама и отчим.

– Здравствуй, Федор, – поздоровалась мама. Высокая, полная, еще привлекательная женщина пятидесяти лет. В свободном летнем костюме, через плечо сумочка. Чуть склонив голову, она внимательно вглядывалась в сына. Такие же черные непослушные волосы, такие же темно-карие пытливые глаза, но взгляд неуверенный, оттого еще более пыливый. Она всегда так вглядывалась: чуть склонив голову и внимательно, когда собиралась говорить серьезно.

– Здравсте, кивнул Федор, казалось, он стал ниже ростом, как-то сник и совсем ссутулился.

Он отошел от прохода. Мама вошла, следом отчим, плотный, с тяжелым представительным животом от самой груди, плечи широкие, руки сильные, походка усталая, лицо давно припухшее, взгляд равнодушный, сказал, усмехнувшись: – Привет, – он всегда усмехался, когда нечего сказать, словно говоря этим: «Все мне с вами ясно», – и обязательно напевал что-то известное только ему и все на один мотив. Он и сейчас напевал, мельком взглянув в зеркало, поправил пробор светленьких жиденьких волос... Сингапур не любил отчима. Всякий раз, когда случалось видеть его, обходился «здрассте» и не смотрел ему в лицо. Впрочем, отчим и не замечал этого, он вообще его не замечал. Так у них сложилось. Он никогда и никак не называл его – он вообще никогда и никак не называл его, даже маленького, даже по имени. Если была необходимость, говорил сразу, без обращения, без имени. Так у них сложилось. И Федор его никак не называл, и если была необходимость, говорил сразу, без обращения, без имени-отчества. Только когда совсем маленький был, тогда называл «папа», потом «па», последние года два язык не поворачивался и «па» назвать. Обходился.

Даже в этом обманул, – вздохнула мама, увидев грязный, в засохших пыльных разводах пол. И точно в укор сняла босножки. Федор немедля поставил перед мамой тапочки, – Даа, – вздохнула она, надев тапочки. – Ну, что, Федор, – она хотела продолжить, вошла в зал, увидела гостей. – Здравствуй-те, – поздоровалась.

– Здравствуйте, – поняв, кто вошел, почтительно привстали парни.

– Бог ты мой, – мама увидела Галю. Та не спала. Впрочем, она и вовсе не спала. Тяжело поднялась, в беззвучном болезненном ужасе смотрела на вошедших.

Отчим остановился в дверях, лишь мельком глянув на гостей, осматривал комнату, равнодушно и терпеливо, как человек, зашедший на минуту и по делу, причем не по-своему.

– Спасибо, Федор. Пора нам, – Филиал поднялся.

– Да, пора, – вскочил Дартаньян.

И Галя опустила ноги, хотела подняться, сил не было. Обмякнув, она, уставившись себе на руки, вглядываясь в раскрытые ладони, так и сидела, словно замерев, только вздрагивала в ознобе.

Быстро выпроводив парней, Сингапур вернулся. Мама сидела рядом с Галей.

– Вам плохо? – она пыталась заглянуть Гале в лицо, та все ниже опускала голову, словно в ожидании удара. – Девушка, у вас температура, вам бы... к врачу.

Галя как могла, еще ниже склонила голову. Мама в растерянности глянула на сына. Поднялась. Кивнула ему. Они вышли на кухню.

Плотно закрыв за собой дверь, мама немедленно спросила:

Кто она? Она что, больна?

– Да, мама, она больна, я вообще думала, что скорая, когда

вы пришли.

– Кто она?

– Долгая история. Впрочем, и рассказывать нечего, – спешно добавил он. – Она больна, сейчас приедет, надеюсь, скорая... Мама, я сам был в шоке, когда увидел ее. Не спрашивай меня. И так тошно.

– Родители ведь есть у нее? Им надо позвонить.

– Мама! – он готов был вскричать... тихо-тихо говорил. – Я не знаю, кто ее родители, я не знаю, где она живет. Я знаю, что она больна и на голову тоже. И я очень-очень хочу, мама, чтобы побыстрее приехала скорая и забрала ее. Не спрашивай меня больше.

– Хорошо, – согласилась мама, она больше не спрашивала, она вообще не знала, что и как теперь говорить. В волнении достала из сумочки сигареты, закурила. – Час от часу, Федор, с тобой не легче, – произнесла она. – Когда же кончатся твои сюрпризы?

Молча, она выкурила сигарету. Молчал и Федор.

– А если она умрет?

– Мама! – прошипел он.

– Как хоть ее зовут?

– Галя ее зовут.

– Давно ее знаешь?

– Не больше недели... мама, я же просил тебя, – взмолил он. – Может, ты сама в скорую позвонишь... Хотя ладно... Ладно, – он отмахнулся.

– Скорую давно ждете?

– Не знаю... сорок минут, полчаса, может, час. Не знаю.

Мама поднялась.

– Надо что-то делать. – Вернулась в зал.

– Как вы себя чувствуете? – она села рядом с Галей. Га-

ля все так же вглядывалась в ладони, молчала. Отчим, казалось, спал, удобно усевшись в кресле. – Вы далеко живете? Давайте я позвоню вашим родителям.

Ни слова. Казалось, Галя вовсе ее не слышала. Мамаглянула на сына.

– Вас ведь Галя зовут? – вновь попыталась она. Молчание.

Все чаще Галя вздрагивала в ознобе, все отчетливее становилась дрожь. Щеки и лоб ее горели. Лицо уткнулось в ладони – она зарыдала. Все, и отчим, в испуге глядели на нее. Что делать – никто не знал.

– Скорая? – мама, косясь на Галю, нервно говорила в трубку. – Час назад мы сделали вызов... Вы знаете? Машин у вас нет, все на вызовах? Ожидать? И сколько – пока человек умрет? – она нажала рычаг, набрала номер. – Такси? – назвала адрес, – через пятнадцать минут? Ждем. – Положила трубку. – Девушка, я не знаю, кто вы, но вам необходимо в больницу.

Галя зарыдала во весь голос, страшно всхлипывая, сглатывая, и так задыхаясь, что мама сама чуть не заплакала.

– Да что же это такое?! Что же ты за сюрпризы всегда подносишь, что же это такое?! – она оглянулась. – Где моя су-



мочка?

– На кухне.

– Принеси сигареты.

Федор принес сигареты.

Галя рыдала, мама курила на балконе, отчим вышел в кухню.

Зазвонил телефон.

– Да? – Сингапур схватил трубку.

Раздался звонок в дверь.

– Мама! – он протянул ей трубку. – Такси. – Бросился открывать дверь.

Вскоре в комнату вошли врач и медсестра.

– Спасибо, такси не нужно, – говорила в трубку мама. – Платить за вызов? Так мы же... Хорошо. – Она повесила трубку. – Доктор, – глянула она на врача, – что с ней?

Врач, высокий, плотный мужчина осматривал Галю.

Похоже на пневмонию, – ответил он. Медсестра сделала Гале укол. – Пойдемте, девушка.

– Нет! – нервный отчаянный стон. – Нет, – Галя в мольбе глядела на Сингапура. – Пожалуйста, не надо.

– Девушка, пойдемте, – повторила медсестра.

– Они убьют меня, не отдавай меня, – просила она.

– Что за глупости, – возмутился врач.

– Убьют...

Сингапур не слушая, подхватил ее, повел к выходу. Только сейчас он обратил внимание, что на ногах ее жуткие, раз-

мера на три больше мужские зимние ботинки с помойки.

Галю ввели в карету скорой помощи. Скорая уехала. Сингапур вместе с мамой вернулся в квартиру.

– Кошмар какой-то, – не придя в себя, говорила мама. – Хоть чаю давай попьем.

Отчим стоял на балконе. Для него, видно, все это было немалой пыткой, вся эта бестолковая нелепая ситуация. Ему хотелось побыстрее уйти. Терпеливо он ждал, стараясь уединиться.

Мама и сын были на кухне, на плите закипал чайник. Мама закурила.

– Мама, я столько не курю, – заметил Федор.

– С тобой тут запьешь, – ответила мама. Слезы выступили; сдерживаясь, она старалась не плакать, слезы текли, лицо ее покраснелось, она затыгивалась часто, долго и тяжело выпуская дым. – У меня и так давление. Самой в пору в больницу ложиться. Что ты со мной делаешь... Федор, нельзя так... Что с квартирой сделал, во что ты ее превратил... Это же... притон. Здесь жить нельзя, везде грязь... И... – она решилась. – Почему ты соврал, что... Тебя же отчислили, Федор... Сколько ты будешь испытывать меня? Отец (так она называла отчима) больше не будет платить за тебя... Словом, Федор, ты пойдешь работать. Он уже договорился, тебя возьмут слесарем. Квартиру эту мы сдадим. Будешь жить с нами. И не вздумай со мной спорить! – она не выдержала, заплакала.

Федор не спорил. Закипел чайник, он заварил чай, сел на место – все молча. Не собирался он спорить. Права мать; он смотрел в окно... тошно было, тем более за окном солнце, березы... тихо было во дворе, тихо и безветренно – что выть хотелось. Будет он и слесарем работать, и с квартиры этой съедет, и с ними жить будет... хотя как он с ними жить будет... как? Не первый раз мама поднимала этот вопрос, не первый раз уговаривала его переехать и жить вместе... Не соглашался Федор, до скандала не соглашался, до слез и крика. Ненавидел он отчима, не мог он жить с ним в одной квартире. Впрочем, не за что ему было отчима ненавидеть. Единственное, что отчим не делал для него, это не любил его. Во всем остальном Сингапуру можно было только позавидовать. Он жил на полном обеспечении, и жил как хотел.

– За что ты его не любишь, – спрашивала мама, – что плохого он сделал тебе? Он же тебе больше, чем отец. Все твои капризы, все твои желания – все исполнялись им.

– Все исполнялись тобой, – возражал сын.

– Но на его деньги. Он ни разу не повысил на тебя голос, ни разу не поднял руку.

– Но ни разу и не приласкал. Я с девяти лет живу с ним. Хотя бы раз он назвал меня по имени?

– Но он такой человек...

– Он и бабушку ни разу никак не назвал, – напомнил Федор. – Ни разу, даже по имени-отчеству. Она-то ему, что плохого сделала?

– Но он такой человек, – защищалась мама. – Он просто скромный.

– Это иначе называется – равнодушный. Он женился на тебе. И бабушка, и я были ненужной обузой, мебелью, даже хуже – ничто.

– Не говори так! Он все делал для вас, для тебя.

– Для тебя, – уже зло повторял он.

– Да твой родной отец и того для тебя не сделал, и тысячной доли не сделал...

– Родной отец звал меня по имени, я помню это.

– Родной отец от тебя отказался. Это ты помнишь? Родному отцу на тебя наплевать, он вообще не верит, что ты – его сын.

– Тем лучше, раз у меня не было родного отца, зачем мне приемный?

– Да затем, что он кормит тебя, одевает, заботится о тебе!

– Если ты поменяешь меня на собачку, он даже не заметит, и также будет заботиться о ней, о твоей собачке, даже, возможно, кличку ее запомнит. Он хоть помнит, как меня зовут?

– Чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?

– Чтобы ты называла вещи своими именами и не путала своего мужа с моим отцом. И не заставляла меня быть ему благодарным. Он мне не отец, он твой муж – все, что я хочу от тебя – чтобы ты поняла это. А то, что мой родной отец не верит, что я – его сын, это неважно. Важно, что я верю, что

он мой отец. А я в это верю. И поэтому люблю его.

– Ему даже не интересно, как ты живешь!

– Отчиму тоже не интересно. Но уж лучше любить иллюзию, чем чужого дядю, который спит с твоей матерью.

– Сейчас ты такая же дрянь, как и твой родной отец.

– Зато сколько эмоций. А с твоим муженьком – мужичком, который Миллера от Малера не отличит, который уверял меня, что прочитал море книг, и ни одной из них не помнит, который рассуждает, что Толстой и Достоевский скучные, и вообще он любит научную фантастику; у которого вся прелесть в жизни – это рыбалка и баня, а в живописи главное, чтобы душа отдыхала; как ты вообще с ним живешь, ты, у которой настоящее высшее литературное образование, ты, которая читала мне Экзюпери и учила меня любить Моцарта и Вивальди... Мама, мы и он из другого мира, оттого он мне противен и со своей рыбалкой, и со своей деревней... Он мужик, а я никогда им не был.

– Плохо, что ты не мужик.

– Плохо, что ты становишься с ним бабой.

– Дурак, – обиделась мама.

\*\*\*

Теперь Федор сидел тихо, теперь он не возмущался, не спорил, пусть будет, как будет, может, мать и права. Будет он и слесарем, и мужиком, и... В злобе смотрел он в окно... Тихо было, безветренно. По дорожке шли две молодые мамы с колясками, коляски яркие, мамы красивые, обе длинноно-

гие, в шортиках, в маечках.

– Хочу еще сына, – сказала одна, – только, чтобы мужик алименты платил, а то все эти халявщики... надоели.

Вторая мама только усмехнулась. Проводив их, Сингапур поднялся.

– Ладно, мама, устал я.

– Значит так, – строго говорила мама, когда уже вместе с отчимом они стояли на выходе, – завтра в десять утра придет машина, к этому времени собери все свои картины, мы их перевезем, сложишь их в своей комнате. Ключи, – протянула она руку, Федор отдал ей ключи. – Ходить тебе все равно никуда не надо, занимайся делами, собери свои картины, чтобы потом не обижаться, а я уже потом все вещи твои соберу, приберусь здесь. Всё, завтра в десять я приеду. Занимайся делами... И запомни, Федор, – мама пристально глядела на него, – все это ради тебя.

Они ушли. Сингапур зашел на кухню, взял заваренный чай, вернулся в зал, сел в кресло. Что теперь было делать... Черт его знает.

\*\*\*

– Вот такие, Дима, дела, – не глядя, заключил он. – И главное, – он попытался усмехнуться, – все это ради меня. Ради моего же блага. Для моего же блага отнять у меня мастерскую... и сдать ее... Для моего же блага! – не удержавшись, в ненависти выругался он. И я даже знаю, кому они хотят ее сдать. У отчима – старший брат, у старшего брата – сын,

рецидивист конченный, и ладно бы воровать умел, так ведь всю жизнь по тюрьмам и лагерям – и всё за три копейки. Причем отец его зарабатывает хорошие деньги, и сын никогда ни в чем не нуждался, а все равно воровал. Независимым быть хотел – бродягой. Хоть по жизни трусоват и с подлецей, ко всему прочему ума небольшого и души широкой, эту-то широкую его душу, отец его всегда в заслугу ему и ставил: дескать, сын мой последнего не пожалеет, последнюю рубаху свою снимет и отдаст. Да, видел, последнее отдавал, ни рубля на гульбу не жалел, зато, отдав последнее, с чистой душой, тут же мог и обворовать, причем того, кому только что последнюю рубаху отдал. И то, и то – искренне, и отдавал искренне и крал искренне, без всякой задней мысли – как дитя. И внешне роста невысоко, худощав, светловолос, глаза чистые голубые, взгляд искренний, и зовут – Алеша. Посмотришь на него, послушаешь – сама невинность. Отвернешься, обязательно что-нибудь да сопрет и не покраснеет. Три года назад вышел на свободу, три месяца погулял, жениться успел – по любви, на заочнице, четыре года переписывались, влюбилась, поверила ему. Свадьбу сыграли. Отец его с этой свадьбой в долги влез – на радостях – сын женится, сын одумался. Он сына на работу устроил, в магазин продавцом под свою ответственность. Через три месяца сыночка взяли – вооруженное ограбление коммерческого киоска. И вот судьба – пошел грабить коммерческий киоск с газовым пистолетом, а в этом коммерческом киоске в гостях у продавщицы сиде-

ли два ее знакомых – оба сотрудники ОМОНа. Так что перед судом Алеша три месяца в больнице лежал побитый и поломанный. Сел. Кстати, и магазин, где продавцом работал, обокрал по-тихому – думал, не заметят. Он – в колонии, жена дочь ему родила. Естественно, ждать такого кретина девять лет, когда она его всего три месяца знала, если переписки сладенькой не считать. Жить дальше надо. У нее любовник. Все открыто, всё всем известно. И вот тебе ситуация: у брата отчима единственная внучка. Пока невестка живет со свекром, но идет разговор, что собирается съезжать, что естественно. Сама она из деревни. Съедет она и все, не будет внучки. Есть выход – поселить ее в моей квартире вместе с внучкой и любовником, тогда брат отчима может внучку хоть каждый день навещать, потому как, получается, что квартира его, и платить невестке за нее не надо. В своем роде взаимные обязательства. Вот тебе и история. Вот тебе и кровь родная, которая все стерпит и все простит. И для отчима эта внучка двоюродная, роднее всех, всех – это меня, пасынка его. А сдавать – это только так называется. Брат его в долгах по сей день... А мать мне про какую-то благодарность говорит...

– Не у всех же такие отчимы, – возразил Дима.

– У всех, поверь мне. Отчим тогда хорош, когда по любви, когда он чужого ребенка – как своего. А когда по обязательству, когда ребенок – как приложение, которое должно любить, тогда... Да, и когда по любви... В любом случае – у



всех характер. И когда характеры столкнутся... Уверяю тебя: отчим если не скажет, то подумает, обязательно подумает: вот мой бы, родной бы сын... и так далее. Когда оно родное, когда оно свое... все простишь, все поймешь... а когда чужое... Мне еще повезло, мой хоть в мою жизнь откровенно не лезет, моим носом в мое чужое не тычет. А есть, которые и тычут, и еще как тычут – с наслаждением, с благородством: я тебя кормлю, воспитываю, а ты меня слушай, а ты мне не перечь.

– Если так, то и родные отцы бывают похлеще, – возразил Дима.

– Бывают, – согласился Сингапур. Только когда доходит до крайнего, родной отец, какой бы он сволочью не был, волей-неволей кровь вспомнит. Кровь сама ему вспомнит. А отчиму вспоминать нечего. Это только в поэзии – кровь – любовь – дурной тон, а в жизни это – рифма, и очень сильная рифма. И дуры те матери, которые своим детишкам внушают: этот дядя – теперь твой папа, ох, дуры, – с внезапной болью тихо произнес он. – Вот такие вот дела, – он замолчал.

Гена спал. Перешел на диван, лег и уснул.

– Что-то много всего навалилось на меня, – произнес Сингапур, глядя на мирно похрапывающего Гену. – Слишком много. Куда вот мне теперь?.. я вот сейчас скажу тебе... – он смолк, долго молчал. – Не жалко мне ничего. Картины в первую очередь. И институт не жалко, и квартиры не жалко... и себя не жалко. Мне сон сегодня приснился, что умер

я. Давно так хорошо не было. Вокруг какая-то зыбь... легко, спокойно... равнодушно... Проснулся и захотелось умереть. Здесь все равно жизни нет... Если уж два шизика, – он с усмешкой глянул на Диму, болеют проблемой гомосексуализма... что же это за жизнь настала? В какое время мы живем, если даже их интересует не то, что они живут, впрочем, как и большинство нас, как бессловесные скоты, как рабы без права слова, и даже голоса, а волнует проблема однополых браков. До чего же мы докатились? Хотя бабушка рассказывала, что их тоже больше волновала проблема Кубы и Африки, но на Кубе хоть коммунизм строили, а теперь что, гомосексуализм? Великая гомосексуалистическая стройка и такое же будущее? Я историю слышал от одного... юриста, знакомого отчима. Известный адвокат в нашем городе. Он весело рассказывал, как ночью, в компании каких-то известных бандитов, права которых он защищает, в лоскуты пьяный катался по центру города на ворованной машине. И что любопытно, их остановили гаишники. Обратили внимание на подозрительную машину, разъезжающую по центру со скоростью сто двадцать километров в час. План-перехват объявили, с полчаса гонялись, заловили все-таки – юрист весело все рассказывал, как они в летнее кафе въехали, как столики посшибали – обхохочешься. И заловили-таки их. Пять машин с мигалками и с надписью ГИБДД на капотах окружили, в тупик загнали – усмеяться можно. Особенно, когда бандиты оказались знакомыми не только юри-

ста, но и гаишников. Гаишники укорили их – что же это они, на ворованной машине, пьяные, да на скорости, да по центру... Пожарили, чтоб осторожнее ехали, чтоб особо не шалили, и отпустили – вместе с машиной отпустили. И эта проблема никого не волнует, ну, коррумпирована власть, ну и что? Разве это проблема? А вот проблема однополых браков – это да, это воистину проблема. Мы же жить не сможем, пока всякие там... будут несчастливо жить вне брака. Что ж за народ у нас такой ебанутый, – в сердцах произнес он. – Выродимся все скоро... Если уж в колыбели католицизма, в Испании, разрешили эти браки. Воистину – Иисус достоин аплодисментов.

– Как себя чувствуешь? – спросил Дима, когда вслед за Геной вышел из подъезда.

– Нормально, – ответил Гена. Выглядел он виновато и подавлено.

– Куда сейчас?

– Пойду к Кристине, – ответил он.

– Лучше завтра, – посоветовал Дима. – Поверь мне, лучше завтра.

– Думаешь?

– Уверен.

– Тогда на пруд. Одному сейчас... тяжеловато, – он усмехнулся.

– Да... одному сейчас тяжеловато, – повторил Дима,

невольно глянув на темные окна квартиры Сингапура.

Был поздний вечер. Парни взяли по бутылке пива и решили дойти до пруда пешком. Ни словом о Сингапуре не обмолвились. И о Кристине больше ни слова. Шли, пили пиво, говорили о всяком, но больше молчали. Не о чем было говорить.

#### 4

То, что Сингапур сошел с ума, никто теперь в этом не сомневался. Слишком очевидно все было, особенно учитывая случившееся этой ночью.

Под утро соседи по его дому проснулись от яркого света пламени, все увидели посреди двора костер из листов фанеры и оргалита, рядом на земле молча сидел Сингапур. Пламя было высоким и яростным, дым – черным и густым – горела краска. Рассказывали, что когда ему крикнули, что же он делает, он поднялся и ответил, юродствуя и кривляясь, определенно, он был пьян: «Иисус излечил меня! Он вправил мне мозги! Поаплодируем Иисусу!» – и яростно забил в ладоши, словно призывая и всех аплодировать. Ему пригрозили вызвать милицию. Он сделал в сторону соседей непристойный жест, развернулся и ушел. Больше его не видели. Как канул. Не появился он и у матери. Как и собиралась, она приехала к десяти утра... Много всего услышала она от возмущенных соседей. И, как подтверждение, что ее сын допился, куча обгоревших кусков фанеры, не догоревших лишь потому, что кто-то из соседей вышли с ведрами и затушили это безобра-

зие. Что осталось, убрала мама, отнеся обгоревшие куски на мусорку. Поиски сына ни к чему не привели; мама обзвонила всех его знакомых, кого знала, нигде он не появлялся, никто его не видел, и никто о нем ничего не слышал и не знал. Все лишь утешали, что вернется. Куда ему деться-то?

Об исчезновении Сингапура говорили ровно один день. Другое событие заинтересовало всех куда больше – Кристина согласилась выйти замуж за Гену. Вот это было событие! Свадьбу назначили на следующее воскресенье после Пасхи. Гена, договорившись с замдекана, что перейдет на заочное отделение, взял академический отпуск и работал теперь, как заведенный, дни и ночи пропадая в мастерской, где он подрабатывал, делая уличную рекламу. Подробности того, как Кристина согласилась, мало кого удовлетворили, все было слишком прозаично: Гена пришел в костюме и с цветами. Сделал предложение. Кристина согласилась. Как? Почему? Гена радостный, ошалевший, ворвался в институт, сказал, что «Согласилась!» Понапригашал всех. Час просидел в кабинете у замдекана, вышел от нее совсем счастливый и подшофе и... всё. Ушел.

Все пошло своим чередом. Институт, лекции, пиво; как-то само собой забыли и о Сингапуре, и о Гене, и о Кристине. Не было их... И, в конце концов, нельзя же вечно жить чужими страстями. Была своя жизнь, обычная студенческая жизнь. Ею и жили. Интересуясь и волнуясь тем, что касалось этой жизни, что входило в эту жизнь, а что было вне, что

ушло, что потерялось, то никого уже не интересовало, если только так, когда совсем уже поговорить не о чем, тогда и вспоминали, но невзначай и ненадолго и только, самое-самое. Тем более что погода внезапно испортилась, похолодало, и пошли бесконечно-серые дождливые дни. Ко всему прочему отключили отопление, отключили – сразу похолодало. Просто мистика. Погода не переставала удивлять и... злить. Она как издевалась. Как недавно все парились в квартирах – теперь мерзли.

Была предпасхальная суббота. Серое низкое небо, мелкий знобливый дождь, унылые озадаченные лица – все готовились к празднику. Разговоров только и было, что о звериных ценах и о паскудной погоде. Вновь город стал серым и безликим. Но все верили, что завтра, на Пасху, обязательно будет солнце – не могло быть иначе; кляня погоду, все уверяли, что завтра солнце будет обязательно.

К празднику готовились, как к встрече Нового Года, готовились основательно, чтоб уж разговеться, так разговеться. Родители Димы на праздник уехали в деревню, квартира была пуста, и праздновать решили у него. План был прост: сперва к центральному собору на Крестный ход, после уже домой – разговляться.

Все покупки были сделаны, единственное, забыли купить «Кагор», а без «Кагора» какая Пасха?

Дима и так весь день был дома и за вином решил сходить

сам, девчонки готовили стол, парни – кто пил пиво, кто смотрел телевизор.

– Я один схожу, – сказав, Дима ушел в гастроном.

Купив вина, и уже выходя из магазина, он увидел Сингапура, неторопливо он шел в сторону автобусной остановки. Дима быстро догнал его.

– Сингапур, привет, ты, что ли? – глупо спросил он. А что еще можно было спросить, когда он исчез, и больше двух недель о нем лишь слухи; говорили даже, что его убили. Но больше склонялись, что он или в бегах, или в психиатрической лечебнице... А где он еще мог быть?

Он выглядел вполне прилично: чистый, выбритый, в своем неизменном кожаном плаще, на удивление вычищенном... И, вообще, Сингапур выглядел... пристойно: волосы его были подстрижены в аккуратный ежик, из под плаща выглядывала свежая, выглаженная бежевая рубашка, новые джинсы, вычищенные до блеска туфли. – Хорошо выглядишь, – сказал Дима.

– Да, – кивнул он. – Ты тоже неплохо. – По случаю праздника, Дима украсил себя бабочкой, красовавшейся поверх белого воротничка рубашки выставленного испод свитера. – С матерью живу. Слесарем работаю, – прибавил он.

– Слесарем? – не веря, переспросил Дима.

– Да, слесарем, – повторил он спокойно.

Его было не узнать. Его равнодушие сбивало с толку, он говорил без всяких эмоций, словно так и должно быть, слов-

но он всю жизнь работал слесарем. Не было ни горечи, ни иронии в его тоне, равнодушный обыденный тон.

– И как оно – работать слесарем?

– Обыденно, – ответил он.

– Слушай, может, по пивку, – Дима не знал, о чем можно дальше говорить, от того и предложил.

– Не пью, – ответил он и опять же, равнодушно и без эмоций.

– Ты часом не заболел? Я сперва подумал, что ты с похмелья. – У него действительно был какой-то болезненно-похмельный вид, и это равнодушие казалось каким-то не его, каким-то искусственным, не вязалось это: равнодушие и Сингапур. Не мог он быть равнодушным. Не мог он быть без эмоций.

– Не заболел, – ответил он. Странно, он говорил как человек, желающий прекратить разговор, да и выглядел так же, но не уходил он, точно ждал, что Дима первый скажет: «пока» и первым уйдет.

– Ладно, пока, – поняв это, сказал Дима.

– Счастливо, – ответил он.

Сказав это, парни продолжили стоять не месте. Глупейшая ситуация. Махнув, Дима развернулся, и зашагал своей дорогой. Странно все это было, думал он, так и порываясь оглянуться, и не позволяя себе этого: и сама встреча, и его такое вот равнодушие. Странно.



Когда Дима вернулся, увидел Данила, он стоял один на балконе, первое, что рассказал ему, – о встрече с Сингапуром. То, что странный он какой-то, то, что слесарем работает.

– Знаю, – ответил Данил.

– А чего молчал-то? – Дима немало этому удивился.

– Он просил не говорить, – ответил Данил.

– Он, правда, работает слесарем и не пьет? – все еще не веря, спросил Дима.

– Да, не пьет, – подтвердил Данил.

– Закодировался?

– Нет, сам не пьет. А слесарем – три дня отработал и ушел.

Какой из него слесарь? – риторически глянул на него Данил.

– Ты толком можешь рассказать – мне-то? – глянув в зал, где были парни и девчонки, глянув так, словно боясь, что их услышат, негромко попросил Дима.

– Толком и рассказывать нечего, – тоже негромко ответил Данил. – Вообще история какая-то мутная и непонятная. И Данил стал рассказывать.

Сингапур не был пьян, когда, вытащив во двор все свои картины, свалил их в одну кучу, облил, на что хватило, растворителем, покидал все тряпки, кисти, карандаши, словом, все, что могло напоминать ему о прошлом. Все это он делал в неосознанном, даже мальчишеском порыве, так что можно было решить, что он пьяный; он был больше, чем пьяный –

обиженный на весь свет. Огонь занялся не сразу, картины не хотели гореть. Да и поджигать он их не хотел... Но их надо было поджечь – назло всем. Пламя, наконец, занялось. Он сел возле костра, облегчения, которого он ожидал, не было. Была ненависть, была обида. Вот занялась та картина, которую он сделал когда-то, вот еще одна, а вот и одна из любимых... вытащить ее... Ее хотя бы вытащить. Да зачем, вообще, он это делает? Кто заставляет его? Кто просил? Кому это надо? Картины, то ли в усмешке, то ли в ужасе, расплывались, мучились, трещали и текли, жутко было смотреть на все это. Он смотрел – и никакой лирики, никакого мистицизма, – убеждал он себя, – горит краска, а все эти оскалившиеся подъезды, скорчившиеся дома, все эти больные взгляды десятков окон – все это его, лично его, надуманные образы, в действительности – горит краска – и все.

Вот эта картина – самая любимая, неделю ходил, как пришибленный, когда сделал ее: дождь, настоящий дождь моросил в старом дворе – тоскливый осенний дождь... – хорошо она горела, весело.

Когда проснулись и закричали первые соседи, Сингапур обозлился. Сволочи, они хоть понимают, что он сейчас творит? Им разве это понять? Для них это просто костер посреди двора, таких костров десятки разжигают каждую осень, когда дворники жгут листья. Такой вот внеплановый осенний костер посреди весны... Которой нет. Разве они могут, эти обыватели, понять, что он сжигает, что вот сейчас го-

рит в этом костре из фанеры и оргалита... Горит краска. Вонючая, смердящая краска, поднимающаяся над двором черной копотью. Теперь в каждой квартире будет этот запах сгоревшей краски... сгоревшего города, его города... в каждой квартире. Они грозятся вызвать милицию. Напугали, ага... А то, что он пять лет своей жизни сжег... вот сейчас, в один час – пять лет жизни. Он и сам не понял, как вскочив, закричал, даже завизжал, в истерике, в ненависти ко всему этому двору, этому городу, завизжал: «Иисус излечил меня!..» – он видел сейчас этих кривых, ошалевших от геморроя и косоглазия бабок, этих сволочей в голубых рубашках, и визжал: – «Поаплодируем Иисусу», – он не хотел все это визжать – глупо все это, глупо и пошло. Но не мог удержаться, хотелось ему вывизжаться – от души... Вот здесь ему полегчало. Отдышавшись, он скоро зашагал из двора.

Облегчение прошло быстро, он перешел через улицу, зашел во дворы... и все прошло, и следа не осталось. Вновь обида и ненависть, теперь уже на свою слабость. Вот когда вопрос «зачем» из нутра, больно и ядовито, выполз из самого горла и выше...

– Зачем? – прошептал он, опустившись на лавочку. – Зачем? – повторил он отдышливо и уже плаксиво. – За-а-ачем, – тихо захныкал он, вытирая ладонями слезы. – Вот и все, – произнес он, густо втянув носом свежий утренний воздух. Темно еще было. Рассвет только зарождался. Не было еще людей. Не было даже дворников. Пустынно и тихо во

дворе. Как на его картинах...

Он не пойдет к матери. Он так решил. Он не пойдет к Гале в больницу. В порыве он собирался разыскать ее и рассказать, что сжег. Перебьется, ее еще веселить... перебьется. Ни к кому он не пойдет, но ведь надо куда-то идти. Куда-то... надо. Не вечно же он будет сидеть здесь. И денег нет. Самое паскудное, что нет денег. С деньгами легко тосковать, с деньгами легко быть обиженным, легко быть изгоем. Легко всех ненавидеть и всех презирать. Когда сытый и пьяный – вообще все легко. Душевная мука, она как ребенок: дай ей конфетку, она и улыбнется, а своди в цирк или в кино, так вообще все забудет. Вот когда забываешь все эти страдания, любовь, понимание, раскаяние... А тут... сидишь трезвый, и раскаиваешься, раскаиваешься.

– Раскаиваешься, – произнес он вслух.

Но все же надо куда-то идти. И он пошел. Конечно, к Кристине. А куда еще?

Тихо было в ее дворе, лишь редкие прохожие. В подъезд он не зашел, не будет же он звонить, стучать в дверь в пять утра. Он знал, как поступит, решил, когда шел к ней. Он стоял напротив ее окон. Всего лишь второй этаж. Окно балкона было открыто. Конечно, душно, жарко, а утром свежо, хорошо, почти все окна были настежь. Оставалось только добраться до балкона. По деревьям рискованно – не Тарзан же он, от деревьев до балкона метра три. Был другой выход. Сначала на козырек подъезда, от козырька по газовой

трубе, а потом... застекленный балкон, где открытое окно было в полутора метрах от трубы, руке не дотянуться. Так как же? Он пристально мерил расстояние... нет, форменное безумие. Грохнется – ноги переломает. Видел он уже такое, правда, ситуация была еще глупее, еще безумнее. Третий этаж, в окне стоял пьяный парень, под окном – такой же пьяный – его приятель. «Прыгай, кричит, я поймаю!» тот прыгнул, тот поймал. Удивительно, что удержал. Так и стоял мгновение на коленях – ноги в стороны, кости наружу, зато товарища крепко к груди прижимал. После уже на него завалился. Обоих скорая увезла.

Сингапур забрался на козырек, это было нетрудно. По трубе дошел до края застекленного балкона, страшновато, но справился. Попробовал, протянул руку... зацепиться бы за край, а там уже... он отдышался. Страшно. Рука не дотягивалась до открытого окна. Труба казалась ненадежной, так и представил он, что хрясть и...

– А, бля, – больше от страха шагнул он на мизерный карниз балкона, рукой – не дотянуться... нога поехала – вниз. Рука – цап – схватилась, чуть из сустава не выскочила. Вторая рука – хлоп. Подтянулся и медленно вполз... Рука ныла. Все-таки семьдесят шесть кило – хлоп, и повисли на одной руке. Не поднимаясь, на корточках вполз он в комнату. Тихо было. Кристина мирно спала. Комната ее была небольшая. Кровать у стены, напротив, у другой стены – шкафы в ряд, от окна до двери, посередине во всю длину комнаты –

коврик. У окна стол, на столе пищащая машинка, древняя, с высокими упругими кнопками. Возле стола инвалидное кресло. Вот и вся меблировка. Дверь в комнату была прикрыта. С минуту Сингапур сидел на полу, разглядывая Кристину, ее лицо. Почему люди спят с приоткрытым ртом? – так и тянет сунуть туда палец. Он усмехнулся – мысль внезапная, глупая, но успокоила его. Без дрожи, без волнения, он коснулся пальцами ее щеки. Она проснулась сразу, точно вовсе не спала – и открыла глаза, и покосилась на него. Повернуть голову ей было трудно, она могла лишь коситься. Он поднялся, подкатил к кровати инвалидное кресло, сел в него, теперь Кристина могла смотреть на него, не ломая глаз. Она словно ждала его, по крайней мере, в лице ее не читалось ни испуга, ни даже удивления. Слово он только вышел и сразу за чем-то вернулся. Было в лице ее удивление, но именно такое – она знала – он вернется. И удивление это было скорее на саму себя, на свою проницательность.

– Здравствуй, – прошептал он.

Она улыбнулась. Понимала, что мычание может быть громким, от того просто улыбнулась.

– Через балкон, – кивнул он на балконную дверь. – Романтик, – пошутил. Он не знал, что теперь говорить... вернее, знал, но говорить с тем, кто не может ответить, было ему нелегко. Легко воображать такой разговор и предугадывать, что могут ответить, самому отвечать на возражения. Но ведь возражать надо на что-то. Говорить долго, говорить, не

слушая и не видя никого, он умел и любил, особенно, когда были люди, которые могли возразить, но не возражали, оттого, что нечего им было возразить, это заряжало, от такого согласного молчания говорить хотелось еще и еще. Но вот здесь она не могла возразить, хотела, но не могла. И язык не поворачивался на длинный разговор, разговор без возражения, – это же самый невозможный разговор, когда тебе не возражают. Даже разговор с самим собой – разговор из сплошных возражений. А здесь... Как он мог говорить с ней один... даже не с самим собой, а один. Она же не картина, не фотография, не плод воображения. Живой человек, хотящий возразить.

Он вздохнул.

– Я не знаю, как с тобой разговаривать. Думал, наговорю сейчас тебе, что картины свои сжег, что пришел к тебе, потому как не к кому больше идти. Что самый родной человек остался – это ты. Но не могу же я все это просто говорить... – он смолк.

Лицо ее было спокойным – она верила.

– Я даже не знаю, зачем пришел к тебе, – продолжал он почти беззвучно, тихим беспокойным шепотом. – Наверное, чтобы пожаловаться. Больше ничего мне не осталось. Я совершил жуткую глупость. В отчаянии, конечно, но какая теперь разница. Главное, – не вернуть. И это не главное. Главное, не готов я к этому – жить по-другому. Не готов отказаться от всего и жить... По-новому. Люди и не такое совер-

шают. В монастыри уходят, на войну, даже убивают себя; конечно, на войну и убивают – все одно, как и я – в отчаянии. Редко в здравом рассудке, больше в отчаянии. Но хоть и в отчаянии, зато точку ставят. Я же... всего лишь точку с запятой, даже и того меньше – пробел. А ведь другой главы не будет, даже абзаца не будет. Что я все литературщиной, аллегориями... Глупо. Лучше бы убил себя... И все так глупо, и... – он смолк, лицо ее изменилось, она хотела возразить. А как он хотел, чтоб она ему возразила, хоть слово! Он бы тогда нашел бы, что говорить дальше, ему не нужно говорить, ему нужно выговориться. Хотя бы слово! Но... она только гримасничала, с болью, с напряжением гримасничала, даже без звука, без жеста.

– Как бы я хотел, как ты, – вдруг признался он, – чтобы мне кто-нибудь явился, и я бы – с белого листа. Все заново. Я же не против, и даже слесарем, хоть в армию, хоть на войну, только... Но как может страус, даже если он не против, вот взять и взлететь. Как? Опять эти глупые аллегии. Просто «В мире животных»... – он чуть не выругался. – Теперь я не знаю, что дальше. Оставил бы картины – было бы за что бороться. И мастерскую б отстоял, и... Не знаю, но что-нибудь бы да придумал. А теперь? Что теперь? Больше кисть в руки я не возьму. Из вредности не возьму. Но и слесарем – глупо, – в который раз повторил он. – Я, знаешь, что вот сейчас придумал, – он пристально глядел ей в лицо: – Конечно, я сейчас буду дурацкие вещи говорить, но... женись. Тьфу



ты, – улыбнулся он. И она улыбнулась. Беззвучно они смеялись. Потом долго молчали. Лицо его вновь стало серьезным.

– Выходи за Гену, – сказал он. – А вот теперь я скажу жутко дурацкую вещь – что и собирался сказать. Но ты меня поймешь. Ты не считаешь меня за дурака или хама, я знаю, ты нормально отнесешься к моим словам, правильно их поймешь. Тебе все равно. А ему жизнь спасешь. Выходи за него. Ради него. Он ведь хороший. Я не юродствую. Ты же это знаешь. Я сейчас правду говорю. Он был вчера у меня.

Кристина очень хотела говорить, даже не удержавшись, что-то промычала в порыве.

Он сморщился.

– Не возражай, – остановил ее. – Ты же Бога видела, у тебя миссия. Выходи за него, – он вдруг опустился на колени. – Понимаю, что идиотом выгляжу. Понимаю, что глупости говорю. Но что еще... Иначе он... сопьется, ты же знаешь это. И сопьется обязательно. Будет еще один злобный пьяница. А тебе же... тебе-то что? С тебя убудет? Ты все равно... Выходи за него.

Она куда-то пыталась указать рукой, рука не слушалась, дрожала, неизвестно каких сил ей стоило указать рукой. Сингапур понял, стал искать, что ей нужно. В шкафу увидел букварь, он лежал один на нижней полке.

– Букварь? – спросил он.

Она согласно закрыла глаза.

Он взял букварь. Раскрыв, положил рядом. Помог Кри-

стине лечь на бок. Сжав зубы, Кристина пересилила боль и ни звука не издала. Но в таком положении рука лишь бессильно прижалась к груди. Поднявшись, Сингапур очень осторожно взял Кристину под мышки и усадил на кровати, спиной к стене. Букварь положил на колени. Какая она была легкая, почти невесомая. Он мог бы взять ее и поднять к потолку. Его это жутко напугало – такая легкая...

Он приходил ко мне, – медленно выстучала она по буквам.

– Дима рассказал мне. Знаю. Оттого и прошу тебя.

Он псих, – ответила Кристина.

– А я, кто, по-твоему? – усмехнулся Сингапур. – Он ревнует, это нормально. Хуже, если бы не ревновал. Все это мелочи.

Нет.

– Что нет?

Не мелочи.

– А я говорю, мелочи. Вся его ревность – простое сотрясение воздуха. Если за себя боишься, то дура, он тебя пальцем не тронет, а за тебя – убьет. А то, что психует и бесится, говорю – мелочи.

Знаю, – согласилась она.

– А раз знаешь... выходи за него.

Тебе это зачем?

– Не знаю, – он и вправду не знал. И смотрел на нее совершенно искренне и в совершенной растерянности. – Чув-

ствую, – наконец произнес он. – Чувствую, что надо. В любом случае он тебя на ноги поставит.

А ты?

– Я? – он поднялся; вопрос оказался неожиданным, в растерянности он глядел на нее. Она ждала. – Я? – повторил он. – Я – нет. Я больше не приду к тебе. Сам не знаю. Вот только сейчас это понял.

Некоторое время молчали.

Кристина поманила его.

Я выйду за него. Но ты мне обещай, – выстучала она.

– Что?

Обещай.

– Что обещать?

О-б-е-щ-а-й, – упрямо выстукивала она.

– Хорошо, обещаю, что – говори.

Смирись. И брось пить.

– В слесари идти?

Иди. Кем угодно. Только смирись. И не пей.

– Вообще?

Да. Иначе погибнешь, – она взглянула на него. – Ты обещал.

– Обещаю. Не буду, – ответил он.

Главное – смирись, – повторила она.

Дверь отворилась. На пороге стояла мама Кристины. Невольно Сингапур покраснел, даже легкая дрожь пошла по телу.

– Я... я, – он не нашелся, что сказать, улыбнулся лишь по-дурацки.

– Да-а, – негромко произнесла она. – Не устаю, тебе, Дронов, удивляться. И как ты?

– Через балкон. Романтик, – сквозь дурацкую во весь рот улыбку произнес он.

– И правда – романтик, – все еще подозрительно смотрела она на него и на Кристину.

– Мне уже пора, – зачем-то кивнув, сказал Сингапур.

– Конечно, пора, – согласилась она. – Только давай через дверь. Пока бабушка не проснулась.

– Да, конечно, – крайне серьезно согласился он.

– Счастливо, – махнул он Кристине, и вышел из комнаты.

– Дронов, не шали мне так, – погрозила ему мама, впрочем, негрозно погрозила.

– Я вас люблю, – он вдруг чмокнул ее в щеку.

Она даже отпрянула: – Да уйди ты, – улыбнулась. – Ладно, иди. – Открыла дверь. Сингапур вышел из квартиры.

Первое, что захотелось – выпить. Это даже развеселило его. Зачем он к ней полез? Через балкон. Расшибся бы. Он стоял и смотрел на балкон. Запросто бы разбился; его даже передернуло, только представил себе, как он лез. – Вот действительно, романтик, – удивлялся он. – Уговаривал замуж идти, – а вот эта мысль совсем его не расстроила, даже какой-то брезгливый стыд ощутил он, захотелось сбросить его с себя, смахнуть, – невольно он сделал движение, будто и

вправду что-то смахнул с себя. Поежился. – Обещал не пить. Какой-то женский роман. Сериал о несчастной любви. Вот действительно – нашло. – Картины же сжег, – вспомнил он.

– Не пей, – вслух повторил он. – Не пей... Денег все равно нет... А ведь ничего не шевельнулось, – анализировал он свое состояние. – Ничегошеньки не шевельнулось. А ведь там, в комнате, казалось, шевельнулось, казалось, что ответ найден, и жизнь началась – по-новому. Все просто – не пей – и жизнь по-новому. А ничего не изменилось. Ни-че-го. Картины сжег, – он загибал пальцы, – через балкон лез, на коленях стоял, обещал не пить, уговаривал выйти замуж, а... Ничего не изменилось. А что должно было измениться? Ангел с небес спустился бы?.. Что?

Он похлопал по карманам. Не было сигарет. Он обшарил карманы. Не было сигарет. И не должно было быть. Кончились они. И знал он это – что кончились, а все равно хлопал и щупал.

– Мужчина.

Он оглянулся. Стояла девушка его лет, лицо спившееся, неприятное. Стояла и за руку держала девочку лет пяти, в беленьком замызганном сарафанчике, белобрысенькая, глазки голубенькие, заспанные, стояла отрешенно, смотрела угрюмо и все куда-то в землю.

– Мужчина, – старательно улыбалась девушка, – у вас двух рублей не будет, девочке на мороженое?

Сингапур уставился на нее. Лицо ее было с жуткого по-

хмелья, какого-то нездорового бледно-розового цвета, все бугристое, опухшее, точно ее страшно били. Щеки, губы как вспученные, ей было лет двадцать, не больше, но с первого взгляда – старуха.

– Сколько времени? – спросил он, невольно глянув на девочку; казалось, и девочка была с похмелья, ее личико было каким-то совсем недетским, совсем несвежим. Видно, ее только вытащили из постели, а может, она вовсе и не спала...

– Не знаю, – ответила девушка-старуха, – дайте два рубля ребенку на мороженое.

Мимо, скоро шел какой-то мужчина.

– Который час? – остановил его Сингапур.

– Без пяти шесть, – ответил мужчина.

– Мужчина, дайте два рубля, – остановила и его девушка-старуха, – на мороженое.

– Совсем бессовестные. Алкоголики, – зло глянул мужчина на всех троих и ускорил шаг.

– Дочка? – спросил Сингапур.

– Не, она не моя, соседская, – призналась девушка-старуха. – Ну, дайте два рубля, – просила она, все заглядывая Сингапуру в глаза.

– Нет у меня денег, – невольно брезгливо ответил он, даже как-то отпрянул, точно она сейчас прикоснется к нему, и скоро зашагал из двора.

Он шел по одной из центральных улиц – куда и сам не знал, куда-нибудь. Было уже давно за полдень. Все это время он куда-то шел, по каким-то улицам, заходил в какие-то дворы, если видел знакомое лицо, прятался, ему не хотелось, чтобы его заметили, ему хотелось... Домой ему хотелось, чтобы было все как прежде. Пришел домой, на стенах картины, сел в кресло, закурил, попил чаю, взял бы в руки кисть... Теперь все это было далеко, было в прошлом. Ему казалось, что он даже постарел, и шел он как старик, еле волоча ноги. А выглядело, что пьян. Ничего не изменилось, – бормотал он, – ничего. Это ничего нависло над ним и давило, и не было выхода из этого ничего. Он куда-то шел, куда-то заходил, куда-то возвращался, а выхода не было... Даже не пустота. Были люди, они шли куда-то по улицам, мимо домов, деревьев... были деревья, были окна, выглядывающие сквозь ветви этих деревьев... Был город, живой, дышащий,двигающийся... чужой город. Ничего прежнего, ничего своего, ничего, что могло бы напоминать... о прошлом. Другой город, не его город. Ничего не изменилось, ничего не осталось. Ни-че-го.

Поднялся ветер, сильный и плотный, тот самый ветер, который бывает перед дождем. И надвигалась туча, тяжелая, она словно подминала под себя голубое чистое небо, словно закатывала в асфальт, неторопливо, но навсегда, не оставляя ничего, заполняя собою все – от края до края. Ветер ворвался в город, люди склонили головы, пряча лица, не было во-

ротников, чтобы спрятать лица, и люди все ниже пригибали свои головы, а ветер словно хватал за волосы, трепал прически; улицы быстро опустели, и под каждым козырьком, под каждым навесом жались недовольные раздраженные люди. Сингапуру незачем было прятаться, он шел так же, склонив голову, шел по опустевшей улице, шел по ветру, давая ветру власть трепать и бестолковать его длинные густые волосы. Навстречу шел Минкович. Сингапур не обозначился. Шел неторопливо. Высокий, грузный, волосы распущены, голова высоко поднята навстречу ветру, уже хлесткому, холодному ветру. Казалось, он наслаждался ветром, подставляя ему то одну, то другую щеку. Это было странно и, в каком-то роде, комично, прохожие с любопытством наблюдали за этим высоким грузным человеком, словно умывающимся ветром: это было необычно.

– Кирилл, – окликнул его Сингапур. Минкович опустил взгляд. – Кирилл, здравствуй, – увидев, что его заметили, поздоровался Сингапур.

Минкович не ответил, со вниманием, точно припоминая: кто бы это – разглядывал он Сингапура.

– Мы знакомы? – спросил он, голос был низким, приятным, пожалуй, даже дикторским.

– Меня Федор зовут, – Сингапур протянул руку. Минкович не сразу пожал ее. Сингапур выдержал, не убрал руку. Минкович пожал руку некрепко, точно все пытаюсь припомнить, кто бы это.



– Не припомню вас, – произнес он.

– Я был на твоих концертах, давно еще, – сказал Сингапур, – когда еще пацаном был. Галя в больнице, – неизвестно к чему прибавил он, – у нее пневмония.

– Какая Галя? – все то же припоминающее выражение во взгляде.

– Которая объявила себя святою, и из-за которой, все говорят, ты оскотил себя.

– Какая глупость, – негромко возмутился он. – Вы кто? Я не знаю вас, молодой человек, извините, – он хотел пройти мимо.

– Постой, мне поговорить с тобой надо, – удержал его Сингапур. – Мне помощь нужна. Я картины свои сжег. Понимаешь? Галя... впрочем, не она виною, я сам. Отчаяние какое-то. Понимаешь?

– Я не понимаю вас. Вы похожи на сумасшедшего. Вы меня извините, но я спешу.

– Хватит пр... – он уже хотел сказать «придуриваться», осекся. – Кирилл, мне, правда, нужна помощь. Давай поговорим. Я просто знаю тебя давно, твои песни, видел тебя на концертах. Можно сказать, был фанатом, – тон его и все, что он говорил – можно смело подумать, что он псих, до того тон его был резок, а речь сбивчива.

– Молодой человек, прошу вас, оставьте меня в покое.

– В конце концов, ты в Бога веришь? Ответь.

– Молодой человек, я не желаю вам зла и не хочу вас оби-

деть, – Минкович говорил это рассудительно и спокойно, – вам нужно к психиатру или к священнику, поверьте мне... Извините, я, правда, спешу.

– Тогда хоть дай закурить, – вдруг устало попросил Сингапур.

– Я уже десять лет не курю, – с видимым сожалением ответил Минкович.

– А я обещал не пить.

– Вот видите, все не так плохо.

– А я до сих пор помню одно твоё стихотворение, ты его на концерте прочитал, я сразу запомнил:

Все, что нужно для счастья –

Это только взять тебя, небо, в руки

И написать слова любви кистью облаков,

Красками рассвета я напишу твой образ

На безумно голубом небе утреннего лета...

Пусть видят все – что я тебя люблю.

Все хотел спросить, кому ты его посвятил?

– Так странно слышать свои стихи из чьих-то уст. Так давно их не слышал, уже забыл, – задумчиво и, казалось, сам себе, произнес Минкович. – Странно, словно в прошлое шагнул.

– Так кому ты его посвятил?

– Никому, – ответил Минкович. – Разве стихи пишутся обязательно кому-то. – Лицо его изменилось, стало наив-

ным, даже каким-то детским.

– Кирилл, вы не думайте, что я... просто отчаяние.

– Вижу.

– Я почему-то знал, что встречу вас, – как-то само собой Сингапур перешел на «вы». – А Галя, она и, правда... – он смолк.

– Я не знаю никакой Гали, – уже добродушно отвечал Минкович. – Да и вас вижу впервые. Право, приятно, когда вот так, человек на улице вдруг останавливает тебя, пусть таким сумбурным способом, и вдруг читает твое стихотворение. Давно не пишу стихов, давно не читаю стихов... А вы, видно, добрый и открытый человек, хотя и нервный.

– Будешь тут нервным, когда... Кирилл, остановимся, хотя бы вон на той лавочке, поговорим, мне сейчас, как никогда, необходимо с кем-нибудь поговорить...

– Я бы рад, но я, правда, спешу. Давайте в другой раз. Хорошо? – он улыбнулся и неторопливо зашагал, все так же высоко держа голову. Он уже отошел шагов на десять, когда Сингапур, спохватившись, догнал его.

– А когда в другой раз? – спросил он.

– Когда-нибудь. Прощайте, – не останавливаясь, ответил Минкович.

– Кирилл, ответь мне на один вопрос и я отстану.

– Вы и так отстанете, – вовсе без какого-то превосходства и даже без иронии произнес Минкович.

– Конечно, отстану, – согласился Сингапур. – Последнее

время меня окружают какие-то безумные люди, я и сам подозреваю, что я безумен, и все эти безумные люди так или иначе повернуты на религии. Кирилл, есть Бог или нет? – Конечно, вопрос дурацкий. Но все равно, ответь.

– Есть, – ответил Минкович.

– Ты уверен в этом?

– Я верю в это.

– А я, видя эту жизнь, все эти слезинки ребенков, все больше уверен, что его нет. Уверен абсолютно, что его нет, – он говорил это, все время, обгоняя неторопливо идущего Минковича, и оттого шел как-то боком и, порой, чуть ли не спиной.

– Вы казались мне умнее.

– Вот как? Вам несимпатична моя уверенность? – Сингапур не удержался – съерничал.

– Мне любая уверенность несимпатична.

– Даже уверенность, что Бог есть? – уже стараясь уколоть, произнес Сингапур, все пытаясь заглянуть в лицо Минковичу. Тот словно не замечал его.

– Любая уверенность – признак недалекости ума. Уверенность – та же гордыня, – неторопливо продолжал он, похоже, сам себе, – она слепа и очень хрупка, ее легко надломить, еще легче сломать. В свое время я был уверен, что пишу хорошие стихи, сильно раздражался, когда говорили обратное, считал этих людей глупцами и невеждами. Страшно стало, когда вдруг понял, что они были правы. Это было по-насто-

ящему страшно. Уверенность обессиливает, притупляет разум и, в конечном счете, неизбежно убивает. Как муж, уверенный в верности своей жены, узнав об измене, теряет веру во всех женщин. Или спортсмен, уверенный в себе, проиграв, теряет веру в свои силы. Уверенность тем и опасна, что она убивает веру.

– И что, человек уверенный, что Бог есть, легко может стать атеистом?

– Не обязательно атеистом. Он может просто погибнуть. Как если бы уверенный, что я перейду дорогу, я не буду смотреть по сторонам, ведь я уверен, что ее перейду. Надо верить. Вера оберегает.

– На Бога надейся, а сам не плошай?

– Можно и так, – улыбнулся Минкович.

– Значит, мне нужно верить, что Бога нет?

– Надо просто верить, а сердце подскажет.

– Подскажет что?

– Что нам пора расстаться, – Минкович остановился. – Мне сюда, – указал он на подъезд жилого пятиэтажного дома. – Прощайте.

– Кирилл, – уже точно выдохшись, Сингапур смотрел ему в лицо, – Кирилл, дай мне совет.

– Смирись, – просто ответил Минкович.

– С чем?

– Со всем, что окружает тебя, и ты поймешь, что, на самом деле, жизнь удивительна.

– Кирилл, – Сингапур удержал его за руку. Он не мог его вот так отпустить, не все было сказано. Что-то еще надо было сказать... что-то еще. – Кирилл, я не знаю, зачем мне все это надо... Я вообще ничего не знаю: что, зачем? Что-то происходит... Что-то должно измениться – во мне измениться, а ничего не меняется. И смирения нет. Оно будет, наверное, но не сейчас. А сейчас... Что есть Бог? Что есть душа? Сам не понимаю, но почему-то именно это меня, именно сейчас, волнует. Сам не понимаю... творится что-то, а что? Хоть бери и вешайся, – говоря все это, он все держал Минковича за рукав рубашки, держал крепко, и так же крепко вглядывался в его лицо. Минковича, казалось, это несколько не раздражало и не пугало, он не вырывал руку, не возмущался.

– Представь себе огромное пространство, – произнес он, глядя куда-то в небо, уже до края закатанное плотной тяжелой тучей, – бесконечный мрак, бесконечное, не имеющее границ зло, бессмысленное в своем вечном существовании нелюбви и ненависти. И в этом пространстве есть маленькая точка, маленькая, чуть заметная частичка света – в бесконечном зле – это и есть Бог.

– Станный Бог.

– Станный, как и все добро, не имеющее корысти. Оно просто живет, наделяя собою радостью и любовью все вокруг – все это зло и ненависть. Ненависть хоть и бесконечна, но очень податлива в отличие от добра. Она борется, пытается поглотить эту частичку. И устает в своей борьбе...

– А добро, эта частичка, этот Бог, он что, не сопротивляется? Добро что, без кулаков?

– Добру даже не ведомо, что вообще такое – борьба. Сила добра – в смирении. Ему также неизвестны боль, страх... Ему незачем бороться. Борьба – удел отчаянных, удел слабых. Слабым нужно быть сильными, чтобы выжить, слабости нужно доказывать себе и всем, что она – сила. Лишь слабость постоянно стремится кого-то побеждать. Бойтся, превозмогает, сопротивляется, подавляет и, в конечном счете, устает. Борьба бессмысленна. Что больше всех пугает, раздражает? – молчание и смирение. Смирение понять трудно, как трудно объяснить то, что не от мира, что от Бога: готовность погибнуть, остаться голодным, замерзшим? Поэтому смирение победить невозможно: как можно победить то, что не сопротивляется? Ярость понятна – она проста как боль, как рана – как все, что на поверхности, как все земное, ее легко объяснить, легко оправдать: хочу жить – лучше, сытнее, теплее. Убить, чтобы насытиться, убить, чтобы согреться. Все просто, все объяснимо... А потому ярость легко победить. Оттого ярость и бессильна перед смирением, что не понимает его, что судит по себе. Оттого и пугает оно тех, кто живет по-земному, оттого и наделяют его глупцы и невежды хитростью и корыстью, всякий раз ожидая от смирения чего-то такого. Как объяснить смирение, как оправдать смирение? Земными мерками смирение не объяснить. Все равно, что рубить мечом воздух. Воздуху незачем бороться с этим

мечом, воздух не чувствует боль, воздух не испытает обиды, что смиренно бездействует. Воздуху нет смысла бороться. Борется меч, яростно и бессмысленно, уверенный, что раз он борется, значит, побеждает. Но итог известен, меч устанет, меч проиграет. Проиграет – потому что сам в этом уверится, потому что не понимает он, – Минкович смолк. Молчал и Сингапур, как и Минкович, он глядел в небо, нечего было возразить Сингапуру, нечего, оттого слушал он заворожено и смиренно. Голос Минковича был тихим, негромким, завораживающим. С минуту стояли они молча, устремив взгляды в небо.

– А что с той точкой, с той частичкой? – совсем по-детски спросил Сингапур.

– А точка есть начало всему, есть Бог. Бог, который создал человека по образу и подобию своему, создал таким же, как и он сам – смиренные чистые души, которым не ведома борьба, зло и ненависть. Но, создав их, он отпустил их, отпустил в этот мрак...

– Зачем?

– Чтобы они вернулись. Отделившись, душа начинает жить своей жизнью. Здесь она понимает, что есть еще и боль. Понимает, поддавшись искушению зла, что боль лечится борьбой, и заражается борьбой, наивно веря, что борьба и есть смысл жизни, и есть излечение от боли. Она даже не понимает, что борется сама с собой – как тот меч – борется, преумножая боль. Вокруг нее тьма, зло, и душа думает, что



борется с этой самой тьмой. Но борьба-то, бессмысленна, сама эта борьба – и есть тьма. Душа слабая поддастся этому обману и растворяется в этой тьме. Душа сильная крепнет и возвращается обратно – к Богу.

– Похоже на круг Сансары, – произнес Сингапур. – Душа выходит из этого круга, попадает на Землю, а покидая умершее тело, вновь возвращается на круги своя. А самые-самые уходят в Нирвану – как раз в это абсолютное небытие – тьму. Разве не так?

– А ты разве ничего не понял? Душа, не растворившаяся в борьбе, возвращается к Богу не той, которой она от него ушла, уже не маленькой точкой. Она возвращается большой, возвращается не одна, приводя с собой слабые души, уставшие, наконец, от борьбы. Она возвращает Богу потерянные души. Бог был маленькой точкой, маленькой частичкой. Теперь это огромное пространство чистого света. И оно все растет, впитывая в себя тьму.

– Что-то я не заметил, что зла стало меньше.

– А ты и не заметишь, ты же занят борьбой. У тебе разве есть время замечать? Ты лишь замечаешь боль, страх, обиду. Но ты прозреешь, обязательно прозреешь. Даже растворившие себя в борьбе души, обязательно найдутся и вернуться к Богу. Их приведут сильные души, найдут и приведут, как заблудших овец.

Вновь они стояли молча, лишь созерцая тяжелое, наливающееся тьмой небо.

– Совсем недавно, – заговорил Минкович, – несколько лет назад в одной из церквей была найдена роспись. Старая церковь, старая роспись, сделанная, по-моему, в веке двенадцатом. Сделанная, когда на Руси исповедовали еще истинное первородное христианство. На росписи изображен Георгий Победоносец, усмиряющий змея. В его руках не было ни копья, ни щита. Он усмирял змея словом Божьим – добром – СМИРЕНИЕМ. И змей кротко лежал возле его ног. Богу не нужны ни щиты, ни копья... Уже люди – другие, зачем-то, от страха, наверное, вложили в руки Георгия копье... Не ведаем, что творим, – сказал он совсем тихо.

Все это время Сингапур держал Минковича за руку, вернее, держался за руку; точно опомнившись, он убрал руку. Минкович так и не взглянул на него.

– Мне пора, – он вошел в подъезд. Сингапур остался на улице. Остался все с тем же ощущением недосказанности, недопонятости... брошенности. Ведь теперь придется куда-то идти... Смирение или борьба, есть Бог, нет Его... Картин-то нет.

Заморосил дождь. С каждой каплей становилось все зябче и холоднее. Дождь моросил по-осеннему знобливо, да и ветер поднялся холодный, пронизывающий. Как-то сразу... не стало лета. К вечеру так и вовсе похолодало. Замерзший, уставший, ничего не придумав, Сингапур пришел к дому, где жили мать и отчим... где и он будет жить. Словом, пришел к своему дому. А куда ему было идти?

– Живой! – первое, что воскликнула мама, увидев его. – Живой, – сказала она уже негромко и крепко обняв. И ни слова упрека, ни малейшего намека на упрек. Сингапур вошел в квартиру. Отчим сидел в зале за компьютером. Только взглянул на Федора – как взглянул бы на любого, кто вошел, и вновь уставился в монитор.

– Поздоровайся с отцом, – напомнила мама.

– Здравствуйте, – кивнул Сингапур.

– Привет, – уже не оборачиваясь, ответил отчим.

## 6

– Мой руки, и будем ужинать. Я как чувствовала, что ты сейчас придешь, – не удержавшись, она вновь обняла сына. – Ну, иди, – сказав, она прошла на кухню. Сингапур разулся. Непривычно ему здесь было, все было слишком чисто и... богато. И больше походило на интерьер офиса. Мода такая – называлась «евроремонт». Белые безликие евро-обои, на которых висели безликие евро-картины – имитация масляной живописи на холсте. Еще недавно обои были пестрые, цветастые, и на них висели такие же пестрые и цветастые ковры. Но это стало давно немодно, это стало называться «колхоз». Модно стало то, что креативно или проще «евро». «евро», понималась как простота и минимализм, и ничего натурального, сплошная имитация, и, главное, чтобы из Европы. Шкаф – стенка это «колхоз», большая хрустальная люстра под потолком – «колхоз», шторы – «колхоз», ковер на полу – «колхоз» (и не дай Бог на стене! – жуткий «колхоз»). Но все

это было, все это Сингапур помнил. Теперь все иначе. Теперь потолки не беленые, а подвесные, на окнах жалюзи, сами окна – стеклопакеты, вместо прежнего деревянного пола – ламинат, в спальне – ковролин (вместо ковра). Были желтенькие плюшевые диваны и кресло; теперь строго черные – из еврокожзаменителя – эконожа. Вместо хрустальной люстры с висюльками – множество строгих светильников. Телевизор не у окна (это был «колхоз»), а у стены (где был ковер); напротив – диван и кресла, и журнальный столик (черный) из европластика, на столе икебана (настоящая, но сухая, всё равно что из пластика). В углу компьютерный стол, на столе кактус. О покупке компьютера было много разговоров, прикидывались все за и против. Первое, и главное – это что эра наступила компьютерная, и компьютер, по определению, необходим как часть интерьера, как определение новой эры. Следующее «за» была его многофункциональность. На нем было можно делать все: можно было работать... ВСЁ, значит, делать. Выполнять любые операции, чуть ли не... Словом, крайне необходимая вещь. Против было одно – излучение, поэтому купили кактус. Компьютер был приобретен. Если раньше отчим каждый свой обеденный перерыв и послерабочее время сидел у телевизора и смотрел новости или фильмы, теперь все время (и выходные) проводил за компьютером: вот уже второй год он боролся со злыми силами, всякий раз совершенствуя своих героев, их оружие и защиту, их магию. Он и сейчас сидел на офисном крутящемся сту-

ле и напряженно щелкал мышью. На мониторе шла война. Драконы, маги и рыцари отчима боролись с драконами, магами и рыцарями злых сил. В эти часы отчима лучше было не беспокоить, он был крайне раздражителен, и даже ужин мама ставила ему здесь же, на компьютерный стол.

Сингапур прошел в ванную. Все тоже «евро», только теперь евро-плитка, евро-ванна, евро-краны и евро-унитаз; только не белое, а голубое, все тоже безликое, как в уборной кафетерия. Вымыв руки жидким мылом, вытерев руки полотенцем (хоть полотенце осталось), он зашел в обложенную евро-плиткой евро-кухню. Кухня была отъевроремонтирована недавно, не узнать ее было. Раньше на стене у стола висели декоративные разделочные доски с дедом и бабкой с балалайками, еще какие-то плетеные панно с колосками, нравились они Сингапуру, и вся кухня ему нравилась, уютная она была, домашняя; аляповатая, но уютная, с геранью на окне, со шторками в пол-окна. Теперь жалюзи, и вместо деда с бабкой и плетеных колосков – еврокартинки, а вместо герани – какие странные неживые цветы с желто-красными листьями.

– Настоящие? – спросил он.

– Конечно, три тысячи один стоит, – ответила не без достоинства мама. Не удержавшись, Сингапур пощупал листья – да, настоящий был цветок, живой, но все равно... ненастоящий какой-то. Мама уже поставила перед сыном ужин из куриных крылышек в специях, купленных в супермаркете и

картофеля фри, приготовленного во фритюрнице. Включив электрочайник, сразу поставив возле него большую красную кружку с уже опущенным в нее пакетиком фруктового чая, мама села за евро-стол. Грустно было Сингапuru, грустно и неуютно. Неживая стала квартира, все теперь было выдержано в определенном стиле, и оттого беспросветно обезличенное. Чашки подобраны под цвет плитки, плитка под цвет холодильника, холодильник двухкамерный... Все было подо что-то подобрано, подогнано, вплоть до последнего шурупа. Само по себе, все, вроде, было стильненько, красивенько... а в целом, не кухня, а стенд из мебельного магазина. Казалось, что сейчас подойдет охранник и скажет, что магазин закрывается, и все встанут и выйдут на улицу.

Сингапур ел молча, мама молча смотрела на него. Поев, он хотел поставить тарелки в раковину.

– Я сама, – опередила его мама.

Чай пили вместе, и всё молча.

– Прости меня, мама, – сказал он. Мама все молчала. – Ты права, мама, надо жить дальше, надо работать, – говорил он негромко. – У меня это, просто... словом... Словом, все будет, как ты сказала. Жить с вами буду. Глупостям заниматься не буду. Буду слесарем работать. В армию пойду... Словом, все будет нормально.

– Вот и хорошо, – согласилась мама. Она вздохнула. – На счет армии не беспокойся, отец все устроит. Трудно это было – убедить его, уговорить, – она не удержалась, вздохнула. –

Но он все устроит. Большие это деньги, Федор, так что... так что, действительно, работать тебе надо. – Она помолчала. – На следующей неделе у тебя будет военный билет. И со следующей недели пойдешь работать. Только деньги будешь отдавать все мне. А я уже буду тебе все покупать. Так будет лучше.

– Я согласен, – кивнул он.

– Тогда иди спать, в твоей комнате все готово, ложись. Можешь ванну принять, и ложись спать. Эти дни будешь по хозяйству мне помогать. А на следующей неделе, как на руках будет военный билет, пойдешь работать.

– Да, мама, – он поднялся.

– Ну все, мой родной, иди... Спокойной ночи.

Он подошел к ней, она поцеловала его в щеку, и Федор вышел из кухни.

Его комната была самая маленькая, она тоже была отъев-роремонтирована. Но ему уже было все равно. Он повалился на евро-кровать и уснул.

\*\*\*

Эти несколько дней, пока решался вопрос с его военным билетом и устройством на работу, Сингапур мало выходил из дома, более того – мало выходил из своей комнаты, все время проводя в постели. Отчим рано утром уходил на работу, чуть позже – мама, уходя, давала ему задания: приготовить отцу обед, убратсья в квартире – пропылесосить, вымыть полы, помыть посуду, много чего она ему поручала. Ничего это-

го он не делал. Все лежал на кровати. Казалось, он даже не думал. Так только кажется, что человек целыми днями лежит на кровати, о чем-то думает, какие-то мысли бродят у него в голове, порой, странные, и после он встает, берет топор и выходит из дома. Ничего этого не было: ни странных мыслей, ни глубоких размышлений. Было одно бессмысленное отупляющее созерцание экрана телевизора. Телевизор – это великое изобретение. Сколько всего могло бы не совершиться, появись эта вещь лет сто – сто пятьдесят назад. Сколько беспокойных, ищущих выхода идей растворилось бы под магией этого голубого экрана, этого многоканального чуда света. Наверное, ничто так не подавляет сознание, как телевизор, но и нет ничего спасительнее в эти беспокойные томительные часы отчаяния, как, опять же, телевизор. Сравнится с ним может, пожалуй, только компьютерная игра. Но Сингапур брезговал садиться за компьютер после отчима. Телевизор, все-таки, стоял в его комнате, на его территории, этим он и удовлетворялся. Он смотрел все подряд, методично, один за другим переключая каналы кнопкой пульта. Ни одной программы он не досматривал до конца. Причем, фильмы, уже виденные им, фильмы, нравящиеся ему, он переключал сразу, переключал даже в раздражении, словно боясь чего-то. Этот страх, можно было, пожалуй, сравнить со страхом заговорить с давно знакомой и нравящейся тебе девушкой. Когда-то что-то было с ней, и, вроде, закончилось все, и знаешь – заговоришь с ней, даже по телефо-



ну, и увидеть ее захочется и вернуть то прошлое... а вместе с тем прошлым и ту боль. Хочется вернуть то прошлое, но ту боль не хочется возвращать, и... нечего даже думать, даже вспоминать о той девушке, о том прошлом. Лучше с какой-нибудь другой, пусть и душой, пусть и скучной, но... Но хоть безболезненно. Противно, конечно, но безболезненно. Он и смотрел поэтому ток-шоу и сериалы. Скучные, бестолковые, зато сопереживать не нужно; смотришь на этих креатинов, счастливых оттого, что их показывают на всю страну, слушаешь их умозрительную глупость... ладно, и пусть говорят. Главное, не нужно было думать, слушая их, не нужно было сопереживать. Так он и засыпал, не сопереживая, и просыпался, не сопереживая, все под разговоры и суету на экране. Как пьяный проходил день, скучно, вяло и... ладно, и... все равно. Главное, без сопереживания, главное – равнодушно.

Мама и здесь не отчитывала его, словно понимала его состояние. Впрочем, отчим и сам благополучно мог сварить себе или пельмени, или сосиски, или просидеть за компьютером, предпочтя его обеду. За ужином мама была и довольна, что сын дома, а не где-нибудь шляется и пьянствовал.

– Все нормально? – спрашивала она.

– Да, – отвечал Федор, глядя в тарелку.

Как-то он спросил:

– Сдали квартиру?

– Да, – ответила мама.

– Невестке этого... – он не договорил.

– Да, – кивнула мама. Больше на эту тему не говорили. Впрочем, особенно ни о чем не говорили. Мама рассказывала, как день провела, какие дела на работе, Федор слушал, кивал, поддакивал, когда и невпопад; мама не замечала этого, делала вид, что не замечала.

В один из таких вечеров она сказала:

– Ну, все, сынок, завтра пойдешь устраиваться на работу. Главная твоя проблема решена, – она положила перед сыном военный билет. – Все, теперь ты свободный человек.

Сингапур невольно усмехнулся – невесело усмехнулся.

7

За работу он взялся даже охотно, с рвением. В первый же рабочий день, расшиб себе лоб о трубу, когда лазил в подвал, содрал в кровь ладони, помогая крутить канализационный еж, и под конец дня уронил себе на ногу молоток. Все, на что он оказался способен – подавать гаечные ключи, и то в номерах путался.

– Ну, что, студент, это тебе не красками по картине мазать, здесь тебе никакого абстракционизма, здесь работать надо, – говорил Леха, парень двадцати пяти лет, крепко сложенный, лупоглазый и весельчак. Был повод, не было повода... впрочем, у Лехи всегда был повод, казалось, ничто его не печалило, все веселило. Он охотно откликался на любую шутку и где даже смеяться не стоило, если только улыбнуться из вежливости, Леха искренне хохотал во весь рот, блестя

крепкими белыми зубами; он был здоровым парнем и знал это и гордился этим и пил от этого безбожно и всякую дрянь. С похмелья не болел, да и пьянел с трудом, но похмелялся охотно. Он, казалось, испытывал себя, свой желудок, печень, точно говоря – вот я какой, ничего меня не берет, хоть денатурат выпью, а все одно – не берет.

Пили слесаря всякую дрянь. Пили перед работой, пили во время работы и особенно, после работы. Причем водка и спирт считались элитными напитками, дорогими напитками, и оттого водку абы как не пили, а пили дрянь. Пили и кляли тех, кто продавал им эту дрянь, кляли, говорили тосты: Чтоб ты сдохла, Вика. Чтоб ты сдохла, Зина, – и в отвращении запрокидывали стопку и, все равно, шли к Вике, шли к Зине, шли, чтобы купить бутылку этой дряни, сделанной неизвестно из чего. Хотя, почему же неизвестно, рецепт был крайне прост: через самогонный аппарат прогонялся стеклоочиститель «Малышка» и добавлялся димедрол – вот и вся наука. Самогон, в том, классическом, понимании гнать было дорого, да и смысла в этом не было, и очиститель покупали и пили. От димедролы после первой уже стопки клевали носом, после второй валились, где сидели, просыпались с невыносимой головной болью и, снова кляня Вику или Зину, шли похмеляться все тем же очистителем с димедролом; и ведь, знали, что пьют, знали, и все равно пили. Ответ был крайне прост: бутылка водки стоила сто рублей, бутылка перегнанного очистителя – двадцать. Вот и весь ответ. Вино и пиво и

вовсе не признавали, баловство это было и барство; пили же с одной целью – напиться. А сколько же нужно выпить пива или вина, чтобы напиться – зарплаты не хватит. Но стоило отдать должное – во время работы не пили – в смысле, очиститель не пили, а если кто водку подносил, то грех было не выпить, это пили, только наливай. А очиститель – нет, тем более с димедролом, заснуть же можно, а это было никак нельзя, – свою работу слесаря понимали.

Кроме Лехи в смене, куда пристроили Сингапура, работали еще двое: Толян, мужичок сорока лет, рябой и с настырным взглядом. Взрывной мужичок, задиристый, хотя роста небольшого, плечи узенькие, словно их и не было, руки, ноги тоненькие, зато живот точно приклеенный, выпирал, как у беременной девицы. Был в смене и водитель, пожилой, добродушный мужик, звали Феликс, фамилия Федянин. Когда Толян пьяный был, звал его Федяня, когда трезвый – Феликс. Феликс непьющий был мужик, некурящий, рослый, и что-то застенчивое было во всей его большой фигуре, словно он стеснялся, что большой такой, что непьющий и некурящий, что зовут его так странно, и фамилия такая смешная. Сильный он был. Машина, на которой работали слесаря, была дряхлая, ненадежная, частенько приходилось толкать ее, чтобы она завелась. И если Леха с Толяном, пыхтя и краснея, кое-как толкали ее, то Феликс мог без труда только навалиться, и заводилась машина.

– Мы – аварийная служба в абсолютном смысле этого сло-

ва, – острил Леха, – даже машина у нас аварийная, для завершения полноты образа. – Леха любил так вот литературно завернуть.

– И сами мы аварийные, когда неопохмеленные, – поддакивал Толян.

– Неопохмеленный слесарь – враг на производстве, – заключал Леха, и слесаря шли за бутылкой.

– Ну, что, Федор, – сказал Толян, когда Сингапура представили и назначили помощником слесаря, – раз теперь ты в команде, первое дело – надо проставиться.

– Не пью я, – ответил Сингапур.

– Какой молодец, – одобрил Феликс.

– Не выйдет из тебя слесаря, – уверил его Толян.

Толян как в воду глядел. Но не расшибленный лоб, не содранные ладони, не то, что у него все из рук валилось, это было еще ладно; и то, что смеялись над ним слесаря, и это все терпимо, не это угнетало его, не это заставляло ненавидеть эту новую – с чистого листа жизнь: угнетало невежество и глупость. Глупость определенная. В своем роде, мужики эти, эти слесаря народ был далеко неглупый, опять же, в своем роде. Другой это был ум, другая жизнь. Целый день только и слышал он о работе: трубах, кранах, вентилях, где что украсть, кому что продать, впарить, втюхать, кого как обмануть. Хитростей в этой слесарной науке было предостаточно. Но больше разговоров было о выпивке: о тех, кто продавал эту выпивку, кто наливал им, кто проставлялся, кто

дал денег, кто кинул; и, конечно, разговоры о мужестве: кому Толян дал в рожу, кому Леха, кому они оба дали в рожу, (о тех, кто им дал в рожу, не говорили, это было неинтересно). И если не говорили о мужестве, работе или выпивке, то одно – о рыбалке, огороде, картошке, деревне, и все равно – заканчивалось: кому – в рожу, с кем пили, что пили. Казалось, вся цель в жизни, что Толяна, что Лехи, состояла лишь в выпивке; они часами могли говорить об этом, и пить, пить, пить. Рабочий день у них начинался с – «Ну, что, бухнем?» и заканчивался – «Ну, что, бухнем?». На следующий рабочий день первое – расспросы, как кто добрался. Мало кто чего помнил, и это было хорошо. Значит, удалось, значит, нажрались, значит, день прожит не зря. Сингапур не вникал в эти уже за первый рабочий день осточертевшие ему разговоры, ему не интересны были ни рыбалка, ни деревня – о чем любил поговорить Феликс, о тракторах, моторах и прочем – о чем Сингапур не имел ни малейшего представления, но терпеливо выслушивал подробные рассказы Феликса, посчитавшего почему-то Сингапура заинтересованным в этом человеком, может, потому что, нашел такого же непьющего?

– Этим только о водке, – говорил добродушный Феликс, – ничего святого у людей не осталось. Так-то они хорошие, но за бутылку мать продадут, наутро плакать будут, жалеть, что мать за бутылку пропили... а не за две, – философски заключал он. – Ты, вот, Федор, человек образованный, у тебя институт, ты послушай, посоветуй. Я там, в деревне, у одно-

го пьянчужки трактор приглядел, недорого, там только в моторе... – И, с дотошными подробностями, Феликс утомлял Сингапура внутренним описанием трактора, который приглядел и хотел купить, но все не решался и спрашивал совета. Что мог ему посоветовал Сингапур?

Но не только трактора и моторы интересовали Феликса, Феликс любил пофилософствовать. Впрочем, и Толян, и Ле-ха не чурались этого, особенно когда разговор заходил о политике, здесь они проявляли неподдельный интерес. Новости смотрели все, и каждый имел свое особое политическое мнение. Впрочем, дальше того, что в правительстве одни жи-ды и сволочи, разговор у них не шел.

– А как же президент, – с умыслом спросил Сингапур, – что, и он жид?

– Знаешь, – загорелся Толян, – есть такое понятие – ожи-довленный. Вот наш президент и есть – ожидавленный. Ку-пили его жи-ды с потрохами.

– Одного не пойму, – произнес Сингапур, – почему мы так друг друга не любим: все у нас сволочи и жи-ды. Странно как-то.

– А потому у нас жи-ды правят, что русского человека к власти – во, допустят! – Толян сунул Сингапуру дулю. – Есть один настоящий русский мужик – Евдокимов, да его, наверно, скоро жи-ды шлепнут, потому, что он русский, и потому, что мужик, и потому что о народе.

– А тебе самому-то нужна власть-то, ты, хрен русский? –

глянул на него Леха.

– Мне она, эта власть, как попу гармонь, – мне и без нее весело, – ответил Толян, – мне за державу обидно.

– Вот и я о том же, – удовлетворился Леха.

– Антисемитизмом попахивает, – с прищуром глянул Сингапур на Толяна.

– А я и не скрываю, что я евреев не люблю, и вообще, я – националист. И уверен – каждый русский должен быть антисемитом и националистом, а иначе задавят нас жида. Мы и так уже как колония существуем. И что любопытно, – совсем разошелся Толян, – вот выйду я сейчас на площадь и крикну: русские – сволочи и свиньи, и бей русских, – самое больше, по морде мне надают, или в ментовку, вернее, в трезвяк. Да и того не будет, у виска пальцем покрутят и довольно. А крикни я: бей жидов! – Крикни я: евреи – сволочи! – меня по роже никто бить не будет, меня прикроют лет этак на пяток за этот самый антисемитизм, и еще по телевизору покажут в американско-жидовских новостях по НТВ, что в России жидов не любят, и пора в Россию вводить миротворческий контингент с автоматическим винтовками М-16 для защиты демократических жидовских свобод. Сталина, жалко, нет, он бы им всем, этим... блядям рас...путным, – Толян в порыве погрозил Сингапуру кулаком.

– Все равно странно, – произнес Сингапур. – Какого русского не слушаешь, кричит он: бей жидов, а бьет русского. Мистика какая-то. Кричит: американцы – сволочи, а при ви-



де американца, что-то подобострастное появляется во взгляде. И так и ждешь, что он сейчас дернет этого американца за рукав и скажет: дядь, дай десять копеек. Не знаю, но почему-то мне так кажется. Или когда в квартиру заходим, где богато живут, почему-то всегда этот взгляд замечаю.

– У кого это ты его замечаешь? – готовый обидеться, глянул на него Толян.

– У тебя, Толя, – сказал Феликс. – Ты же так и норовишь, если люди богато живут, лишний рубль с них содрать, если это, конечно, не бандиты.

– Ты чего несешь, Федяня, – обиделся Толян. – Лишний рубль содрать, – передразнил он. – Да если у них этих рублей... почему бы и не содрать, – уже усмехнувшись, признался он. – Грабь награбленное – как завещал великий Ленин. Тем более, какая у нас зарплата, а какая у них? – он ткнул пальцем в потолок.

– Я вот как думаю, – неторопливо продолжал Феликс. – Тема-то интересная, здесь поговорить есть о чем. Правильно, ты, Федор, заметил, – у нас отношение к иностранцам какое-то подобострастное, по-детски подобострастное. Мы вроде и кичимся перед ними, что мы русские, но как-то поребячески. Как маленькие мальчики перед взрослыми дядями.

– Сэмами! – вставил Леха и загоготал.

– Вроде, мы тоже взрослые, – не замечая Леху, продолжал Феликс. – У меня племянник; так всё с нами, со взрослыми,

старается за стол сесть, показать, что и он уже вырос и водку пить умеет. И над каждой нашей глупостью смеется – вот как Леха; не понимает, а смеется. А среди своих ровесников гоголем ходит. И дети меж собой дерутся – все на взрослых хотят походить, и матерятся, и по понятиям разговаривают, всё взрослее быть хотят. А взрослый похвали их за это, они совсем голову потеряют и на край света за этим взрослым пойдут по наивной гордости своей, потому что они дети еще. Я вот историю читал, и фильмы смотрел. И передачи люблю исторические. Чуть где война и от русского помощь нужна, он все бросит и пойдет помогать. Все бросит – семью, дом, дома пусть голодают – ничего, потерпят. А там, где-нибудь в Болгарии, в Италии, в Югославии – помощь нужна, помощь русского человека. И горд он этим, что нужен он, что помощь его требуется. Он за это доверие все оставит. А немец, француз, или тем более еврей? Разве еврей оставит дом, семью, деньги и пойдет помогать, каким-то там племенам в Африке бороться за независимость? Не пойдет он. Если только ради корысти. А вот так, как русский – от души, от доверия – от этого не пойдет.

Что Леха, что Толян слушали все это со вниманием, и даже какая-то гордость за русского человека появилась в их выпимших взглядах, особенно в Лехином.

– Я бы в Ирак пошел бы, – не выдержав, сказал Леха.

– Вот что и оно, – глянул на него Феликс. – Вот зачем жида-американцы в Ирак сунулись? – за нефтью. А вот Леха –

за справедливостью. (Леха, покраснев, кивнул и даже закурил в волнении, казалось, будь сейчас машина на Ирак, он не задумываясь, запрыгнул бы в нее и поехал). И только русские такие, – в тишине продолжал Феликс. – Нация мы особенная. Жертвенная. Мы себя, семью свою не пожалеем, а за Болгарию умирать пойдем. Не можем мы по-другому. Особенности мы. Я думаю, потому, что нация наша Богом помеченная – чтобы помогать всем, себя не жалея потому и вера у нас такая – православная, только у нас, у славян, у русских.

– Додельные мы, одним словом, – вставил Толян. – Сами с голоду пухли, а, я еще помню, Африке помогали, Кубе, за каким хреном, спрашивается? Когда дома... – он выматерился. – И этот тоже... я бы в Ирак бы, – передразнил он. – Оттого нас дураками и считают, что мы в каждой жопе затычка, и все показушное у нас – как бы чего американцы про нас не подумали. Сталина на них нету, – в сердцах повторил он.

– Сейчас все по-другому, – произнес Сингапур, – сейчас миром правит доллар. И не те уже русские.

– Нет, – с улыбкой ответил Феликс, – и сейчас русские такие же – такие же жертвенные.

– Хватит херню нести, – перебил его Толян. – Правильно – доллар правит миром, а вся эта жертвенность – это же всё уроки истории. Сталин – вот кто сейчас нужен! – он шлепнул кулаком по ладони.

– Доллар правит миром, но не русским человеком, – возразил Феликс. – Русский человек доллар презирает.

– Да хватит тебе...

– А ты вот послушай, – негромко попросил Феликс.

– толян, дай он скажет, – вставил в нетерпении и Леха, ему, видно, было все это интересно.

– Да говорите что хотите, – отмахнулся Толян, – только все это хренотень, пока Сталина не вернут.

– Русский человек доллар презирает, – повторил Феликс. – Я вот о чем еще думал... Я ведь и об этом думал – о том, что доллар правит миром. Раньше у нас, на Руси, разбойники были и купцы. И если купцов у нас никогда не любили...

– Зато уважали, – вставил Толян.

– Никогда их не уважали, – ответил Феликс, – терпели их и только, как и ростовщиков. А разбойников как-то жалели. Вот их уважали – за силу, за отвагу. Те же казаки – они же разбойники, которые купцов на Волге грабили.

– На мерседесах! – в азарте вставил Леха.

– И о разбойниках у нас и песни складывали, и легенды, и любили их, – продолжал Феликс. – А купцов – нет. Один только Лермонтов, но он, разве, этот Лермонтов, русский? А Пугачева и Разина любили, и Пушкин «Капитанскую дочку» свою написал, там ведь о Пугачеве плохого, оскорбительного ничего не сказано. А как у нас Ермака любят? – а это же все разбойники, беглые казаки да каторжные. Та́к вот. И сегодня у нас бандиты и коммерсанты – те же разбойники и купцы. И всё то же. По телевизору, конечно, одно – бандитизм –

это зло, а коммерция – это процветание России. Но если не слушать, что по телевизору, а послушать, что народ говорит, то опять – коммерсантов этих клеймят и хаот, а бандитов уважают, а, порой, и жалеют. Я вот все думал, почему у нас так? И вот до чего додумался. Мы же люди православные, христиане. И по истории, оно как – Христос, он разбойников жалел и проповедовал им. Потому как они люди сумой нищие, головой отчаянные, а душой смятенные – как дети, все удалство у них. И сами они Христа потому любили, что и он нищ, гоним, но душою тверд, а для отчаянного разбойника нет ничего удивительнее, чем твердость души, потому как у самого него она в смятении и в беспокойстве. И сколько в истории случаев, когда именно злейшие злодеи на путь праведный становились и воплощали собой одно смирение. И сегодня немало бандитов, которые священниками стали, и не какими-нибудь, а самыми настоящим православными. Если глубоко на эту тему задуматься, то разбойники будут самыми богоугодными людьми, потому у них у одних почвы под ногами нет: ни семьи, ни дома, ни друзей, а есть одно отчаяние длиною в жизнь, всех они боятся и никому не доверяют, нечего им терять, а какая же это жуть, если вот так представить – когда нечего терять. Это же самая страшная мука, зачем жизнь тогда?

– Что-то я не видел бандитов, которые бы плакали и рыдали, какая жизнь у них страшная, – съязвил Толян.

– А я, Толя, видел. И скажу тебе, все они такие. Только как

мальчишки выделываются, кичатся, что ничего они не боятся, друг перед другом кичатся, и перед такими как ты, чтобы ты первый их и боялся. Бандиты – самый несчастный народ, у них ничего кроме души нет, и эта душа принадлежит Богу. И вот когда кто из них созревает – понимает это, вот тогда он, как раньше людей не жалел, резал, теперь себя не жалеет и всего себя Богу отдает – потому как больше некому.

– Какие они у тебя все прямо идеалистические.

– Да нет, Толя, здесь никакой идиллии, здесь, правда голая, и сам ее увидишь, если всю суету сметешь. Оно ведь, когда всю суету сметаешь, и остается одно – душа. Вот и вся твоя идиллия.

– Если вот так с твоей стороны заглядывать, то купцы совсем богоугодные, вон и в передачах и везде, где про историю: кто на Руси церкви строил? – купцы строили, и все такое, – произнес Толян.

– А это мы и подошли с тобой к главному, – Феликс даже палец поднял. – Купец-то, он церкви не на последние свои строил. И строил-то как – чтобы все знали, что купец такой-то построил церковь. В этом его корысть была – от Бога церковь откупиться, да и от людей, чтобы молва была. Это, Толя, все умысел, все корысть. Вот если бы купец все свое отдал, да так, чтобы без молвы, а один на один с Богом – тогда – да. Но таких купцов я не знаю, да и никто и не знает, если только апостол Матфей, который бросил деньги на дорогу и пошел за Спасителем, да и тот был мытарем, а не куп-

цом, а других история не знает. А знает история, что торгаша Христа боялись, что он власть их сбросит, а раз сбросит, то и деньги они свои потеряют. Ведь Христос проповедовал, что не хлебом единым сыт человек. И не разбойников Христос из храма выгнал, а торгашей. Что любопытно – Христос, который проповедовал смирение, сам взял и выгнал – силой – торгашей из храма. Каково, а? тут есть о чем подумать, тут целая аллегория. Не просто конкретных торговцев из здания храма, а вообще всех торгашей из Храма Божьего, чтобы и духу их на земле не было, – вот как я это понимаю. Разбойники и бандиты – они же не стяжатели, они ограбили, убили и деньги прогуляли, не задумываясь, что завтра будет. А торгош каждую копеечку считает, и деньжонки бережет, а значит, и поклоняется им – деньгам. А раз деньгам поклоняется, значит, о Боге забыл. И бандит – грабит богатых, а купец-коммерсант грабит нищих – вот в чем соль-то вся. Вот в чем истина – купец по копеечке собирает, отнимая эту последнюю копеечку у стариков и больных, которые ему и противиться не могут. Зарплату, вот, недоплачивают, льготы, вот, отняли, пенсии урезали – все по копеечке и все у простого народа. Вроде бы и не с ножом, а грабят и жестоко грабят, с умным лицом, дескать, не хочешь – не работай, не покупай, не ешь, не живи. Это самое страшное – когда вот так вот грабят – с умным лицом и с видом благодетеля. Бандит, когда грабит, он и не думает выглядеть благодетелем, а эти господа при этом всё хотят еще и благодетелями выгля-

деть, или еще – меценатами; хотят, чтобы им за это еще и спасибо говорили. Вот в чем ужас-то весь. И уж кого они не боятся, так это Бога. Они, эти коммерсанты, как животные – живут лишь хлебом насущным. И одного боятся – хлеб этот потерять, хлеб, который они не сеяли, не растили, не собирали, а который у одного обманом купили, а другому с выгодой продали. Бог нас из рая выгнал, напутствовав, чтобы потом и кровью, трудом непосильным хлеб растили. Не напутствовал он покупать хлеб и продавать. Растить напутствовал.

– Так и грабить не напутствовал, – заметил Сингапур.

– Оно так, и грабить не напутствовал, – согласился Феликс. – Но ведь есть что-то в этом молодецкое, что-то отчаянно рискованное – ограбить! – негромко, но с какой-то даже неожиданной лихостью воскликнул Феликс. – А в торгашестве есть лишь скользкость и мерзость, и обман. Не по-русски это – хитрить и вилять, это все жидовское. Ведь тебе самому, наверное, больше казачки-разбойнички симпатичны, чем жида-стяжатели, а? – он с какой-то даже надеждой поглядел на Сингапура.

– Конечно казаки, они веселее, – махнул Сингапур.

– Ну, вот видишь, – заулыбался Феликс. – Да и если по совести... Русские – нация не торгашей. Русские – они же вояки, вон сколько – одну шестую часть света под себя подмяли. Теряем сейчас, конечно. Но и все не вечно. Любой русский, он в душе – казак. У нас и история вся – налетели, грабанули – и домой. Какие мы, русские, торгаши? Торгаши – это



евреи. Вот потому мы их не любим. Все просто. Разве казак когда полюбит купца?

– Но и среди русских есть торгаши, – с прищуром заметил Сингапур.

– А вот здесь уже Толя прав, это уже не русские, это уже ожидавленные.

– Федяня, тебя слушаешь, ты прям специалист по торгашам и бандитам, прям профессор, – Толян даже по плечу его хлопнул.

– Профессор – не профессор, а тесть, – вздохнув, ответил Феликс.

– Кого тесть? – удивился Толян.

– Зять у меня, бандит, сорви-головушка, – вздохнул Феликс. – Так что вся это мерзость, что касается человеческих страданий и переживаний, у меня на виду. Потому что живет он с нами и гол как сокол.

– Чтоб бандит и гол, как сокол?! Да они все на меринах да на БМВ ездят! – оскалился Толян. – Гол, как сокол, ну уморил!

– Ездят, только не на своих, – согласился Феликс, – а на ворованных, да отнятых, а потом все проигрывают, пропиивают и разбивают. Три года уже за всем этим кошмаром наблюдаю. Если бы не внук и дочка, прибил бы его давно. Но дочка любит его.

– А любовь зла, полюбишь и... бандита, – негромко вставил Леха, и, покосившись на Феликса, прибавил, не удержав-

шись, – в смысле, козла.

– Хуже, – вздохнул Феликс. – Человек же он, а бестолковый. Соседи нас залили месяца три назад, так он такую пальбу из пистолета устроил... жуть. Всех перебудил – весь дом, ночью это было, под утро.

– Убил?!

– Так он же не убить хотел, а попугать. Всех напугал – сына и жену своих первыми. Убьют его скоро или посадят. Оно, может, и к лучшему. Потому как проку от него...

– Как от козла молока, – совсем осмелев, подсказал Леха.

– Хуже, – кивнул Феликс, – весь дом нас боится, даже участковый, потому как тоже человек. С одной стороны, все вежливые, а с другой... тоскливо это, когда тебя соседи боются.

– Да ты у нас, Феликс, в законе, – подмигнул Толян, все шутил он, но, видно, уже с натугой; такая новость заставила его по-другому на Феликса смотреть, и он Федяней перестал его называть.

– Больше вне закона, – ответил Феликс. – Живем как на чемоданах – не знаем, что завтра будет.

– Выгони его, – предложил Толян.

– Ага, выгонишь! – со знанием усмехнулся Леха.

– Выгнать можно, – произнес Феликс, – только дочка вот. Внука я в деревню увез к брату от греха этого, потому как отца его трезвым не помню, когда видел. А отдельно жить дочка с ним боится, он ее бьет, а при мне остерегается, я у них

как миротворческий контингент, – Феликс с улыбкой глянул на Толяна, – без винтовки. Устал я, – с какой-то невыносимой искренностью произнес он. Видно, впервые говорил он все это, и видно было – устал он. Слесаря молчали, слушали. Феликс выговаривался. – Домой придет пьяный, сядет возле меня и изливает душу, все рассказывает. Уж я просил его не рассказывать мне всей этой жути. Слушать все это страшно. А он: а кому мне еще все это рассказывать? А в себе носить не могу, с ума сойду. Вот и выслушиваю я его, как на исповеди. И понял я одно – не жизнь это, страх один. Он и спит когда, как закричит иной раз, я аж вскакиваю, хотя сплю крепко. Всего он боится. Ко мне вот или к вам кто подойдет сигарету спросить – ну, что в этом такого? А к нему раз парень подошел спросить сигарету, так у него лицо изменилось, побледнел... рывкнет как на этого парня, думал, прибьет его. Спрашиваю, чего ты так паренька напугал, за что? ну, подошел, ну, спросил, чего на него было рывкать и оскорблять его? – Ты знаешь этого паренька? – спросил он у меня. – Нет, говорю, не знаю. – Вот и я не знаю, – ответил он, по сторонам покосился, и пошли мы. Это ж до какого надо себя довести, чтоб каждого прохожего бояться, который к тебе за чем-нибудь обратится? Это же какая жизнь-то? Я вот так подумал на эту тему, с зятем поделился, он, конечно, посмеялся, но, думаю, что от гордости посмеялся, побоялся признать, что я правду говорю. А думаю я вот что. Ведь какой прок этому бандиту быть таким, какой он есть? Денег у

них никогда нету, они их хотя и любят, но презирают, как падших женщин: вроде и наслаждение с ними ищут и находят, а чуть что и бросить их могут без всякого зазрения совести. И жену свою он вроде бы любит, но, даже было, через беременную, когда она в дверях ложилась, не пуская его, переступал и уходил. И гордится, что сын у него растёт, но не видит этого сына и не помнит о нём, а если и вспоминает, то, только разглагольствуя, что вот вырастет он и будет самым сильным, и все его бояться будут. И все у него сводится к тому – чтобы боялись, точно помешан он на этом людском страхе, словно нужен он ему как лекарство, чтобы свой страх заглушить. Нездоровые они, эти бандиты, всё до старости так и не понимают, где живут. Глаза лишь водкой заливают, чтоб как бы и не видно, а... ладно, – вздохнул он. – Словом, больные они с детства и больны детством. И зятю я так объявил, что болен он, и лечиться ему надо, и, первое, пить бросить, чтоб пелену эту с глаз снять. А он только смеется, глупости вселенские говорит, что весь мир болен, что не он один такой. А ведь закончилось их лихое время. Теперь времена страшные наступают. Теперь власть по-настоящему купеческая стала. Если раньше коммунисты были – те же лихие разбойники – революционеры; ещё раньше – царь-батюшка; и те и другие коммерсантами-купцами пользовались, работать на себя заставляли – всё по-русски, всё, как и должно у нас быть. То теперь власть, как Толя сказал, ожидалась, теперь все с ног на голову – все как в Европе

да Америке становится. Не было у нас на Руси такого по-настоящему купеческого беспредела; не было, чтобы человек рубль показал, его за этот рубль и уважали бы, и любили. У нас на Руси всегда стать любили, происхождение. Нищий, без рубля, зато дворянин, или казак, или офицер – уже достаточно, уже горд он этим, и за одно это к нему уважение и почет. И всякий, пусть и миллионщик, купец, а все старался дочь свою выдать за дворянина – лишь бы поближе к благородной крови. А теперь всё наоборот – всё не по-русски. Даже обидно от этого. Теперь последний торгаш гоголем ходит, уверенный, что власть им куплена. Мне зять мой историю рассказал. Пьяный был, даже плакал, что жизнь сволочная стала. Есть у нас в городе такая должность у бандитов, очень важная должность, смотритель называется.

– Смотрящий, – поправил Леха.

– Пусть будет смотрящий, – не спорил Феликс. Так вот, этот смотрящий со своею женой пошли в ресторан, чтобы отметить день рождения сына – годик ему исполнился. Посидели, поужинали, потанцевали. Решили уже домой идти, заказали последний танец, танцуют. А в этом ресторане отдыхала компания каких-то наших очень крутых коммерсантов, таких крутых, что они и губернатора, и всех наших милицейских начальников с ладошки кормят, очень богатых коммерсантов. Так не понравилось им, что кто-то там медленный танец танцует. Музыка, видите ли, им не понравилась, и громкая слишком, а что сами гуляли от всей души, это уже

не важно. Сказали они этому смотрящему, чтобы он вон уходил. Тот попросил их: ребята мы дотанцуем и уйдем. Так те обиделись, и его до полусмерти избили и жену его – на улицу выволокли и за волосы ее и головой о капот машины. У смотрящего сил хватило только номер на сотовом своем набрать. Через пять минут человек двадцать налетело, и зять мой в их числе, все молодчики отъявленные, всех этих крутых коммерсантов покалечили и порезали – не насмерть, а чтобы наказать, чтобы помнили. Порезали и уехали. И остались смотритель с женой чуть живые и коммерсанты чуть живые. Но коммерсанты они милицию с ладошки кормят, а смотритель этот, он – бандит. Вот теперь и судят его, что он их всех порезал. А коммерсанты эти – потерпевшие. И ни слова, что они первые начали, что его до полусмерти избили – и что мерзкое самое, и женщину избили – и все по блажи своей, что дозволено им все, что купили они власть... Когда бандиты были, они тоже куролесили, но, куролеся, знали, что попадись они – посадят их. А сегодняшние купцы не боятся этого. Вот где беспредел-то, вот где страх настоящий. Вот где гибель России. Не должен купец на Руси править, иначе погибнет Россия... И гибнет уже, – произнес он, вздохнув. Бандит хоть и злодей, но понимает, что русский он. Брата своего за бутылку зарежет, а случись что, за Россию костями ляжет. А купец – он и ножа никогда в руках не держал, а для России – первый враг. Потому как нет у купца родины, ему деньги дороже.

– Да, – согласился Толян, – доллар правит миром. А ты говорил, что нет, – глянул он на Феликса, – и сам же вот такое нам рассказал. А и бандитов-казачков сейчас нет, – подумав, сказал он. – Одна шантрапа, какая за червонец насмерть человека запинает, и делов только. Вот и вся романтика. А хуже, что прыщавый пэпээсник это будет – этой шантрапой – за червонец запинает.

– Потому как лакей он купеческий, – произнес Феликс, и что-то скорбное в лице его появилось, даже зябко стало, глядя на это всегда доброе, изменившееся теперь его лицо. Не по себе всем от этого стало.

– Да ладно, брось, Феликс, – произнес негромко Толян. – Пошли уж работать, что ли.

– За державу, Толя, обидно, – не глядя на него, словно сам себе, произнес Феликс, – а так что, так оно, конечно, ладно... Пошли уж.

– Пошли, Верещагин ты наш, – подзадорил его и Леха, – только не заводи баркас!

Уже через час за работой забыли все и о бандитах и о коммерсантах. Теперь вновь были трубы, вентиля, краны, подвалы и грязь, и озлобленные жильцы, у которых рвались, гнили и текли все эти трубы, и которым не было дела до державы, им до труб своих было дело и до слесарей, так долго не приезжавших на их вызовы. Тем быстрее слесаря ненавидели жильцов, ненавидевших слесарей, и разговоров было все больше о выпивке, Лехино зубоскальство, ругань Толяна и

Сингапурова нерадивость в работе. Трудно ему было, оттого и материли его, и больше оттого, что он – художник. В этом и Толян, и Леха видели первую причину его бестолковости в работе.

Один раз он заикнулся, что он художник. Раз двадцать успел об этом пожалеть. Толян как привязался к нему.

– Вот ты художник, вот расскажи нам, вот что за хрень такая – Пикассо, или этот «Черный квадрат», вот что в нем? Это же хрень, у меня дочь лучше рисует, ну вот объясни мне, может, я чего не понимаю? – Почему-то Пикассо и «Черный квадрат» до живого задевали его. Узнав, что теперь с ним работает художник, Толян крайне заинтересовался, даже какое-то нездоровое возбуждение появилось в его взгляде, словно он только и ждал случая повстречаться с художником и выяснить – что же это за хрень такая, этот Пикассо и этот «Черный квадрат». Казалось, что это волновало его всю жизнь, и вот подвернулся случай – всю правду выяснить. «Черный квадрат» не просто интересовал его, он точно оскорблял Толяна своим существованием; доводил до негодования.

– Что ты к парню пристал? – говорил Феликс. – Может, он сам не любит этого Пикассо, ведь правда, Федор? – в надежде глядел он на Сингапура.

– Нет, пусть объяснит мне, – заводился Толян. – Пусть объяснит, чего они всё высматривают все в этом квадрате, чего они там все видят? Почему я не вижу, а они, все эти ум-



ники с дипломами, видят. Дурят русского человека Пикассо этим, квадратами этими. Издеваются над нами, за дураков держат. Значит, они видят, значит, они понимают, а мы – нет, мы, значит, быдло.

– Тебе-то это зачем – понимать это? – не выдержав, чуть слышно, с трудом сдерживаясь, взглянул на него Сингапур.

– Мне это зачем? – Толян возмутился, его по-настоящему оскорбил такой вопрос. – Я тебе скажу, зачем мне это! – он уставился на Сингапура. – Я тебе скажу, зачем мне это, я тебе вот так скажу: Этому бы Пикассо к нам бы на работу, чтобы он по подвалам в дерьме полазил, хлебнул бы всласть вот этого бы искусства, тогда бы поглядел я, какие он бы там квадраты и параллелепипеды рисовал. Вот нагляделся бы он в этих черных подвалах... и космос бы увидел... и всякую там... вселенную. Вот он где настоящий Черный квадрат – наша работа. А то художники, творческие натуры... Поглядел бы я тогда на этих художников. – Очень хотел Толян этим задеть Сингапура и глядел он на него ядовито и с каким-то вызовом.

– Ну, хватит тебе, – возмутился Феликс. – Зачем парня обижаешь. Неважно он работает, но научится. Ты, поди, сам сперва не ахти как... – Феликс улыбнулся. – Не обращай, Федор, на него внимания, все у тебя получится, ты еще в начальники выбьешься, и будешь командовать над такими вот обормотами. Главное, что ты непьющий, а остальное все получится, – обнадежил он.

– Во-во – в начальники! Правильно, – не успокаивался Толян, – а мы быдло, мы и так, мы в Пикассо не понимаем, – поюродствовал он.

– А с чего ты взял, что он любит Пикассо? – встрял и Леха.

– Да у него на лице это написано, – не задумываясь, ответил Толян. – Ты на его морду посмотри, у него же морда нерусская. – А это уже был вызов и перебор, Толян понял это. – Да? – морда нерусская, – уже в шутку сказал он, по плечу Сингапура похлопал. – Ты не обижайся, на обиженных – сам знаешь что. работа у нас такая, с мое поработаешь – ого-го! – засмеялся он. – Все нормально, – хлопал он Сингапура по плечу, – все нормально. Ну, что, – сказал он уже всем, – поговорили и будет. Надо работать. Пошли.

Ничего не ответил Сингапур. Вторую смену он только работал, а его тошнило уже от этой работы, в дрожь бросало от одной мысли, что опять в подвал, в это дерьмо, с этими слесарями.

Что-то скотское было во всем этом. И сами люди, к которым они приезжали на вызовы, смотрели на них, как на скотов. Вторую смену работал он, и странное чувство – что еще немного, еще месяц и сам он поверит, что оскотинился он. Не замечал он за собой такой внезапной брезгливости к грязи; впрочем, сам он не отличался особой чистоплотностью, но его грязь была другая – краска. Он привык к ней, он не замечал ее, он не считал ее за нечистоту. Здесь же было дерьмо и гниль, и в этой гнили они работали, отдыхали, ели.

Роняя в эту подвальную гниль кусок колбасы, Леха поднимал его выпачканными в канализационной слизи руками и ел. – Нормально, – смеялся он, – привыкнешь. Привыкнешь – и вот это по-настоящему пугало его. Привыкнешь к чему? Что ты стал скотиной, которую брезгают пускать на пороги квартиры? Люди ими брезговали, их старались обойти как чумных; с ними мирились, как с необходимостью... И ненавидели их. Конечно, ненавидели не все, но брезговали все, невольно, очень стараясь не показывать этого, стараясь не обидеть, но все одно – брезговали. Всякий раз он ощущал на себе эти брезгливые взгляды, когда из загаженного подвала они входили в чистые квартиры, проходили на кухни, оставляя после себя следы подвальной гнили. И везде эти терпеливые брезгливые взгляды. И еще одно обстоятельство, которое пугало его, пугало, пожалуй, больше, чем брезгливость – отчаяние людское. Часами ждали их, часами возле порванных труб, в воде и нечистотах, ждали и, дождавшись, выливали всю скопившуюся за эти часы ненависть.

– Мы вас пять часов ждем, в дерьме тонем!

– У нас одна машина на весь район! – огрызались слесаря.

– Пять часов!! – не слыша, кричали люди. И здесь уже, в отчаянии, в горячке, обвиняли слесарей во всем: что трубы сгнили, что краны прорвало, что залили их, что у них евроремонт, что у них паркет, что в квартире трубы они поменяли, что же, им и стояк за свои деньги менять?!? Что они, крайние?!? Кто им все это возмещать будет?!? И... пять ча-

сов они ждали!!! – И здесь уже не было смысла оправдываться, что одна машина на весь район, здесь надо было защищаться.

– Сволочи! – негодовали слесаря. – Мы к ним с починкой, а они на нас с топорами. Мы что, виноваты, что у них трубы сорок лет не меняли, мы разве в этом виноваты?! На нас-то что зло срывать?! Мы что, самые крайние?!!

\*\*\*

Было три ночи, когда аварийка приехала на вызов. В блекло освещенном фонарями дворе толпились человек сто – казалось, вышел весь дом. Машина остановилась. Толян, Леха, Сингапур выбрались из машины. Сразу же толпа двинулась к ним.

– Что, опять ни за зря пропадать? – очень стараясь быть шутливым, произнес Леха.

– Ну, что, я поехал? – пошутил и Феликс. Но, видно, не до шуток было. И толпа совсем нешуточно приближалась.

– Вот они, бляди, суч-чье, – донеслось из толпы.

Не разобрать ни лиц, ни фигур – плотно надвигающаяся тревожная тьма. Может и не было ста человек, может, и было человек тридцать, но такая тьма... И с каждым шагом гомон – и не разобрать, кто, что кричал – бессмысленное, крикливое многочеловечье; озлобленное, надвигалось решительно; слесари отступили. Дальше машины некуда. В машину... черт знает, еще перевернут. Не возникло вопроса, зачем, почему их так встречали, чего хотели?

– Феликс, лом! – крикнул Леха. Феликс подал лом. Леха с ломом, Толян с разводным ключом, Сингапур – сжав фонарик – все трое, нервно сгрудившись, в страхе смотрели на толпу. Феликс врубил дальний свет. Толпа встала.

Оскалившись, закрывая руками лица, толпа в сморщенной ненависти вглядывалась в слесарей. Три шага отделяло их. Свет ударил в толпу, гомон стих. Но, точно набрав воздуха, толпа взорвалась. Сразу. Вся. Крики, крики, крики. Чего они кричали, чего они хотели? Ни слова не разобрать, шуткали – сотня глоток, и каждая – свое. Толпа встала, из толпы, не останавливаясь, прямо в свет фар дерганной, поджаренной походкой вошел мужик.

– Бляди, – хрипел он, – убью, бляди.

– Ну, иди сюда, иди! – замахнувшись ключом, вскричал Толян.

– Вы... бляди, – замешкав перед ключом, в хрипе надрылся мужик, встав в шаг от слесарей, – сварили всех, бляди.

– Кто сварил? Чего ты несешь? Мы – аварийка. На машину погляди, на форму.

– Сварили, бляди, яму вырыли, кипяток, я ноги обварил, ребенка сварили, ребенку четыре годика. Сварили.

– Г-Д-У-У!!! – заревела толпа.

– Какую яму? Мы – аварийка! Мы не роем, мы краны чиним, мы – АДС – аварийно-диспетчерская служба. Мы ямы не копаем. Федор, свети фонариком. – Хоть от фар и так бы-

ло до рези светло, но озверел Толян, от несправедливости озверел. – Леха, покажи спину! – командовал он. На спине Лехиной формы, впрочем, как и на форме Сингапура и самого Толяна было крупно написано АДС; спину Леха не показал. От толпы отделился еще один мужик. Леха взмахнул ломом.

– Опустит лом, – сказал мужик, голос тяжелый, взгляд разумный, в отличие от первого – обваренного, у того во взгляде ничего кроме ярости и ненависти. Толпа... А толпа стояла на месте – точно ждала команды. И жутко становилось оттого, что видно было, что она ждала. Ждала, не притихнув, как зверь в засаде, нет, ждала, по-человечьи истерично и с подхлестом; разжигая, раздергивая сама себя десятками звонких бестолковых колокольчиков, шумных и до обидного глухих в своем бестолковом, только раздражающем звоне. Но сквозь этот бестолковый звон слышишь – не слышишь, а чувствуешь – кожей чувствуешь... – Словно какой незримый пономарь, с натугой – вж-жу-у – тяжелый чугунный язык на себя. Ш-шу-у – ушел язык... Кожей это чувствуешь – вж-жу-у – приближается. Ш-шу-у – опять ушел, и вот... Вот он, сейчас – ждут все... Вот сейчас – б-б-бум-м-м... но пока только вж-жу-у... пока только ш-шу-у... И истеричное бд-зинь-дзвинь-бдзинь-дзвинь... – звенела толпа, надрывалась толпа, ждала толпа... ждала, как одна, собравшись для этого б-б-бум-м-м-м. И тогда уже не остановить, тогда уже все сметет этот бум, тогда уже...

– Пошли, – всё тем же тяжелым тоном, мужик поманил слесарей. Вж-жу-у – кожей чувствовали слесаря. – Пошли за мной, – манил он. Ш-шу-у-у – мурашки по коже. Бд-зиль-дзиль поприутихло, оттого это вж-жу-у чувствовалось все крепче. Косясь на это, только и ждущее многочиселовечье, невольно, до боли, сжимая оружие, слесари двинулись за мужиком. Обваренный за ними. Следом толпа. Ш-шу-у-у.

– Гляди, – указал мужик.

Возле самого подъезда, в шаге от входа, была вырыта яма метра в два глубиной и столько же в ширину. Никаких ограждений. Яма.

– Гляди, – повторил мужик, ткнув пальцем в яму. Из ямы шел густой белый пар. Толян, Сингапур и Леха глянули в яму. Мутная от чернозема рябь дымящегося кипятка, отражающего в себе блеклый свет подъездного фонаря. – Мальчишка, четыре годика, сварился, – сказал мужик, и словно в подтверждение наступил на край ямы, чернозем, подогретый кипятком, мягко пополз, мужик убрал ногу. – Даже ограждения не поставили, – резко глянул он на слесарей. В-вжу-у-у, сразу почувствовали те.

– Самих их сварить! У-у-у! – взревела толпа.

– Бля, вы чё! Мы – аварийка, мы не роем!

– Сварить их, гадов! Сварить сволочей! В яму их!

Какой-то еще мужик шагнул к Лехе, и еще какой-то шагнул.

– Мужики, вы чё! – Леха взмахнул ломом. – Мужики!

– Мужики, тихо! – мужик с разумным взглядом заслонил Леху. – Разобраться надо.

– Чего тут разбираться!

– Кто копал – вот чего разбираться!

– Да теплосеть это копала! Ее это яма! – кричал Толян. – Мы вообще только в доме работаем, мы только после элеваторного узла, а здесь улица, здесь до элеваторного узла, здесь теплосеть, здесь не мы!

– Я ноги себе обварил, я там телефон сотовый утопил, – первый мужик опустился на лавочку, что была у подъезда, прямо напротив ямы; боль пересилила, наконец, ярость; он сидел, раскинув обваренные ступни, и вытянув руку, тыкал пальцем в яму. – Вы, бляди, – он чуть не плакал. – Телефон пять тыщ стоит! Вы, бляди, – уже рыдал он. – Пять тыщ, бляди! – тыкал он в яму.

– Дитё сварили! Какой телефон! – раздался бабий возглас. – Дитё сварили! Дитё!

– Мы с восьми вечера вас ждем, – говорил мужик с разумным взглядом, – с восьми, – в злобе повторил он. – Кипяток живой.

– Это не наша работа, – все стараясь отойти от ямы, говорил Толян. – Мы обычная аварийка, – он косился на толпу, стеной обступившую их. – Здесь работает аварийка теплосети, мы не можем здесь работать, не имеем права. Вы зачем нас вызвали? – неожиданно зло взвизгнул он. – Вы бы



еще электриков вызвали или пожарных, – напал он. – вы теплосеть должны вызвать, а не нас... у-бля! – он отскочил, чернозем пополз прямо из-под его ноги. – Это теплосеть! – в страхе, сорвавшись до хрипа, вскричал он.

– Пошли, – схватил его за рукав мужик с разумным взглядом, – будешь вызывать сам эту теплосеть.

Все вернулись к машине. Толпа не отступала ни на шаг.

– Феликс, рацию! – взяв рацию, Толян закричал в нее (он теперь только кричал): – Василич?! Василич, здесь прорыв теплосети, нужна аварийная теплосети. Вызывай срочно.

– Понял, – ответил Василич.

– Срочно, Василич!

– Понял я, – ответил Василич.

– Ну, все, – Толян отдал рацию Феликсу, сам хотел влезть в кабину.

– Куда? – удержал его мужик с разумным взглядом. Пока теплосеть не приедет, вы – никуда, – сказал он это негромко. Вж-жу-у, – почувствовал Толян.

– У нас вызовов много, – ответил он.

– У нас вызовов много, – встрял Леха.

– У вас один вызов – здесь, – отрезал мужик. И вновь, казалось, утихшее бдзинь-дзвинь, с новой яростью заголосило, зазвенело:

– Гады, сволочи!..

– Это не мы, это теплосеть, – кричали в толпу Толян и

Леха.

– Правда... ребенок? – спросил Сингапур.

– По пояс, – сквозь зубы ответил мужик.

– Живой?

– Не знаем. Скорую ждем.

– Еще не приехала?

– С восьми вечера ждем. Как и вас.

– Так сами везите! – вскричал Сингапур.

– Не ори! Денег нет у матери! Такси – сто рублей. Скорую ждем. Ее нет! Чего ты орешь? – тарасился он на уже притихшего Сингапура. – И вас с восьми ждем! Орешь тут... Как кипяток хлынул... и пацаненок из подъезда... и нога поползла – и в яму... А ты орешь!!! Мать его за руку – он по пояс в кипяток. Сволочи! – он выдохся, зверем глядел на Сингапура. Сингапур бледный глядел на мужика. Толпа смолкла, словно все выдохлись. Молча в тишине, глядели друг на друга – слесари – на толпу, толпа – на слесарей... Какая-то баба заголосила в этой тишине:

– Ой, что же это, ой Господи...

Показалась карета скорой помощи. Толпа вся хлынула к ней.

– Поехали, – скомандовал Толян. Слесари забрались в машину.

– Ну, родимая, ну, ласточка, – шептал Феликс. Машина завелась. – Ф-фу, – выдохнул Феликс. – Слава тебе, Господи, – машина тронулась, выехала со двора.

– Этим бабам из диспетчерской, им бы... – Толян долго выматерился. – какого... какого, нас-то вызывали?! Они там, что, дуры, не соображают, кого куда вызывать?!

– Василич, – вызвал Леха. – Василич.

– Чего? – ответил Василич.

– Чего-чего, – передразнил Леха. – Когда нам боевые будут платить – вот чего. Мы тебе что, Василич, группа быстрого реагирования, спецназ по разгону возмущенных народных масс?..

– Хватить свистеть, – осадил его Василич. – Выбрались?

– вырвались, – поправил его Леха.

– И молодцы, – похвалил его Василич. – Теперь давайте по такому вот адресу, – он назвал адрес.

– Василич, – встрял Толян, – у нас по плану прорыв, трубу прорвало, три этажа тонут.

– Ничего, не утонут.

– Василич, мы уже к дому подъезжаем...

– Ничего.

– Василич, какие еще ничего! Там три этажа, нам что, опять оборону держать?!!

– Толян... там надо, – уже просил Василич. – Там человек нужный живет, друг мой, к нему давайте, а три этажа подождут – все равно уже тонут.

– Василич, я тебе говорю, мы уже к дому подъезжаем, а к твоему другу – это ж на другой конец района, у нас бензин под завязку.

– Толян, я тебя прошу. Понимаешь – я тебя прошу.

– Хрен с тобой, – Толян отключил рацию. – Разворачивай, – в раздражении сказал он Феликсу.

– Эти нужные люди, эти друзья, – пробурчал Феликс.

– Может, обломится, – в надежде произнес Толян.

– Ага, – усмехнулся Леха, – жди.

Нужный Василичу человек жил в элитном доме.

– Во люди живут, – выйдя из машины, позавидовал Леха, с уважением разглядывая пятиэтажный одноподъездный дом с большими окнами и эркерами. Вокруг все было чистенько, выложено плиткой; газоны, дорожки. – Здесь, наверное, квартирки, – он присвистнул.

– Хватит свистеть, – поторопил его Толян.

– Боишься, денег не будет? – Леха уже задорно подмигнул ему. Толян не ответил; набрал в домофоне номер квартиры.

– Слесари, – ответил он, когда спросили «кто?». Дверь открылась. Слесари вошли в чистый подъезд, поднялись на второй этаж.

– Здорово, мужики, – дверь открыл невысокий плотный мужчина в халате, – а я вас жду-жду. Да вы проходите, – пригласил он, замешкавшихся слесарей. Паркет переливался в чистоте. Осторожно слесари прошли на кухню, где из вентиля под раковиной неторопливо по капельке капала вода. – Вот, – указал на вентиль нужный человек, – протекает. Я в подвал спустился, все вентиля перекрыл, а свой чего-то

не нашел. Протекает, – повторил он. Слесари переглянулись. Вышли из квартиры. Сингапур с Толяном остались в машине, Леха с хозяином, который уже переделался в спортивный костюм, спустился в подвал. Вернулись скоро.

– Утром слесарей из ЖЭКа вызови, – они тебе починят, – сказал напоследок Леха.

– Спасибо, мужики.

– Спасибо – не валюта, – сказал Толян.

– Не понял, – глянул на него нужный человек.

– Счастливо, – махнул ему Леха, сел в машину. Машина тронулась. Это же человек Василича, – сказал Леха Толяну, – я же тебе говорил.

– Вот козел, – выругался Толян.

– Ну, чего, теперь по плану? – спросил Феликс.

– Поехали, – ответил Толян. – Как бы опять за лом не пришлось браться. Эти нужные люди... – процедил он, зло взглядываясь на дорогу.

Они только вошли в подъезд... Туман. В бледно-оранжевой пелене на вытянутой руке ничего не было видно. Добрались до квартиры третьего этажа. Дверь открыла перепуганная женщина.

– Наконец-то! – произнесла она.

Вся квартира ее была по щиколотку в горячей воде. Трубу сорвало.

Вновь подвал. Сингапур уже одурел от этих подвалов.

Грязь, темень. Он уже не замечал грязи и вони, пряча голову, чуть ли не на корячках проползая по узким лабиринтам загаженного подвала. Сколько же грязи и воды, и дерьма... И трубы, трубы, трубы, углы, стены, потолки, все низкое, все словно только и поджидало его в этой тьме – выскакивало, вылетало, и все в лоб, в грудь, в плечи. Как слепой шел он, выставив вперед руки. Подавал, какие-то ключи, что-то держал, вертел, его материли, он держал как требовали, все равно не так, материли снова, он терпел, он старался, оттого держал еще хуже, подавал вовсе не то. – Федор, ты что, совсем тупой?! – Да, тупой! Отупеешь тут от этих ключей, ежей, труб, вентиляей, от этой вони, вони, вони...

Перекрыв воду, написав бумагу, что не виновата хозяйка, что трубу прорвало... Труба гнилая, трубы давно надо менять. Но никто их менять не будет, и, значит, через месяц, а может, завтра, трубу прорвет в другой квартире, на четвертом этаже или на первом, но обязательно прорвет. Не может не прорвать. Так должно быть. Потому что... так должно быть: прорвется, треснет, поползет, разрушится. Все разрушится. Время пришло.

Измученный, Сингапур залез в машину.

– Ну что, ночной дозор, в путь, по темным улицам, на борьбу со злом, – острил Леха. Но и сам уже не смеялся от своих острот, сам уже устал. Пять утра, а еще вызов – до упора, до восьми.

– Чего там у нас далее в программе? – спросил Толян.

– Платный вызов. Элитный дом.

– Ну, хоть выпить будет, – хоть и зло, но с надеждой сказал Толян.

Дверь открыла женщина.

– Проходите, – пригласила она.

– Сапоги, может, снимете, слесаря! – За женщиной появились два детины, оба огромные, пьяные и, видно, измотанные.

– Нам по технике безопасности не положено, – крайне вежливо огрызнулся Леха.

– Меня не волнует, чего там положено. Разувайтесь.

Все трое покорно разулись. Прошли в ванную. В джакузи по щиколотку было воды. – Вот, забилося, давайте, пробивайте.

– А утра не судьба дожидаться и ЖЭК вызвать, – вновь крайне вежливо огрызнулся Леха.

– Чего? – глянул на него детина. – Грамотный, да?

– Нет, не грамотный, слесарь я, – глядя куда-то под ноги, буркнул Леха.

– А раз слесарь, давай бей. Чтоб быстро было, – детины ушли на кухню.

– С Москвы только приехали, устали, помыться надо и спать, а тут вот... Вы не волнуйтесь, я вам заплачу, только вы не спорьте, не пререкайтесь, – совсем шепотом утешала их женщина, – они нервные, устали, вы только не спорьте, – повторила она, покосившись в сторону кухни.

– Конечно, конечно, – услышав, что заплачат, зашептали слесари.

Вышли из квартиры. Спустились к подвалу. Женщина хотела вставить ключ в замок.

– Да что же это, – руки опустились.

– Чего там? – любопытствовал Леха.

– Бомж, скотина, – прошептала в сердцах женщина, беспомощно глянув на слесарей. Леха осмотрел замок, в скважину были всунуты две спички. – Третий замок уже портит, – жаловалась она. – Мы его приютили, жалко, человек все же... А он, напился, и пожар устроил. Выгнали его, замок повесили, теперь вот мстит... Ребята, я доплачу, вы только... можете, как-нибудь, чтобы не спиливать, а то на замки не напасешься.

Замок дорогой был. Евро.

– Попробуем, – вздохнул Леха.

Минут сорок возились с замком, выжигали осторожно, вытаскивали, выковыривали... Справились, вычистили замок.

– Спасибо, ребята, – сразу за замок, женщина дала Лехе сто рублей.

– Премного благодарен, – поблагодарил Леха, взял деньги и спустился в подвал.

Воду перекрыли. Когда работали на кухне, пробивали засор, работали аккуратно, чтобы паркет не испачкать. Оба де-тины сидели, здесь же на кухне за столом, пили коньяк, пили



сквозь сон и сквозь сон, матерясь, поучали слесарей.

– Хрена вам заплачу, – бормотал один детина, – плохо работаете. Хрена вам заплачу...

– Не плати им, – поддакивал другой детина. – Плохо работают. Не плати им.

– Хрена им заплачу, – согласно кивала детина.

Слесаря работали. Женщина стояла в дверях и незаметно жестами говорила им, чтобы не возмущались, что все будет хорошо.

Работа была сделана. Слесари собрали инструмент, вышли к двери, обулись.

– Гони их вон, – донеслось из кухни.

Молча, женщина сунула Лехе пятисотенную бумажку. Леха невольно сглотнул. Когда деньги брал, чуть от волнения не выронил. Слесари попрощались, вышли из квартиры.

– Вот это женщина, – восхищался Леха, – пять сотен – за здорово живешь!

– За моральный ущерб, – поправил его Толян.

Сели в машину. Времени было семь утра.

– Ну что, последний вызов, – заключил Толян.

– Чего там у нас? – спросил Леха.

– Частная хлебопекарня, – ответил Толян. – Ни на каком балансе не стоит. К тому же там хозяева – узбеки. Вот тут-то я душу-то отведу, – даже в каком-то азарте произнес он. И что-то мужественное появилось в его настырном взгляде, еще недавно тихом и покорном.

Феликс как всегда остался в машине. Во главе с Толяном, Леха и Сингапур вошли в здание хлебопекарне.

– Гадом буду, если с этих чурбанов денег не срублю, гадом буду, – подзадоривал себя Толян.

– Вот, блин, – удивился Леха, когда они проходили по хлебопекарному залу. Духота, пар, и в этом душном, белом пару ходили, стояли, работали люди – пекли хлеб. Гудели машины, работали печи. – Как в американском блокбастере, – острил Леха, – брошенный завод... У вас маньяки есть? – спросил он подвернувшемуся девушку в сером заляпанном чем-то халате. Девушка покосилась на него. – Значит, есть, – глядя ей в след, заключил Леха.

Вошли в кабинет. За столом сидел невысокий кругленький узбек средних лет. При виде слесарей он поднялся.

– Ну, что, дорогие, пройдемте сюда, – как-то с пришепыванием произнес он. Проводил слесарей в хлебопекарный зал к трубе. – Вот, течет, – указал он. Толян с лехой переглянулись. Работы было на двадцать рублей. Вентиль заменить.

– Сейчас сделаем, – сказал Толян.

Через пятнадцать минут они уже стояли в кабинете. Узбек сидел за столом.

– Сколько, дорогие мои? – с присюсикиванием и все тем же комическим пришепыванием спросил он.

– Семьсот рублей, дорогой, – ощерился Толян.

– Почему так дорого? – узбек глядел на Толяна.

– Потому, дорогой, – уже даже не улыбаясь, а, как-то ска-

лясь, ответил Толян.

– Не, не согласен я, обманываешь меня, – возмутился узбек.

– Слушай, дорогой, – до обидного анекдотично, так и желая обидеть, все так же сквозь оскал, говорил Толян. – У нас, дорогой, время очень дорогое, деньги давай, дорогой.

– Не, не согласен я, – обиделся узбек, – и зачем меня передразниваешь. – Снимай, что поставил. Не надо мне ничего, – даже отмахнулся, словно ему что-то неприличное предложили.

– Сейчас, подожди, – Толян вышел. Вскоре вернулся с ломом.

– Это что еще за дела! – увидев лом, вскричал узбек.

– Это такие дела, чурбан ты нерусский, деньги давай, да?

– Ты, почему так ругаешься. Я сейчас своих ребят позову.

– Я сейчас своих позову, узкоглазая тварь. Ты чего здесь делаешь? Ты зачем сюда приперся? Вали в свой чуркистан, а мы на своей земле. Деньги давай, а то, – он переложил лом из одной руки в другую, забросил на плечо. – Не доводи, чурка, до греха русского человека.

Леха с Сингапуром молча наблюдали. Впрочем, Леха, так, невзначай, достал из-за пояса гаечный ключ.

– Почему так дорого? – словно ища поддержки, глянул узбек на Леху; увидел у него ключ. – Вы – бандиты? – вырвалось у него.

– Ноу, вэ а раше, – сурово ответил Леха. Сингапур неволь-

но хмыкнул.

– Не понятно говоришь, – в растерянности произнес узбек, глядя то на лом, то на ключ.

– Быва-ает, – ответил Леха, теперь изображая равнодушные; и зевнуть постарался.

– Вот ты умный человек, – теперь узбек обратился к молчаливому Сингапуру, – сразу видно, что умный, давай свою цену.

Сингапур отвернулся, противно ему все это было.

– Ты, видно, тоже умный, – узбек глядел на Леху, – дай другую цену.

– Мы тут все не дураки, – напомнил и о себе Толян; переложил лом на другое плечо.

– Дай другую цену, – узбек глядел на Леху.

– Пятьсот, – сказал Леха.

– Дорогой, давай четыреста.

– И хлеба, – подумав, согласился Леха. – Белого. – Толян локтем толкнул его. – И черного, – добавил Леха.

Узбек нехотя, очень медленно отсчитал четыре сотни. Девушка принесла два батона белого и две буханки черного. Взяв деньги, хлеб, слесари вышли из кабинета.

– О! – Леха увидел булочки с изюмом.

– Мы на это не договаривались! – воспротивился узбек.

– Договаривались-договаривались, – Леха бесцеремонно набрал, сколько мог булочек. – Мы на своей земле, – приготавливал он, распихивая булочки по карманам.

Наконец, вышли на улицу. Слесари довольные и гордые, узбек обиженный и недовольный.

– Дорогой, – глянул он на Толяна, даже улыбнулся, – дорогой, вы обманули меня, скажи честно... Ведь уже взяли деньги, скажи честно, сколько это стоит?

– Семьсот, – отрезал Толян. Слесаря сели в машину.

– Толян, – Леха хитро глянул на него, – зачем тебе черный хлеб? Тебе белого мало?

Толян смутился: – Хомячка покормить, – даже потупившись, признался он. – Дочка купила, кормить его надо, – он искоса глянул на Леху, казалось, он еще больше смутился от своего признания. – Дочка купила, – видно, что оправдываясь, повторил он, – в зоомагазине.

– Они же вонючие, эти хомячки, – сморщившись, сказал Леха.

– Поговори мне еще, – осадил его Толян. – Сам как будто в белом ходишь, фраер нашелся. Вонючие, – передразнил он.

– Хм, хомячка покормить, – усмехнулся и Феликс. И почему-то всем стало даже приятно, что дочка у Толяна хомячка в зоомагазине купила. Сидели молча, в окно смотрели, думали о чем-то, о своем. Так молча и доехали до своего управления. Словно и не было этой безумной ночи.

Когда вышли из машины, зашли в раздевалку. Толян поровну разделил заработанные за смену деньги.

– Нет, спасибо, – отказался Сингапур.

– Что так? – удивился Толян.

– Я не буду больше с вами работать. Противно мне это, – ответил он. Переоделся, оставил форму и ушел.

– Хоть бы помылся, – в след ему негромко сказал Леха, – прав ты, Толян, морда он нерусская. Ну что, бухнем? – подмигнул, и даже по плечу Толяна хлопнул.

## 8

В десять вечера все было готово к встрече Христова Воскресенья. До крестного хода уговор был не пить, девушки внимательно за этим следили, попрятав все спиртное, даже пиво. Парни не спорили – раз положено так – не пить до первой звезды, решили строго следовать этому закону. Кое-кто, конечно, выпил пивка, но совсем чуть-чуть, что называется, только для запаха. Аргумент у выпивших был один – мы люди нерелигиозные, так что нам можно, и со знанием еще замечали, что давно стемнело, и первая звезда, значит, давно появилась. Впрочем, небо было пасмурным и так затянуто облаками, что ни о каких звездах и речи не было. К тому же час Воскресенья теперь встречали в полночь, как и Новый год, и это еще больше оправдывало выпивших только для запаха: Раз уже и время перенесли, то значит, и ... – и так далее. Вообще, так получалось, что все разговоры, так или иначе, сводились к божественному. Впервые было решено собраться и отпраздновать Христово Воскресенье. Опыт подобных празднований какой-то уже был – Рождество встречали. Понравилось. Ровно в полночь откупорили шампанское и с возгласами: С Рождеством! Ура! Хеппи бё-

вздей Христос! – чокались и пили, и закусывали – весело было. С Воскресеньем все казалось сложнее. Здесь встречать праздник следовало не за праздничным столом, а возле церкви, и главное, участвовать в крестном ходе. С одной стороны это смущало, не всех, но некоторым это казалось лишним и даже скучным. Почему бы, никак и Рождество – сразу не за столом? Зачем куда-то в полночь тащиться и... зачем все это? С другой же стороны – новые впечатления... и все такое. Было даже решено отстоять всю пасхальную службу. Некоторые даже и постились, правда, всего две девушки, Оля и Тамара, милые, обе толстушки и хохотушки, матерщинницы беспросветные, водку могли пить хлещи парней, но что парни знали наверно, обе даже не целованные, не говоря уже об остальном; вот разберись после в этих девчонках... Они первые попрятали все спиртное и принесли освещенные яйца и куличи, и следили, чтобы все вели себя подобающе празднику. Остальным все это было в новинку – в своем роде игра, и все с удовольствием в нее играли, представляя и обсуждая, как оно все будет и сам ход богослужения. Все-таки до четырех утра... но раз в год, для впечатления можно и до четырех утра постоять. Настрой был у всех серьезный и соответствующий празднику. Кроме Оли и Тамары были еще две девушки – Настя и... Настя, чтобы не путаться, одну звали стася. Обе терпеть не могли этих девок, но снисходительно терпели их, особенно Стася, она слишком снисходительно терпела, даже обращалась к ним на вы, что нема-

ло раздражало что Олю, что Тамару. Все они вместе были лишь потому, что все четверо были влюблены в одного парня, в Громова Вадима. Он, и правда, был высокий, спортсмен, но... кто его поймет, тактика у него, что ли такая... за все время, за все три курса – хоть бы с одной... Не понимали его, но и бог с ним, он всегда был себе на уме. И теперь он все стоял в сторонке и молча слушал, сложив руки на груди. А разговоры велись не на какие-нибудь, а на вечные темы. Впрочем, все это были обычные всезнающие разговоры, сводившиеся: что Бог, конечно, есть, но... И вот после этого но каждый был во что горазд, на что хватало ума, образованности и воображения. Были и такие – два брата Кролевские (которые и выпили только для запаха), которые услышав, что человек раб божий, очень возмутились этим определением, старшему кролевскому особенно не нравилось быть чьим-то рабом. Он был старше всех и успел отслужить на морфлоте, хотя вопреки всем стереотипам, роста был крайне невысокого, единственно, широкоплеч был и мускулист. – Вот разве тебе приятно быть рабом? – не отступал он от Данила и проронившим эту фразу. – Нет, ты только ответь – разве тебе приятно быть рабом? Ты мне только ответь и все! – Спорить со старшим Кролевским было тяжеловато, впрочем, парень он был добрый и рассудительный, и даже спокойный и вдумчивый, когда дело не касалось спора, одно то, что он был старше всех на три года и служил на военном корабле, уже это заставляло его быть первым в споре и не уступать. Мно-



го было подобных вопросов и восклицаний; каждый в такой день считал обязанным высказать свое особенное мнение на эту тему. Бога называли и «субстанцией» и «вселенной», и «нечто таким», словом, умозаключений было предостаточно. Даже Громов, все время бывший лишь слушателем, даже он раскрыл рот и произнес, что Бог – это то, что нам не понять. Девушки немедленно с ним согласились. Громов остался доволен и более в спор не вступал, как и девушки, сразу с ним притихшие и теперь снисходительно наблюдавшие за спорившими. Правда, хватило их молчания ненадолго.

Было как-то, когда одна однокурсница прошлым летом съездила в США, конечно, первым делом, только увидели ее, сразу расспросы, что да как? Подробно она стала рассказывать об американском быте. И чем больше она рассказывала, тем сильнее все, кто слушал ее, ощущали себя русскими. Поддакивали ей, соглашались с ней, даже спорили; рассказывали свои истории, свои впечатления об Америке. Хотя все те, кто с восторгом рассказывал и спорил, знали об этой стране лишь по фильмам, телевизионным передачам да по выступлениям известного юмориста, очень любящего объяснять, какие же американцы ну тупы-ые. И рассказывая воодушевленно, рассказывая азартно, каждый был патриотом и сожалел: «Вот я бы съездил бы в эту Америку, я бы показал бы всем этим ну тупы-ым американцам. Девушка уже молчала, ее уже как будто не замечали, лишь обращались с репликой вроде: ведь правильно я говорю?! Ведь так оно и

есть?! – Все яростно клеймили американцев, да так, словно вся жизнь их прошла среди этих ну тупы-ых американцев. И сейчас, сидя за праздничным столом, спорили о библии, хотя ни один из споривших не читал ее (может, и в руках не держал), и все, чувствуя себя патриотами, клеймили мусульман и католиков, и, конечно, евреев. Ну не может быть, чтобы в компании, где все считают себя русскими и христианами, даже если не совсем христианами, даже если и чуть-чуть атеистами и совсем немножечко язычниками, но если русскими, то – разговаривать на религиозную тему и не упомянуть евреев... Порой доходило до полной глупости, до восторга, но опровергнуть эту глупость было некому, и единственное, кто-нибудь не менее восторженно, приводил свою не менее полную глупость, и все оставались довольными и патриотами, нисколько не замечая, что, клеймя евреев или мусульман, доказывая свои «субстанции» и «нечто такое, которое есть», несли, порой, такую ересь, что если бы не знать, что спорят все русские и все христиане, даже если и не совсем христиане, даже если и чуть-чуть атеисты, но утверждающие, что они – за единую Россию, можно было подумать, что все это крайне агрессивные сектанты, исповедующие... черт знает что. но все равно все оставались русскими и патриотами и за православную веру, но... Только чтобы не рабы, и без всяких этих поповских штучек; а попы – они же такие – они же попы, они же к вере имеют отношение такое... посредственное. Вот если без них, тогда да, тогда я

православный, а с попами – нет, попы – это политика, попы – это конфессия, попы – это... ну и все в таком же духе. Говорили не только о попах, конфессиях и субстанциях, говорили о чудесах, знамениях и, конечно, страшилках: кто и как был наказан и за какие грехи (само собой, и понятие греха у каждого нашлось свое – не без этого). И больше всего эти грехи и кары интересовали девушек, очень их волновали все эти страшные наказания за эти страшные грехи. Вспомнили и Кристину. Одни говорили, что она была наказана, другие, само собой, спорили, что напротив – случилось чудо – что она осталась жива и в твердой памяти. И те и другие говорили серьезно и все с теми же сносками на субстанции и нечто такое, которое есть. Но больше, конечно, вспоминали сами поступки ее, взвешивая, за что бы она могла быть наказана? Получалось, что за все и в то же время ни за что. оттого и пришли все к общему – судьба. здесь и Сингапура вспомнили, правда, весьма необычно. Громов, когда сошлись, что судьба, вдруг снова раскрыл рот и произнес: Судьба, как Бог – нам неподвластна. Девушки, конечно, закивали, старший Кролевский же возмутился: Какая судьба! Ясно как день – одеваться надо было теплее, и никакой судьбы. Что, не так, Вадим? Разве я не прав?! Ты мне только ответь, прав я или нет?! Громов долго крепился, он был сдержанным парнем, кролевский же все настойчивее требовал от него подтверждение своей правоты. – Саша, – громов пристально смотрел на старшего Кролевского, – ты мне сейчас очень напо-

минаешь одного человека – Сингапура. – Кроровский как раскрыл рот для возражения, так и замер; покраснел, что-то хотел сказать, что-то пробурчал, краснота спала, уже побледневший, крайне обиженный, не найдя ничего в ответ, он вышел на кухню, младший Кроровский следом; и больше ни слова от обоих до самого выхода из дома никто не услышал. От такого сравнения Кроровский старший опешил. Сингапура он на дух не переносил, считал того за болтуна и зануду; и сравнить его, Кроровского, с... Сингапуром! Всех же это позабавило. И братьев до кучи обсудили, пока они курили и обижались на кухне. И Гену вспомнили и его намерение жениться. Словом, не было и минуты, в которую кого-нибудь да не обсудили.

В четверть двенадцатого компания вышла из дома. Вышли, и сразу возник вопрос: идти на Соборную площадь к главному собору или к ближайшей церкви, что была всего в трех автобусных остановках, и пешком до нее – не более чем с четверть часа. Те, кто называл себя нерелигиозными, и те, кто (конечно, только для запаха) выпил пивка, были за поход на Соборную площадь. Все-таки центральный собор, и зрелище должно быть впечатляющим. Остальные же, девушки и Данил, говорили, что в свою церковь оно лучше. Впрочем, холодно было, и... не очень-то и хотелось идти в центр – Бог знает куда, возвращаться оттуда, еще неизвестно, как будет ходить транспорт, тем более что уговор был от-

стоять всю службу, а это значит, возвращаться рано утром, а утром совсем будет холодно, и пешком – из центра... а так-си... Словом, в свою церковь оно лучше. Спорили недолго – до остановки, до нее дошли – все замерзли, и ни о каком зрелище и речи уже не было, быстрее бы хоть... куда-нибудь, лишь бы согреться. Ко всему ветер, то его нет, а то, как подует, как вдарит, как проймет – бр-р-р. Кутаясь и согревая себя шутками, смеясь над каждым словом, чуть ли не бегом шли к своей церкви.

Трудно после недельной почти июльской жары вновь надевать ненавистные плащи и пальто. Все были в свитерах и джинсовках – словно никто и не верил, словно гнали холод, одеваясь по-летнему легко. Холод не гнался; зато эти три остановки – как одну.

– Долго еще? – спрашивали Кролевские; что старший, что младший, оба были совсем в футболках, и если старший еще крепился и бодрился, вспоминая, что на Тихом еще и не такой ветер, там вообще такое... то младший не выдержал:

– Я вообще не видел, чтобы в нашем районе когда-нибудь была церковь!

– Да вот же она, уже пришли, – кивнула ему Тамара. Девушки, наскоро повязав платки, оправив, кто платья, кто брюки, еще скорее перекрестившись, кивнув, вошли в ворота. Один лишь Данил совершил весь этот обряд неторопливо, трижды, и даже что-то проговаривая про себя.

– Что это такое... Это что, церковь? – не веря, Кролевские

вглядывались в огороженную железным забором стройку. Когда-то здесь был пустырь, теперь, когда город стал расширяться, пустырь по-быстренькому стали застраивать; быстренько огородили его железным забором, быстренько построили торговый центр, развлекательный клуб с боулингом, возвели жилой массив... Оба брата и еще один парень, его звали Макс, стояли и в недоумении глядели на что-то недостроенное, из обычного силикатного кирпича. Ничем это что-то не говорило, что это именно церковь. Четыре стены с рядом полукруглых оконных проемов, вагончики, стройматериалы, гора кирпича, собаки только не хватало...

– Я думал, это магазин строят или там еще чего-то, – произнес младший Кролевский, худенький, не в сравнении со старшим братом, он все стоял, растирая замерзшие плечи, и глядел, когда все уже входили в ворота. – Это что, церковь, – все еще не веря, повторил он.

– Да, церковь, – негромко ответил ему Данил и дернул за рукав; Кролевский младший и, правда, стоял, вылупившись, как... словом, несимпатично это выглядело. – Пошли, – потянул его Данил. – перекрестись, – напомнил. Кролевский перекрестился как мог и левой рукой, он был левшой. Данил смолчал. Он вообще был сегодня как-то смущен, и, пожалуй, не в меру взволнован, и даже раздражителен, как-то ревниво раздражителен. За Кролевским он еще раз перекрестился, как за него, и казалось, боясь взглянуть на остальных, точно стесняясь такой компании, встал в сторону один.

На большом, огороженном все тем же железным забором пространстве, возле церкви стояли человек пятьдесят, стараясь стоять, где был рассыпан щебень или лежали доски. После дождей земля стала мягкой и склизкой.

– А где вход-то? – младший Кролевский подошел к Даниле и прошептал ему в самое ухо; все здесь говорили крайне тихо и больше шепотом.

– Вот вход, – кивком указал Данил на ведущие в подвал бетонные ступени. – Отсюда будут выходить, а входить в большие ворота, они там, с той стороны, за углом, их здесь не видно, – добавил он и в который раз перекрестился.

– А почему так? – спросил младший Кролевский, невольно перекрестившись, глядя на Данила, уже не так скоро и все левой.

– Правой крестись, – не сдержавшись, шепнул ему Данил.

– Я левша, – шепнул Кролевский.

– Ты в церкви, – шепнул Данил.

– Ладно, – больше не возражая, кивнул Кролевский.

Здесь уже никто не возражал, даже старший, который, тоже подошел к ним, даже он был теперь тих и, если можно так сказать, покорен; и он, в след за данилом, крестился, вглядываясь туда, где был вход в подвал, и все пытаясь там разглядеть что-то. Было довольно темно. Лишь единственный строительный фонарь на столбе освещал пространство. Свет был рассеян и тускл, оттого все казалось загадочным и... каким-то величественным, даже кирпич, неряшливо свален-

ный в грязь у забора. Над входом в подвал висела икона, входившие в ворота верующие, проходя мимо, останавливались, крестились и вставали в общую тихую толпу. Все ждали Крестного хода.

– Почему в другие ворота входить? – напомнил младший Кролевский.

– Не тупи, так надо, – шепотом осадил его брат.

– Церковь только строится, – ответил Данил, – служба пока в подвале проходит. Потом, когда построят ее...

– А когда построят?

– Когда деньги будут, – вновь осадил старший младшего.

– Когда деньги будут, – эхом повторил за ним Данил.

Потихонечку все, вся компания, сгрудились возле Данила, словно чувствуя в нем защиту. Невольно все стали видеть в нем другого, неизвестного ранее человека, никто и не подозревал, что он мог так вдумчиво креститься; само крестное знамение казалось парням чем-то... неестественным, чем-то... бабьим. Не принято это было, оттого и рука не поднималась для креста, а если и поднималась, то само собой делала все наскоро и так, словно, чтобы никто не подумал... Непривычно это было. Оттого Данил и казался, чуть ли не священнослужителем. Оля и Тамара и вовсе поглядывали на него как-то... как раньше не глядели, словно, заметили, что есть вот такой человек – Данил Долгов. Сам Данил, вглядывался в толпу, казалось, он искал там кого-то. Много было молодежи, если и были старики, то незаметно их было за молоды-



ми оживленными людьми, стоявшими тихо, и всякое время, только поднимался ветер, оглядывавшимися на вход. Никто не хотел показать, что ему холодно, даже маленькие дети, которых было на удивление много в столь поздний час, стояли и держали мам или пап за руки и не роптали, что им холодно, словно и они ощущали... словно, и они ожидали чего-то. В двух шагах от Димы, стояли две маленькие девочки лет пяти, взгляды серьезные, одеты в теплые курточки, белые платочки на головки повязаны, в ручонках – незажженные свечи.

– А правда воскреснет? – шепотом спросила одна.

– Правда, – кивнула ей подружка, и лицо ее совсем стало серьезным.

– Скорее бы, – со вздохом шепнула первая.

Кто-то легонько ткнул Диму в бок, он оглянулся, Тамара протянула ему свечу, она всем раздавала теперь купленные заранее свечи; время близилось к полуночи, и только начнется ход, все должны будут свечи зажечь.

– а бенгальских огней нет? – пошутил Макс, он и всегда не отличался уместными шутками. Рыжий, роста среднего, сколько его знали, он слушал только рэп и всячески старался походить на негра из Гарлема, одевался всегда пестро и нелепо, как цыганские женщины, и чего только не висело на его шее – от пентаграммы до католического креста. Он и сейчас был в синем спортивном костюме и какой-то идиотской красной шапочке, как у петрушки, поверх которой накинут еще и капюшон; на распахнутой груди, на черной водолазке

с портретом Тупака Шакура блестел крупный католический крест (пентаграмму и знак зодиака на массивной серебряной цепи он все же спрятал под водолазку). С первого курса он взял на себя обязанность всех веселить, получалось у него всегда кисло и не к месту, но к нему привыкли. Никто уже не обращал внимания на его походку, первое время всех веселившую. Он очень хотел быть похожим на афроамериканца и ходил, будто читал рэп, да и говорил примерно также – каким-то нелепым речитативом. Он очень хотел быть всем другом и всех облагодетельствовать. Когда на первом курсе отмечали Новый Год, Макс взял и в разгар веселья стащил всю водку, приготовленную для праздника и покойно стоявшую в спортивной сумке в углу, парни чуть с ума не сошли, вновь искали деньги, кляли эту неизвестную сволочь, бегали в магазин; а Макс подходил к каждому, кого считал избранным, и с видом благодетеля шептал: Слушай, у меня водка есть, давай выпьем. – Ох, и злы парни на него были. И теперь все глянули на него разом так, что улыбка его смазалась, он стушевался и, пробубнив: Да это я так, да ладно, – взял свечу и стоял теперь тихо и незаметно до самого хода.

Дима обратил внимание, что лицо Данила вдруг странно оживилось, точно он увидел кого-то, кого хотел увидеть и ждал. Он пристально теперь вглядывался в толпу, Дима последовал его взгляду. В стороне, сутулясь, словно прячась, стоял Сингапур. Он давно заметил компанию и, видно, не хотел, чтобы и его заметили, оттого и сутулился и старался

зайти за спины стоявших подле него верующих. Впрочем, если кто и глянул бы в его сторону, то вряд ли бы и узнал. Короткая стрижка изменила его лицо, оно, казалось, стало круглее и моложе, с длинными всклокоченными волосами что-то дикое было в его внешности, теперь же... мальчишка – мальчишкой. Невольно Дима чуть не вскинул руку, чтобы позвать его; вовремя удержался. Сингапур заметил; шаг и его уже не было видно. Дима хотел уже отозвать Данила и расспросить его... как двери подвала отворились. С пением и, держа в руках хоругви и иконы, в праздничных белых рясах вышли священнослужители. Все, кто был, стали торопливо зажигать свечи.

Начался Крестный Ход.

Может, оттого, что холодно, или еще по какой причине, но это, скорее, был крестный бег, (позже выяснилось, что священники просто задержались, и теперь наверстывали время, чтобы поспеть к полуночи), шагали мелко, но быстро. И толпа, выстроившись в след с горящими свечами, только успевала, теперь не замечая мягкой сырой земли, хлюпая и шлепая по лужам, торопилась, взглядами лоя возвышавшиеся над головами хоругви, и тут же следя за обернутыми снизу бумагой свечами. Полкруга не прошли, как почти все свечи потухли; поднялся ветер, люди закрывали свечи ладонями, чуть ли не обнимали их, но от скорого шага и ветра свечи гасли, их на ходу зажигали вновь, и вновь они гасли. Только у тех маленьких девочек в беленьких платочках свечи поче-

му-то не гасли, может, оттого, что шли они в толпе, и толпа же закрывала их от ветра. Как девочки не споткнулись – удивительно, обе как прикованные смотрели только на огоньки своих свечек, будто пытаясь разглядеть в них что-то, по крайней мере, так могло показаться, такие у них были увлеченные лица. Дима шел прямо за ними и, забыв про свою свечу, все глядел на два маленьких огонька, прикрываемые маленькими ладошками, и все думал, как бы эти две девочки не споткнулись, почему-то он думал только об этом, уж слишком быстро шел ход.

Наконец, священники сделали круг и остановились у тех самых ворот, похожих на ворота гаража. Ворота были затворены. Толпа вереницей подошла и теперь стояла плотным полукругом.

– Христос воскресе! – звонкий, казалось, юношеский голос вознесся над толпой. Молодой священник, худой с жиденькой длинной бородкой восторженно воскликнул и взмахнул кадилом.

– Воистину воскресе! – хором ответила толпа. Священник был в восторге, кадило в его руках взмывало так высоко, что еще немного – и как праща взлетит.

Христос воскресе! – кричал восторженный священник, кадило восторженно взмывало. Второй священник не менее восторженно кропил всех святой водой. Холодно было, холодные брызги кололи лица и шеи, но не замечал никто этого, общий восторг охватил всех:

– Воистину воскрес! – откликнулась толпа, и казалось, громче всех откликнулись эти две маленькие девочки в беленьких платочках. Видно, долго-долго готовились они к этому. И первая девочка, крича, все глядела в небо, наверное, все выглядывая в нем воскресшего Христа, и кричала голосисто-голосисто, весело-весело: Воистину воскрес! – бережно сжимая горящую свечу. Теперь десятки свечей, маленькими огоньками заполнив восхищенным светом весь полукруг, освещали оживленные, точно проснувшиеся лица. Люди улыбались, и не иначе, как радостно, других улыбок не было, а если и не улыбалось какое лицо, то все одно, искреннее оживление освещалось отсветом этих десятков теперь горящих свечей. И если кто шел на ход лишь за компанию, лишь с мыслью долга перед женой или тещей, теперь в этом общем свете – в этом одном людском чувстве – радовался, сам, может, не понимая, чему. Ведь не воскресению, в самом деле, они радовались, ведь знали они, что никто не воскрес, что это всего лишь обряд, традиция, церковная традиция, а они – лица эти, светские, и пришли лишь, чтобы родственнику своему угодить, а... все равно, искренне радовались, и не в родственнике уже было дело, да и не в Христе и его воскресении: они же, лица эти разумные, они же понимают всё... А всё же радуются! Праздник же! И невольно рука сама собой собирает пальцы в щепотку и подносится ко лбу и... к животу, и к правому плечу, и к левому – все само собой, все невольно, все в какой-то всепронизыва-

ющей радости. И в голове-то и нет никакого Христа, никакой такой веры. В голове, может, все это время... да Бог знает, что в этой голове порой бывает; а внутри, во всем теле, что-то будоражит, что-то радуется, и это что-то собирает пальцы в щепотку, и ко лбу, и к животу, к правому плечу, к левому, и изнутри само собой (в голове Бог знает, что и поймешь), а изнутри рвется, радостно вырывается:

– Воистину воскрес!

Трижды возвестив, священнослужители отворили ворота. Ворота отворялись неторопливо, без скрипа. И узкая полоса света все шире оттесняла сырую тьму, открывалась, освещая лица людей. Ворота распахнулись. Теплый, согретый стенами и свечами воздух дошел до каждого, невольно все, вся толпа, следом за священником, влекомая этим теплым светом, неторопливо стала заходить в ворота.

– Проходите, места всем хватит, проходите. Христос воскрес, – приглашал стоящий у входа хроменький сторож, ласково сутулясь, вглядывался он в лица людей, стараясь каждого пригласить. – Проходите, проходите. Христос воскрес, – все приглашал он. Уже и братья Кролевские, и Макс, скинув с рыжей головы капюшон и сняв шапку, с невероятно серьезным лицом, с невиданным в нем ранее достоинством, ровно вышел в ворота. Дима все оглядывался, ища Данила и Сингапура. Во время хода Данил незаметно отстал, и теперь вдвоем стояли они в самом хвосте все исчезающей в воротах людской толпы.

Теперь возле распахнутых ворот стояли человек восемь, словно решаясь, провожали они входивших и, всё заглядывая в храм.

– Проходите, – приглашал их сторож, – скоро начнется. Места всем хватит, проходите.

Некоторые с улыбкой, но уже с другой, какой-то извиняющейся улыбкой, молча разворачивались и уходили, и каждого сторож провожал жалеющим, непонимающим взглядом.

Возле ворот оставались теперь трое: Данил, Дима и Сингапур.

– Проходите, – просил их сторож.

– Пойдем, – Данил неловко глянул на Сингапура.

– Проходите, вас только ждем, – повторил сторож. В глубине церкви уже начиналось богослужение. Храм был полон, но люди стояли свободно, и все в том же, уже тихом, восторженном ожидании.

– Нет, – негромко произнес Сингапур. Он стоял, все также сутулясь, плотно засунув руки в карманы кожаного плаща.

– Как знаешь, – не глядя на него, ответил Данил, и, более не мешкая, вошел в храм. Вошел и Дима.

– Ну, что же вы, – услышал он за спиной голос сторожа.

– Нет, – голос Сингапура.

И ворота закрылись. Закрылись неторопливо, словно надеясь, что передумает и войдет он. Дима оглянулся. Невольно поежился, нет, не от холода. Слишком символично это... слишком: темная одинокая исчезающая во мраке фигура

Сингапура, все стоявшего и глядевшего как закрываются ворота храма.

## 9

Тихо было. Так тихо, что Галя нарочно прислушивалась, точно пытаясь расслышать, что скажет ее сердце; сердце отвечало: тук-тук, тук-тук, пора-пора, пора-пора.

– Пора, – повторила Галя, все еще не решаясь. Она стояла на лестничной площадке возле окна; даже тени не различить, плотная безлунная ночь. За окном дышала тьма: вдох – и деревья клонили ветви, выдох – ветви рассыпались, пугая Галю своим тревожным шелестом. Тьма дышала порывисто, всхлипывая и, точно задыхаясь – Галя слышала это, слышала, что тьма задыхалась. – Пора? – уже спрашивала Галя, вглядываясь и вслушиваясь во тьму.

– Пр-ра-а, – отвечала тьма, резким, порывистым ветром. И, хотя окно было закрыто, и здесь, в безветренной тишине подъезда, Галя чувствовала это сырое дыхание, и сильнее куталась она в больничный халат, поджимая замерзшие пальцы ног, спрятанные лишь ветхой тканью старых больничных тапок. И сапоги и курточка, все осталось в больнице.

С первого дня, с первой минуты, как она оказалась в больнице, все чего она хотела – вернуться обратно, к Федору-Сингапуру. Она просила врачей, просила сквозь слезы, сквозь силу; болезнь так ослабила ее, что и слова, произносимые ею не разобрать; всхлипывающее, вздрагивающее шептание, выходявшее из-под непослушных высохших губ. Ка-



залось, и, забывшись во сне, она все просила, просила, просила. Врач, как ни злился, не добился даже имени этой беспокойной и, без сомнения, помешанной девушки. Ей сделали укол, поставили капельницу и оставили в покое... Но на другой день, и на следующий день, все было тоже – невнятное бормотание и только. Были бы силы, несомненно, Галя поднялась и ушла. Но как раз сил и не было. Поднимаясь на постели, она тут же валилась обратно. Только на третий день она смогла подняться с кровати. Неприятное, даже болезненное ощущение между ног. Галя в страхе коснулась пальцами... что-то... какая-то пластиковая трубка тянулась из нее... На полу стояла обычная пластиковая бутылка заполненная мочой. Тут же, в страхе, Галя села на кровать.

– Это катетер, – успокоила ее женщина с соседней кровати. – Не бойся. Это чтобы ты под себя не ходила, – пояснила она все тем же успокаивающим тоном.

– А-а, – понимая, произнесла Галя, впрочем, ничего не понимая: где она, что с ней. Она словно очнулась от забытья. – Больница? – спросила она.

– Больница, – кивнула женщина. Она была милая, эта женщина, очень полная, уже не молодая, общительная, но не навязчивая.

Только Галя очнулась, женщина нажала кнопку вызова. Скоро в палату вошла медсестра.

– Очнулась? – глянула она на Галю. – И хорошо.

– Вот это... – указала пальчиком на катетер.

– Катетер, – ответила медсестра.

– А его...

– Убрать? Ладно, – согласилась медсестра

...Прошло еще два дня.

– Девушка! – в раздражении глядел на Галю врач, мужчина молодой, розовощекий. – Имя ваше как? Я должен записать ваше имя, ваш адрес. В конце концов, долго вы будете молчать?!

Галя как всегда только отвернулась к стене.

– Ну ладно, – вновь ни с чем ушел врач. И милая женщина оставила Галю в покое. Как можно разговаривать с той, которая всякий раз отворачивается к стене?

Все что Галя делала – завтракала, обедала, ужинала, без аппетита – как принимала лекарства, и выходила в уборную; все остальное время лежала или сидела на своей постели, все молча. Впрочем, от лечения не отказывалась, принимая это как должное, как неизбежное, как какую-то епитимию.

– Ну что, в понедельник, будем вас выписывать, странная незнакомка, – сострил врач на утреннем субботнем обходе. – Может, все-таки откроете нам ваше имя?

Галя не ответила.

– И бог с тобой, – уже смирившись, произнес врач и вышел из палаты.

– Сегодня будет праздник великий, – только они остались одни, сказала ей женщина. – Сегодня в полночь будет воскресенье Христово. А завтра Пасха, – с тихим предвкушени-

ем промолвила она. – А я тут, – вздохнула. – Ты еще молодая, – произнесла странно. – А я уже устала. – Помолчала. – От чего меня лечат? – вздохнула. – Умру, наверное, скоро. Уж если умереть, то сейчас – на Пасху. Говорят, кто на Пасху умирает, тот в рай попадает. Так уж лучше сейчас... – вновь тяжелый вздох. – Ничего, тебя скоро выпишут, домой придешь, – словно спохватилась она. – Ты еще молодая, это я дура старая, говорю, что ни попадя. Дома-то есть кто? – взглянула она на Гаю. Галя не ответила, лишь лицо ее изменилось, словно что-то вдруг вспомнила она, что-то важное и безотлагательное. Она даже покраснела от волнения.

– Радуетесь выписке? – поняла женщина. – А кто ж не радовался... Я бы тоже радовалась, – и снова тяжелый вздох. Но Галя отвернулась к стене и, казалось, вновь успокоилась, вновь стала равнодушной; вновь лежала на кровати, пальчиком рисуя крест на стене: вверх – в сторону, вверх – в сторону... медленно, словно в забытьи, все лежала на кровати и водила пальчиком по стене...

После ужина, не заходя в палату, спустилась к приемному отделению и вышла из больницы.

Так и вышла – в халате и тапочках. Вышла просто, и незамеченная. Охранник о чем-то болтал в приемной с медсестрами. Почему Галя не забрала куртку и сапоги... Как это объяснить? Почему? Единственно... она просто не подумала об этом, просто забыла. Иначе этого не объяснить. Куда она направилась, было ясно, как день... Сингапур стал ее це-

лю. Ее смыслом. Спасти его. Что она вкладывала в это слово? Пожалуй, ей и самой было не объяснить. Ей и не к чему были все объяснения; она сказала так, она решила так. Она придумала так. Здесь нечего было объяснять и тем более понимать. Подобно рыбе, упорно, невзирая на преграды, шла она против течения... шла, чтобы забрать его, спасти. – Спасти, – шептала она, шлепая тапками по холодной сырой земле. – Спасти, – все повторяла она, как заклинающая, уже не вникая в само слово, просто повторяя – шаг в шаг: спасти, спасти, спасти. Мысли ее были где-то там на дороге, где они шли уже вместе, шли куда-то... Куда-то далеко, где... Где жизнь... совсем другая... Совсем... Другая... Так она вошла в его двор, в его подъезд, поднялась к его двери.

– Сегодня праздник, – шептала она вспомнив. – Сейчас время пришло, сейчас... – Она вдавила кнопку звонка. Дверь открыли сразу.

На пороге стоял мужик лет тридцати.

– А... – только и вымолвила Галя, заглядывая за мужика и ожидая увидеть его.

– Тебе чего? – оглядев ее халат и тапочки, неласково спросил мужик.

– А Фе-едор, – чуть слышно произнесла Галя.

– Какой еще Федор, ты кто такая? – он все пристальнее глядел на нее.

– С-син... пур, – заикаясь от страха, да и от холода, произнесла она.

– Чего? – как на идиотку смотрел на нее мужик. – Вали отсюда! – он захлопнул дверь.

С минуту стояла она возле двери.

– Кто там? – женский голос за дверью.

–Какая-то идиотка, какого-то Синпура, – раздраженный голос мужика.

Галя постояла еще, но дверь больше не открыли.

Может, она ошиблась? Может, не тот этаж... Не тот подъезд... Может не тот дом? Она стала оглядываться... нет, это был тот подъезд. На стене возле окна было крупно, во всю стену, написано маркером матерное слово; она сразу, еще тогда обратила на него внимание. Это был тот подъезд. Тогда... тогда... – она не понимала, что тогда. Тогда что? А может, это был он? Этот мужик был Федор? Нет... конечно нет...

Она спустилась на площадку ниже, встала возле окна. Тогда... почему... что? Вихрь нелепых образов, как листья пронесся в ее голове: красные, желтые... Рай... голый оборванный сад, райский сад... Черные обглоданные ветром деревья с пустыми колючими ветвями... И листья – кружатся, кружатся, красные, желтые... и это матерное слово, написанное черным маркером вставало перед Галей как стена, о которую бились и лопались как пузыри эти красно-желтые листья.

Это был он. Это был Федор, – прогоняя эти, уже навязчивые, закрутившие ее листья, уверилась Галя. – Я просто не узнала его, – Пошли прочь, – шептала она прогоняя листья, –

пошли прочь... Это был он. Это был Федор. – Она вернулась к двери, все отмахиваясь от надоедливых и уже хихикающих листьев, вдавила кнопку.

Дверь открыли.

– Тебе чего надо?! – рявкнул мужик.

– Федор, это я, – произнесла она, улыбнувшись, – я-я, я-я, – хихикали листья.

– Какой я тебе Федор? (Федор-Федор, Федор-Федор, – глумились листья.) Ты чего руками махаешь?! – воскликнул мужик. Галя, не сдержавшись, отмахнулась от листьев.

– Листья, это листья, Федор. Рая нет, – быстро говорила она, – Нет, нет...

– Дура! – дверь захлопнулась.

– Федор! – вскричала она. – Это я! Федор!! Это я!!! – кричала она в тишине подъезда. – Я! Я-я-а!!! Пошли прочь! – кричала листьям.

Дверь распахнулась. Мужик схватил, размахивающую руками Галю за шкурку, спустил ее с лестницы, возле окна прижал к стене.

– Слушай ты, дура! – внушал он, притихшей, лишь трясущейся в страхе Гале. – Я сейчас ментов вызову, наркоманка хренова, обдолбятся... Ты поняла меня, а?!

– Федор, – зашептала она, – почему ты такой, почему ты...

– Я – не Федор, – процедил мужик. – И здесь Федора нет.

Ты поняла?!

– А кто ты?

– Конь в пальто, а до кучи, живу в этой квартире; поняла? Ну что, вызывать ментов? – он взгляделся ей в лицо. – Молодец, – не дождавшись ответа, произнес он, отпустил Галю и вернулся в квартиру. Хлопнула дверь. Хлопнула, и листья осыпались, все, и исчезли, как и не было.

Тихо было. Так тихо, что Галя нарочно прислушивалась, точно сквозь стук и дыханье пытаясь расслышать слова – что скажет сердце...

– Пора, – прошептала она, все время боясь, что листья вернуться. – Рая больше нет, – в страхе осознала она. – И что теперь?

Не было ответа. Тихо было. Не было и листьев. Был, все разрастающийся страх, страх... только от одного желания, внезапного, порывистого. Ноги враз ослабели; отшатнувшись, Галя припала к стене. Дышать хотелось, жить хотелось, но не было воздуха, это страшное желание высушило легкие, стянуло, скомкало в плотный сухой комок.

– Кха – кха – кха. – Кхе, – сухо вырывалось из этих, уже полиэтиленовых, легких. – Кха. – выдохнула Галя, вскинувшись и – ДЗБЗИНЬ!! – ладонью ударив в стекло. И, уже в захлестнувшем отчаянии, била, сбивая красно-черной ладонью рваный оскал выбитого стекла. Кровь, крик, и плотное затаившееся безмолвие железных дверей, тревожными глазками, наблюдавшими эту сумасшедшую девушку, уже не ладонями, а кистями, разрывая вены, лупившую острые зубья разбитого стекла.

Уже в храме Дима не выдержал.

– Данил, – зашептал он, – чего там у вас за тайны такие... Если честно, жутковато... Символизм сплошной. Это его желание не входить, – он замолчал, и оттого, что говорить дальше не знал что, да и богослужение началось...

Но ничего этого он не видел, и не мог видеть, перед ним все стоял Сингапур, сутулившийся, исчезающий в сырой тьме города. Дима сам не понимал, что с ним случилось... Молча, он развернулся и протиснулся к закрытым воротам.

– Мне очень надо, очень, – в волнении глядел он на сторожа. Неохотно тот приоткрыл ворота и выпустил его. Не медля, он бросился искать Сингапура. Дима почему-то был уверен, что что-то должно случиться. Что было это что-то, он не знал, но это что-то было недоброе что-то, нехорошее что-то. Это он чувствовал и не мог этого допустить. В каком-то порыве выскочил он за ограду церкви. Улица была пуста, лишь редкие машины с ревом проезжали мимо, да по другой стороне шли несколько молодых людей, видно, навеселе. Немедленно Дима представил себе Сингапура, влезшего в какую-нибудь неприятность, и... И всё. И дальше только смерть. Откуда взялся этот страх и эта уверенность? – он не знал, но эта уверенность владела им и вела навстречу этим навеселе парням. Дима прошел мимо них... Нет, это были обычные парни, двое даже в очках и один длинноволосый,



эти не станут ни к кому приставать и нарываться, эти сами обойдут любого, этим людям неприятности не в радость. Они прошли мимо, о чем-то живо разговаривая.

Миновав тротуар, Дима вошел в сквер, тянувшийся вдоль дороги. Темно было и безлюдно. И, по правде, страшновато. Остановившись, он оглянулся. Не было людей. Пуст был сквер.

– И чего я сорвался? Ведь служба... и... и, в конце концов, после службы все должны вернуться ко мне, где накрытый стол и... И... – в растерянности бормотал он, стоя в темноте этого заросшего сквера и... Надо было возвращаться.

– Это какое-то помешательство, – все бормотал он, уже скоро шагая к дороге. – Глупость какая-т... – он чуть не споткнулся о... человека. Отскочив в страхе, оглянулся. На земле, прислонившись к дереву, сидел человек. Сидел молча.

– Испугался?

– Ф-фу-у! – выдохнул Дима, даже сложился и руками живот обхватил. Это был голос Сингапура. – Ну, ты, ну и... – он не мог говорить, сердце все колотилось, в горле столбняк. – ты чего на земле-то? – сглотнув, наконец, спросил он, осторожно приблизившись к нему.

– Я на ящике, – ответил Сингапур. Он и, правда, сидел на низком деревянном ящике, которого Дима в темноте не заметил.

Дима опустил рядом на корточки, сердце все колотилось, но все тише; наконец, он совсем успокоился. – Ты как

здесь? – спросил он, все пытаясь в темноте взглянуть в его лицо.

– Сижу, вот, и думаю о смерти, – произнес Сингапур спокойно. – Думал убить себя или в драку влезть... впрочем, все едино. – Он какое-то время молчал. – Грязно все это – вся эта смерть. Как представил себе всех этих соседок, соседей, убитых горем родственников... противно стало. Все соберутся, будут делать скорбливые физиономии – конечно, при матери, так ведь положено в таких случаях, – только попался на глаза близкому родственнику усопшего – сразу делай скорбливую физиономию, выражай свое сожаление и свою печаль по усопшему – порядок такой. Хоть ты этого усопшего и сто лет не видел и столько же не видел бы, а хочешь – не хочешь скорби. отскорбился – и свободен, можешь к подъезду спуститься посидеть на лавочке, обсудить с такими же скорбливцами, что да как. Убили его или сам? – Да кто его знает, – ответят. – Говорят, что сам, а может, и убили, – добавят равнодушно; вспомнят: – А ты сам-то как? Сто лет тебя не видел, я слышал, ты повышение получил, машину, слышал, купил, давай, рассказывай, не стесняйся, а то вон, растолстел, забурел, зазнался. – Да ладно, – смущенно ответит забуревающий, – так, живу потихонечку, – и будет рассказывать не без удовольствия, как он потихонечку живет. И забудут, зачем пришли. Ведь никому, всем этим вынужденным скорбливцам, всем эти дальним родственникам и близким знакомым, никому не нужны все эти похороны, прощания,

поминки. Все будут избегать этой последней минуты, избегать, но любопытно заглядывать в гроб: как он, изменился, мертвый-то? Или нет, не изменился... И какие-нибудь старые бабки, которые покойника в глаза не видели, как заголосят не к месту: Ой, чего же это делается, какие люди гибнут, какие люди умирают, ой, что же это! – и обязательно заголосят, когда мама будет стоять рядом. Хотя через час рассядутся по своим лавочкам, и помнить не будут – чего голосили? По ком голосили? И главное, сплетни, пересуды – вот что мерзко, – сквозь зубы процедил он. – И обязательно в день похорон у каждого найдутся свои неотложные дела, и всякий про себя будет раздражаться, вот, дескать... не мог дня другого найти, обязательно в этот день, когда у меня... – и так далее. Но это все ничего. Хуже, когда в ком-нибудь, у какого-нибудь дяди Вали, который бог знает какой родственник на какой воде... Хуже всего, когда в этом невесть откуда взявшемся деде Вале возникнет внезапное, и главное, искреннее желание утешить, желание, конечно, двойное, с одной стороны, самому скорбеть ему не по чем, но раз приехал он, раз он здесь, то обязан же он... И вот он подойдет к маме и с невообразимо скорбливой рожей произнесет: Это ничего, это время сейчас такое. Я вот тоже в прошлом году дядю своего похоронил, двоюродного по отчиму, ничего вот, пережил ведь, вынес ведь, время, оно все же лечит, вы крепитесь, – и еще руку на плечо положит, в знак соболезнования, и отойдет с чувством выполненного долга – утешил, блядь! – уже в

какой-то ненависти прошептал он. – Мало того, он еще, этот невесть откуда взявшийся дядя Валя, нажрется на поминках и вдруг решит, что не до конца он высказался, неосновательно утешил, не все он про своего дядю троюродного рассказал, а рассказать надо, надо же убедить женщину, что время лечит, что не стоит так убиваться, что, может, оно все и к лучшему. Вот дядя его помер, и ничего, все же живы, не сошелся же на этом дяде белый свет. Вот, сидят вот люди, пьют, поминают, жизнь-то, она же продолжается, она же это... как его... ну, это... Короче, чего грустить-то! – опомнится, стушует, еще стопку выпьет, соберет волю в кулак и еще заход сделает, контрольный – про дядю, уже со слезой, уже от души – что дядя его был самых честных правил, и какие люди гибнут... Как там вашего зовут? – Федя? Какой был талантливый Федя, какой был Федя... Мерзость, – процедил он в тихой, все наполняющейся злобе. – И как потом все выдохнут с облегчением... – он смолк. Долго молчал. – Не хочу я так умирать, не хочу быть участником этой обязательки... Тошно, – совсем тихо вырвалось у него. – Хочу умереть, но не так... Хочу незаметно... просто исчезнуть. Словно и не было. Без этих скорбливых физиономий, без этих утешителей, без этих любопытствующих в страхе заглядываний в гроб... Без этих сплетен... Возможно ли это – умереть незаметно, исчезнуть? Раствориться. Как и не было. Нет этих дядей Валея. Ничего нет. Небытие. – Он вздохнул. – Если бы эта жизнь была как повесть: дошел главный герой до послед-

ней главы, его автор взял – и бритвой по горлу – и конец повести; или оставил открытый конец – дескать, пусть читатель дальше сам голову ломает, как быть герою, что ему делать... А ведь это не повесть, и герою ох, как не хочется, чтоб его – бритвой по горлу для завершения полноты образа... Герою жить хочется. И открытый конец этот – читатель захлопнул книгу, дух перевел, и пошел своими делами заниматься. А герою-то что делать? Для него-то конец не закрыт. Не может он захлопнуть свои проблемы и пойти делами какими-то заниматься. Хорошо быть героем повести – хлоп, и нет тебя... и не нужно скорбливых рож и... вообще ничего не нужно. Исчезнуть – вдруг странно повторил он. – Есть сигарета?

Дима протянул ему сигарету. Вместе они закурили.

– Данил, вот, тоже, – он глубоко затянулся, – Приходи, говорит. Церковь – легче станет. Праздник... Не мой это праздник... И вас еще увидел, совсем... – он не договорил. Замолчал. И Дима молчал. – Не хочу жить... – чуть слышно вымолвил Сингапур, – Вот так – не хочу жить. Хочу иначе. Хочу как... Как раньше... – он вновь замолчал, теперь на целую минуту. Покурив, он щелчком отбросил окурочок. – Как ты думаешь, будет оно – как раньше?

– Слушай, пошли ко мне, – вдруг сказал Дима, – у меня водка есть. Все равно пока служба.

– А как же?... – он не договорил, что-то доверчивое показалось в его взгляде.

– А что тут такого, у всех есть телефоны, служба закон-

чится, позвонят, ничего... все нормально, – Дима поднялся.

– Но потом они же придут. Обязательно придут.

– И что? – уже уверенно Дима глянул на него. – Пусть и придут. Не съедят же они тебя.

– А хорошо бы, – Сингапур повеселел.

– Ну, пошли, что ли? – повеселел и Дима. – Христос воскрес.

– Воистину, – как-то замявшись, потупившись, все же произнес он.

– Смелее! – Дима хлопнул его по плечу.

– Что смелее? – не понял он.

– Христос воскрес, – повторил Дима, невольно улыбаясь и заглядывая в его лицо.

– Воистину воскрес, – улыбнулся и он, – все еще потупясь и точно стесняясь.

– Вот и отлично. Поднимайся. – Подбодрил Дима.

– Ладно, пошли. – Федор поднялся. – А там будет, что будет, – махнул он. – Умирать-то не хочется. Жить охота.

\*\*\*

Они шли молча, шли все по той же, ничем не изменившейся улице, праздник остался в церкви. Перешли дорогу; осталось через перекресток направо, и там уже Димин дом.

– Постой, – остановил его Сингапур.

– Что, – не сразу понял Дима, он, правда, задумался, все как-то обо всем: бывает так, задумаешься, и сразу обо всем. – Не переживай ты, – воскликнул, точно все поняв. – Я тебе

так скажу – мы сейчас придем, выпьем с тобой, и все само собой пройдет, тем более, Данил будет. Короче, не заморачивайся, – и такой ясный взгляд у него был в этот момент... Сингапур улыбнулся.

– Хороший ты человек. Пойду я домой. Не хочу я пить. Да и отвык как-то, – усмехнулся, – ладно, – протянул Диме руку. Дима машинально пожал руку, взгляд его перестал быть ясным. – Точно, домой? – спросил неуверенно, и все не отпуская руки. – Федор... ты... – хотелось ведь что-то сказать...

– Хороший ты человек – запомни это, – уже на ходу погрозил ему Сингапур. – Запомни! – крикнул и высоко помачал рукой. И, уже не оборачиваясь, руки плотно в карманах, зашагал так скоро, что Дима и опомниться не успел; так и стоял с минуту, все вглядываясь в темноту – туда, где только что был Сингапур – в уже тревожную темноту улицы.

Федор и сам не заметил, как вошел в подъезд, как поднялся на свой этаж, поднес к замку ключ...

– Ё-мое, – вырвалось в злой досаде, и, в каком-то враз обессилевшем его отчаянии, он уперся ладонью в дверь. С минуту стоял он так, в упор широко раскрытым взглядом утупясь в железную дверь и беззвучно медленно касаясь ее лбом: как так вышло? Он действительно шел домой – к себе домой, в свою квартиру, в свою мастерскую – как раньше, как будто ничего не было. Как будто не было этих двух недель, как будто...

– Ничего не было, – выдохнул он. Выть хотелось. Ведь не

рехнулся он, право, не мог он вот так взять и все забыть... Вдруг замер. Казалось, кто-то подвывал ему оттуда, с верхнего этажа. Отстранившись, ухватившись за перила, слабо, но упрямо, он стал подниматься по лестнице.

На темной, освещенной уличным фонарем площадке пятого этажа, у разбитого оскалившегося окна сидела Галя. Она сидела, крепко стиснув руки между ног и что-то бормотала, бормотала, бормотала, все качая головой.

– Галя, – позвал Сингапур. – Галя, – ладонью коснулся ее волос. Глаза ее были раскрыты, но глядели пусто, словно сквозь него.

– Рая нет, рая нет, рая нет, – разобрал Сингапур.

– Что? – невольно спросил он, приблизившись к ней. Со всем по-другому вглядывался он в это, еще недавно неприятное ему лицо.

– Бедная, – он коснулся ее щеки, – бедная, – он видел: она была вся в крови, видел, и почему-то не удивился, даже не испугался. Он опустился рядом. Она прижалась к нему.

– Пойдем, – сказала.

– Некуда идти, – ответил он.

– Да... рая нет, – согласилась она охотно.

– Может, и ничего нет, – странно произнес он, прижав ее к себе, произнес совсем тихо. Как два помешанных сидели они на заляпанном кровью, усыпанном стеклом полу. Он накрыл ее полый плаща, она спряталась на его груди, пальчиками тербя ворс свитера. – Знаешь, есть такой художник, – говорил



он. – Винсент Ван Гог. Он все хотел создать свою коммуну, где бы все художники вместе жили, работали... Но так ведь не бывает, чтобы просто жить, просто работать, просто чтобы тебя кормили, одевали, давали краски – только потому, что ты художник... художник за счет кого-то.

Она слушала, он продолжал, с улыбкой, с тихой, чуть заметной улыбкой, – мой отчим мне тоже как-то сказал, что вот если бы его кормили, одевали, он бы тоже художником был. Врал, конечно; но все равно... Он, Ван Гог, так и написал своему брату из Парижа: Не могу я оставаться в этом городе, где люди подышают, чтобы жить. Где художник вынужден подышать в подвале с газовым ключом, чтобы заработать себе на кусок хлеба – чтобы прожить еще один день... Да-а, – произнес он, – да-а, – повторил. – Некуда идти, некуда. Таким, как мы – все одно подышать, так или иначе: с газовым ключом, с протянутой рукой – все одно... Некуда идти... некуда.

– И здесь ничего не высидишь, – он поднялся. – Пойдем, – протянул ей руку.

Бессмысленно снизу вверх разглядывала она его. – Пойдем, – повторил он. – Отведу тебя домой... Устал я. Пойдем.

Ответа не было.

– Как знаешь, – сказал, и с какой-то вдруг решимостью, более не медля, вышел из подъезда.

Теперь стало все равно.

– Федор!

Сингапур обернулся.

– Федор! – в проеме окна, скрючившись, уже перекинув одну ногу на улицу... – Я за тобой, Федо... – охнув, Галя вывалилась из окна.

– Господи... – руки невольно обхватили голову, Сингапур упал на колени. – Да что же это такое... почему... – в глухом выдохе простонал он. Вцепившись одной рукой в волосы, другой ударяя себя в лоб, он вернулся к подъезду. На козырьке подъезда, свесив руки, ничком лежала Галя.

– Сволочь ты... сука, дурра... Зачем? дура, сволочь... – рвал он волосы, уже с силой всаживая кулак в лоб. – Ненавижу, – и с этим выдохом он побежал. Прочь от всего этого. Прочь...

– Вон он! вон бежит! – кричали за спиной. – Стой! Стоять! Куда там! Теперь он не остановится, никогда не остановится, теперь...

Стало все равно.

Развернувшись, он пошел обратно. Теперь стало все равно.

Февраль – ноябрь 2005 год.